

В номере:

Сергей ЕСИН
"Затмение Марса"

Пол ГЭЛЛИКО
"Снежный гусь"

Осень
'94

Виктор ДОС
"Прощай, Америка!"

Геннадий СМОЛИН
"СПИД: болезнь или жупел?"

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ[©]





Новакова 89

Анжелика ГОЛОВЕНКО. г. Москва.

Смотрите стр. 62.

ЮНОСТЬ[©]



С. Красавин. 1962 г.

Октябрь ⁽⁴⁶⁹⁾ 1994

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА

Редакционная коллегия:

главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ

Юрий БЕЛИКОВ
Елена ДУБЧЕНКО
заместитель главного редактора
Натан ЗЛОТНИКОВ

ответственный секретарь
Владимир КОЖЕМЯКИН

главный художник
Олег КОКИН

Александр КОРМАШОВ
Николай НОВИКОВ

Эмилия ПРОСКУРНИНА
Юрий РЯШЕНЦЕВ

заместитель главного редактора
Юрий САДОВНИКОВ
Александр ХОРТ

Редакционный совет:

Геннадий ГОЛОВИН
Сергей ДЫШЕВ
Сергей ЕСИН
Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Александр ЛАВРИН
Валерия НАРБИКОВА
Булат ОКУДЖАВА
Игорь ОБРОСОВ
Владимир ОРЛОВ
Евгений СИДОРОВ
Владимир СОКОЛОВ
Лев ТИМОФЕЕВ

Коммерческий директор Феликс МАЗУР
Представитель журнала в Париже
Валерий ПРИЙМЕНКО

Ну, что, племя молодое. —

бегаем, суетимся, шустрим,

сшибаем, покупаем, перепродаляем, в бостионах-ларьках за батареями заморских бутылок ютимся, в фирмах у компьютеров считаем-пересчитываем нетрудовую копейку, мутной рекой текущую в чейто карман, но и вам перепадает? Хватай, но не зевай. Ведь надо-то столько, а еще большего хочется. И на штаны, и на платье, и на гастрономическую вкусность, и прошвырнуться в какую-нибудь Ингерманландию. Да еще лучше на собственном «вольво», «форде», «тойоте» или «фольксвагене». И с лимонами в карманах. Едешь супером-пупером, гоголем-моголем в овальном чуде, вселенная удивляется. Диоген даже не успевает тебе сказать: «Не засти мне солнце». Да и не станешь ты отвечать Диогену. Кто он такой? И задумаешься, а не вспомнишь...

Но пусть и не едешь пока, зато хозяином улицы идешь, вытянул из банки железную затычку и прямо среди толпы снуящих затюканно-жалких людей льешь в глотку, пока еще ложеную, янтарную струю — знай наших, знай новых русских. Можешь себе позволить. Но до чего же невелик ты в тщеславии мелкоживотном.

Признаю — имеешь право. Более того — зарабывать необходимо. Конкуренция. Рынок. И торговля тоже работа. Если в стране есть чем торговать. Если не гоняют по кругу один и тот же товар, наваривая на нем за счет того, кто действительно работает и вынужден покупать.

Но не к вам обращаюсь. Проблеск ума ищу в лицах. Жадность знаний. Благородства и чести. Любви к отечеству и ближнему.

Обращаюсь к тем, кто ищет себя в мире солнечном и подлунном.

А впрочем, что это я такое говорю. А Шлиман упорный, если помните о таковом, разве не тер десятилетия штаны на банковских скамьях да за конторскими счетами? Не набивал мышну? Набивал и штаны протирал. Но во имя чего? Вела его светлая цель — тайну Трои открыть. И нашел-таки свою Трою. А у вас она есть? Если шлиманами стать желаете, приветствуя вас, богатеющих.

И все же тем, кто ум и душу растит, кого интересует философия и история, для кого мир — не объяснимо широк и распахнут, кто бредит неявью, кто в звезды влюблен, кто больше себя самого. Для кого история отечества и будущее его — не пустой звук. Лучшие люди России всегда мыслили и забались о приращении славы отечества. В силе отечества, в истории его, действиях великих мужей находили они путеводное и, как на крыльях, возрастили на великой мечте и надежде: служить Родине и Человечеству. И служили — в службе той осуществилсяся талант. Таланта желаю вам, пусть маленького, но своего, но верного общественной пользе.

Ведь что такое отечество? Люди твоего племени, твоего языка и крови, близкие по духу и мысли, по добронасстроению. Земля, на которой племя твое веками утвердилось и обустраивает ее для счастья

и процветания. Надежда на добрую и лучшую жизнь, духовная среда — культура, которую неустанно ковали лучшие кузнецы племени: как бронированный щит, не мечи и копья, не танки и пушки, она — культура великой китайской стеной всегда ограждает от гибели твое племя.

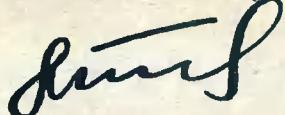
Оглянись — вереница дорогих могил — соплеменники твои лежат, твой род. Ушедшие, они здесь, с тобой, незримо присутствуют, ничья жизнь не исчезает бесследно. Жизнь людей, думавших о тебе, пославших тебя в жизнь — ты их посол. Что ответишь пославшим? Что помнил их всегда, или позабыл? Что суетился в тщетной заботе покрыть дела свои сусальным золотом? Что, как лев, сражался за свой карман — угождал, льстил, хамил, смотрел в рот боссу, сам был боссиком... А как племя твое? — спросят. Какою мечтою живет, вольно ли дышит — в мире, довольстве, счастье? Стали ли мысли крылаты и проще душа? О чем поют барды племени, какие былины слагают? Кто — герой, и что они совершили? Слава твоего народа несет крупицу золота твоего? Кому ты служил, во имя чего? Помнил ли Бога?

Не к лучшим — к тебе обращаюсь, кто хочет приобщиться к мудрости народа, кого не смущает сиюминутная тщета, чье сердце отзывается на ласку и слезу, кто готов взять на свои плечи бремя великих надежд и быть опорой своего отечества в науке, культуре, труде созидательном. Сотворенное твоей мыслью, сделанное твоими руками — вот оно, невидное еще, грубослепленное, но свет в нем, ты в нем — и живет оно, радуя всех. Тянется, тянется нить, какую пряли до тебя — вот и ты ее прядешь — златосветная, приходит она из веков и в века уходит. Ткань созидается, укрывает его. Ты — сын отечества и сын своего народа.

Будь собой. И только собой. Самое трудное — быть собой и с волками по-волчьи не выть. Быть сыном народа, но презирать толпу, бегущую за очередным демагогом. Служить истине только тогда, когда она не служит угнетению и уничтожению. Когда-то много спорили о том, может ли (должно ли) быть добро с кулаками. Не зверем, но воином ощущает себя человек, убежденный и стремящийся жить благородно. Во что веруешь и куда идешь? На войне, как на войне, — скажешь. Нет. Зверь просыпается в невежественном, хватается за автомат или нож, утверждая право свое на кусок самого жирного мяса. Мафиози вокруг тебя палят что ни день и взрывают. Твои сверстники. Зверь пробудился в них, почувствовал запах крови и наживы... Запах крови над твоим отечеством. Если не размыслишь о самом существенном — о своей гордости и достоинстве, о своем таланте и долге — золотой телец идолом воздвигнется на площадях твоих, алчный зверь наживы, невежества и насилия будет патрулем ходить по твоим улицам, рыча и убивая.

Будь собой. А это значит — быть воином. Воином без ножа и автомата, но со щитом культуры и мечом правды. Грязь надо убирать, не рассуждая, кто ее наплодил. Свет всегда чист. В мраке есть для надеющегося потаенное свечение. Всмотрись в свою душу — в ней частица Бога.

Вот она — вокруг тебя, перед тобой — твоя Россия, твоя земля, твоя судьба. Кто ты для нее — сшибала или любящий сын?



Наталия ПОНОМАРЕВА

О СЕБЕ

Я Пономарева Наталия Валериановна.
Мне 19 лет. Учусь в училище культуры
на специализации "режиссура драматического
театра". Свои стихи посылаю в редакцию
в первый раз.



Наталия 19

Маленькие фразы

1. Фраза должна быть маленькой, чтобы хорошо влезать в ухо.
Гибкой, чтобы удобно располагаться в ушной раковине.
Прозрачной, чтобы занимать меньше места.
И с кроваво-пульсирующей жилкой на запястье, чтобы внести смысл
улыбки в бессмысленность забвения.
2. Мир — это много зеленого в поисках смерти.
3. Мысль рождается хрустальным зерном. Ее можно вырастить до
огромной тяжелой люстры с сотней рожков. А можно осторожно вы-
нуть маленькой хрустальной рюмочкой и тихонько поставить на стол.
Пусть стоит на тонкой ножке.
4. Перекинь через пропасть веревочку фразы. А еще лучше, если это
будет мостик. И когда с железным хрустом пазы войдут в пазы, и
мост дрогнет в предчувствии работы — можешь переходить сам и
даже перевозить свою семью на ослике.
5. ...он любит ее, она любит другого...
...она любит его, он ее — нет...
...они оба любят ее...
- В этом — все. Кто-то дал этому имя — вечность.
6. В алоей мякоти мозга зреют маленькие прохладные упругие черные
мысли с белой лужицей внутри. Посади такую мысль в землю — из
нее вырастет новая голова.
7. Мое сердце стучит.
Я стучу в ответ.
Мы перестукиваемся.

* * *

Прихлынул к окнам мартовский пейзаж
Чахоточной испариной капели,
Настало время крови и стихов.
Окончив первобытный свой вояж,
Грачи и крыши к солнцу полетели,
Отринув вдруг незыблемость оков.

Еще наивным кажется закон
Всемирного друг к другу притяженья,
По небу подает какой-то знак
Подсохших улиц сладостный уклон,
Рульев безумных жаркое движенье
И птичьих крыльев в небе черный лак.

Здесь время начинается с конца,
Как нота в синем куполе ферматы,
С кровавой тонкой жилкою в руке.
Здесь руки отнимают от лица,
Как знак беды, как знак земной утраты,
Чтоб разглядеть пощаду вдалеке.

Любовь

Движенье губ — и никакого смысла.
Любовь!
На тонкой нитке бусинкой повисла —
и вновь
Идет-скользит на цыпочках, неслышно дыша,
А там, внутри, в грозу и темень вышла
душа,
Что неподвластно времени и числам —
вот бровь,
Движенье губ — и — никакого смысла.
Любовь!

* * *

Шафранных листьев горькая прохлада
С шершавостью кошачьей языка.
Еще одна, последняя, строка,
Еще одна, последняя, отрада.

Здесь терпкий вкус изменчивых ветров
Горит в губах отравой мандрагоры,
Здесь золотороскощество шатров
На солнце сушит влажные узоры.

Здесь заводей щемящие черты
Намечены то ясенем, то ивой,
И голос с наступлением темноты
Офелии, далекой и счастливой.

* * *

Венецианский карнавал.
Зловещие масок. Тяжесть неба.
Несогревающий овал
Объятый мрамора и Феба.

Еще полночье на часах
Последний стон не уронило,
Толпа при масках и усах,
Как черный дождь, клокочет мимо.

Здесь взвешен до золотника
Отмеренный песок дыханья,
К руке здесь тянется рука,
Как знак беды и заклинанья.

Здесь, смертной не боясь косьбы,
Жесток и весел пир счастливый.
Здесь встретишь взгляд своей судьбы
Сквозь прорезь маски некрасивой.

* * *

Предчувствия вечернее бессилье,
День душит фонари, шаги, слова.
На матово- чахоточные крылья
Чернильные ложатся кружева.

Дробится в переполненном бокале
Мерцанием рожденная строка,
В пустом, луною выстуженном зале,
Нет ни души уже наверняка.

Забытые, раскрыты наспех ноты,
На рукаве — зеленый мотылек.
И остroe предчувствие работы
Из глубины в бледнеющий висок.



Плагиатор

Темна вода, попавшая в силок.
Плюс я. Плюс томик грустного Шекспира.
Кукушка прокукает мне в висок
Остаток вечности, что в закромах у мира...

И звук ее и странен, и далек,
Он извлечет игру предначертаний
Из подсознанья, бросив на песок
Дневную суету моих желаний.

И дрожью отзовется ночь без сна
Ее разтяжivo-печальной ноте.
Разомкнутого круга белизна.
Плюс я. Плюс мир. Плюс звезды на болоте.

* * *

Я — это лето, полное теней,
Я — в синеву стальное устремленье,
Источник света я, и я же — тень,
Мгновенье от желанья до свершенья.

Я — времени таинственный закон
И беззаконье вечности горбатой,
К бессмертью, как к столбу, приговорен,
За все плачу я самой высшей платой.

Какие прочитаю письмена
В той стороне, откуда нет возврата?
Когда, поняв, что дальше — тишина,
Я Гамлета почувствую, как брата.

Гамлет

I.

Из кубка ночи пролит черный яд,
Еще ночной петух не пел трикраты,
Еще запястья ласковой Гекаты
Предсмертным ветром весело звенят.

Еще рассвет кровавым языком
Не лижет неба поднятую руку,
Еще я верю в правду и закон
И не боюсь стоять спиной к другу.

Не жду удара. Не точу меча.
Не вижу смерти огненного жала.
Еще не знаю — кровь не горяча,
Когда она струится по кинжалу.

Но день придет, истина, казня,
Войдет в меня, как шомпол, и разбудит
Крик петушиный одного меня,
И я пойду. И будет то, что будет.

II.

1. Дуэль с Лаэртом

Тебя убить должна моя рука,
Страшней не мог придумать рок проклятый!
Тебя, кого привык считать я братом...
За что ж, мой Бог, цена так высока?!



Когда беру я меч, то каждый раз
Моей рукой другие управляют.
Как вырвать жизнь из этих карих глаз,
Когда они мне так напоминают...

Офелия проходит стороной,
Тебя незримо грудью защищая.
Ты брат мне! Брат! Любимый брат ты мой,
Прости меня. И я тебя прощаю.

Страшней клинка порой бывает ложь.
Пускай над нами иволга поплачет...
Умрем мы оба, раз нельзя иначе.
Но, Боже, как ты на нее похож!

2. Пауза

Кровь не минет стороной,
Пропасть глубока,
Я — на этой, ты — на той
Стороне клинка.

Как оставаться ни при чем,
Истину узнав?
До скелета рассечен
Мир полночных трав.

Меч не будет нам судьей.
Только смерть легка
И на этой и на той
Стороне клинка.

3. Финал

Гамлет пал, Гамлет мертв,
Но жив Фонринbras.
Посмотрите, все это игралось для вас!
Посмотрите, как просто стать невинно убитым,
Незарытым, израненным, всеми забытым,
Посмотрите, как трудно не стать палачом,
Как в кровавом застолье быть ни при чем,
Как не выпить из кубка,
Не выхватить нож,
Как до рвоты отвратную
Впить ложь...
Мысль уходит из мозга,
Жизнь уходит из глаз...
Посмотрите, все это
Игралось для вас...



Заздравная

Пусть шершавые лоз виноградных ладони
Цаплегорлы и черночеканный сосуд
Обовьют и наполнят свой кубок любовью,
И к губам звонкопевным его поднесут.
И мы выпьем за неба янтарную сухость,
Чтоб хранили людей и Христос и Аллах,
Эту влагу, что звонкой струей обернулась,
Оставляя лишь след золотой на губах.

Ярославль

Владимир ХЛУМОВ

СТРЕЛЯЮЩИМ ПО ОРАНЖЕВЫМ ЛИСТЬЯМ

(из "Книги писем")

«Книга писем» — неожиданная книга. Писатель («Хлумов» — это псевдоним, за которым стоит молодой еще астрофизик, но уже доктор наук и профессор) пишет как бы в пространство, точнее, в Пространство и Время. Нам...

Вы не видели девушку в джинсовой куртке? В синей джинсовой куртке и черных джинсах, да нет, она была одна, у нее светящиеся выющиеся волосы и умный — знаящий — взгляд, мы только что были вместе, а потом начались стрельбы, и мы потерялись, здесь, рядом, у Никитских ворот, мы говорили о том, как важно быть естественным и не поддаваться искущению сцены. Ну, напрягитесь, вспомните, был вечер, а до него был день, и была осень, настоящая золотая октябрьская осень, мы ждали ее много серых промозглых дней, и она пришла.

Мы очень подходили друг другу, и нам нравилось это. Постойте, не отворачивайтесь, и не надо пригибаться, вы наверняка ее видели. На ней была синяя джинсовая куртка, и у нее голубые глаза и царственные руки, и светящиеся волосы цвета этих фонарей. Нет, она не могла побежать по Тверской, там гуще ложатся пули. Правда, мы там гуляли и обнимались, и собирали оранжевые листья. Это наш урожай, потому что Москва плодоносит оранжевыми листьями. Да где же она? Ей нельзя оставаться одной, я боюсь, она отыкнет от меня, или еще что-нибудь случится, ведь мы так долго искали друг друга. К тому же наступает ночь, а уже осень, а там зима, да ведь вы знаете, что значит зима, если стоит такая осень. Там, за киоском, кажется, видели одинокую девушку? Она пела про себя романсы? Нет, значит, не она, но я все равно побегу, сравню, проверю, Бог его знает, после всего этого не только стихи, можно и мелодию забыть, впрочем, у нее хороший слух, не то что у меня. Я просто глухарь по сравнению с ней, вот послушайте, я вам спою первую строфу про угасающий луч пурпурного заката, видите, я совсем не то, что она, я только ловлю следы нот... Впрочем, знаете ли, я

написал гимн в честь ее, и тот иногда передают по «Эхо Москвы», ну, редко, конечно, — если обстановка спокойная, и никто не ругается. Может быть, вы узнали ее по словам из гимна... Нет, не пробегала, не пролетала такая, но ведь не могла же она исчезнуть от одной только автоматной очереди? Ведь это же глупо, исчезнуть от громкого звука, ведь звук — это просто колебания прозрачного осеннего воздуха, пахнувшего оранжевыми листьями.

Мы не должны теряться в нашу последнюю осень. Она так решила, потому что мы счастливы, а такое повторяться не может. Мы обнимались в театре Розовского, мы смеялись, прикасаясь друг к другу, как два любящих существа, и это было черезвычайно хорошо. Слышиште: *черезвычайно* — это наше, а не ваше слово. Мы первыми объявили черезвычайное положение, и мир стал черезвычайно прекрасен, и, следовательно, она должна быть где-то здесь, на этой стороне бульвара, потому что на той стороне бродит смерть. Только не гоните меня отсюда, я уже слышал, что здесь опасно, что эта осень простреливается, и всякое может случиться, в особенности у Никитских ворот, но куда же мне идти, если вся жизнь моя здесь, на этом перекрестке?

Может быть, вы узнали ее по голосу? О, это невозмож но забыть. Милый, мы снова любим друг друга, обними меня покрепче, поцелуй. Неужели вы не слышали этих слов, ведь это было так ясно сказано? А плечи, вы обратили внимание на ее плечи, и на эти ямочки выше ключей, в них поутру собирается роса и играет огоньками в солнечном свете, и утоляет жажду.

Господи, да вы сошли с ума, что вы толкуете мне про какую-то оборванную старуху, блуждающую страшным призраком по всей Москве. Этим вечером ее видели сразу в разных местах Бульварного кольца жители обезумевшей Москвы, — прочел я на обрывке поднятого с земли воззвания. Да и мы видели эту бесноватую старуху, сначала у Языка на Котельнической набережной, потом на Покровском, и, следовательно, моя любовь и эта старая женщина — разные люди. Да и как можно так измениться всего лишь за один вечер?

Нет, она и старуха — разные люди. Старуха — призрак, привидение, символ, жуткий отталкивающий образ, и потом... Эту старую блуждающую женщину вы давно наверняка подстрелили, вы, которые целятся в оранжевые листья, а моя — жива, потому что мы только что были вместе, вместе дышали, обнимались, философствовали. Да, да, в Москве еще не перевелись настоящие философы, они не читают газет, не слушают новостей, не спорят о несущественном. Они возлегают на лаврах, а потом медленно прогуливаются по бульвару, и в них не так легко целиться...

Ах, вон, там она! Я ее вижу отчетливо, как давно не вижу ничего другого. Она там, легкая, подвижная, живая, она запомнила тот вечер, тот октябрь, ту осень, она ждет меня в тени. Постой, не выходи из-под дерев, я бегу к тебе под прикрытием синего московского неба, под туманной завесой бульварных фонарей, не шевелись, не поддавай приветственных знаков, а то они подумают что-нибудь не то, и мне опять останется, как в том далеком «прежде», бесконечно долгое, Богом забытое, продуваемое насквозь всеми ветрами, темное декабрьское одиночество...

Магия

Сергей ЕСИН
Роман

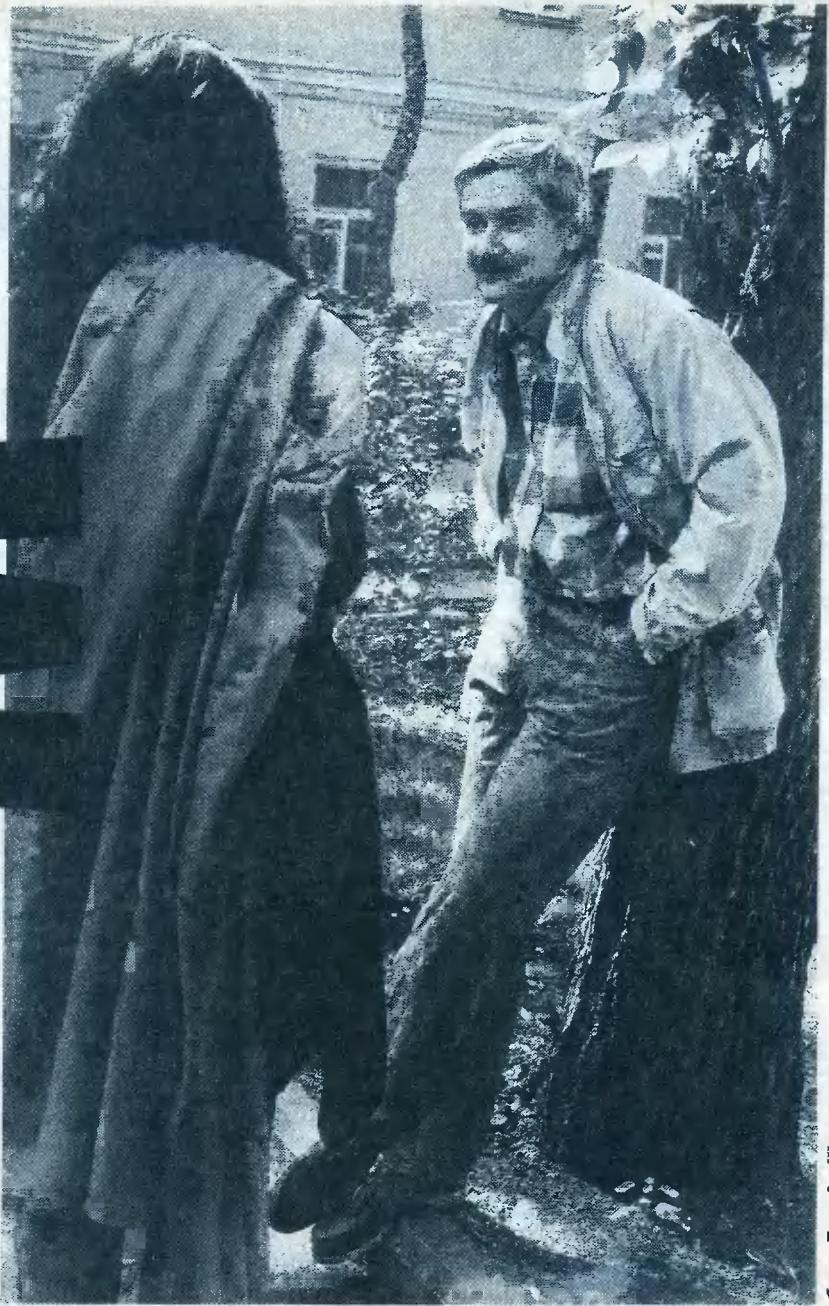


Фото Лесника Шимановича

Сергей Есин, может быть, единственный из прежних советских писателей, который перешел в новую эру совершенно безболезненно, — он никогда ничего не предавал, и ему не нужно было (и не хотелось) мимикировать ни в какую сторону. Но это еще не все. Он — мастер литературы социального парадокса. Писатель — не площадной задира, а задиристый боец, вызывающий на кулачный бой; ершистый, желающий не только понравиться тебе, но, понравившись, разозлить, раззадорить и показать, что мир, окружающий тебя, возможно, и хорош, но не настолько, чтобы жить в нем, самодовольничая и красуясь. И это еще не все. Есин — мастер типажа. Здесь он следует традициям великой русской литературы и любовно, как истый художник, выписывает — объемно, выпукло, сочно, — пор-

трет своего героя, явление времени. Его типажи — нарицательны.

По всем этим причинам большинство произведений Есина скandalно известны. Они обзывают узнающих себя и еще более — тех, которые не желают быть узнанными. Напомним произведения этого странного автора: «Мемуары сорокалетнего», «Р-78», «Имитатор», «Соглядатай», «Гладиатор», «Казус, или Эффект близнецово», «Стоящая в дверях». Надеемся, что и нынешний роман не минует ни хвалы, ни самая лютая брань.

Появление Есина на страницах нашего журнала более чем закономерно: вся страна давным-давно именует в «Юности» с удовольствием прочитала его первый знаменитый рассказ «При свете маленького про-жектора».

Отдавая дань банальной моде тестов, мы спросили Есина, что бы он выбрал: деньги, славу или монастырь. Деньги Есин отмел сразу, и мы поверили. Славу как высшую радость он отнес к тридцатилетнему возрасту. А в свои нынешние годы, зрелые, но не старые, выбрал монастырь. И мы ему снова поверили. Еще и потому, что, по существу, он в монастыре и находится. Ну, чем Литературный институт не монастырь, где Есин пребывает в ректоратах (игуменах?) и где обитают послушники, которым предназначено со-зидать русскую литературу «только в русских формах»?

Из качеств просто человеческих следует отметить в нашем уважаемом авторе — упорство. В зрелом возрасте он научился тому, чего не умел всю жизнь, — водить машину. Изо дня в день зубрят он английский язык только для того, чтобы Нобелевскую речь произнести именно на этом языке...

Доволен ли он жизнью? Есин вряд ли смог бы ответить на этот вопрос. Наверное, он жил не так, как хотел, но как мог — и это ему нравилось. Ничего в прошлом он менять бы не стал, да и возвращаться в юные годы никакого желания не проявляет: «Молодость — пора унижений». Забавно сказано, но чертовски точно. Всякому обдумывающему житье стоило бы задуматься над афоризмом человека, который с увлечением собирает афоризмы о психологии творчества. На вопрос, какой из афоризмов наиболее соответствует переживаемому моменту, он приводит слова Оскара Уайльда: «Всякое искусство совершенно бесполезно»...

*Сереже, моему ученику, спасшему
меня жизнь в ночь с 7 на 8 июля
1992 года.*

В наше время все пишут мемуары и разнообразные воспоминания. Даже прежде молчаливое правительство торопится приобщиться. Но я это понимаю: если повезет, если навспоминаешь каких-нибудь лихих быдлей, то заплатят долларами. На слухи и сенсации мир падок. В наши дни можно и рублями, конечно, сколотить некоторый капитал. Я на доллары, естественно, не надеюсь, хотя и не откажусь, если предложат. Как министр или крутой бизнесмен, положу на зарубежный счет. Пишу исключительно, чтобы возвысить свой голос в защиту нашего замечательного времени и по просьбе своего лечащего врача. Он утверждает, что писания надежнее всего разгружают психику. Слово — лечит.

Я — традиционный сбыватель, житель, мещанин,

выражаясь высоким слогом, гражданин и послушный налогоплательщик. Ни на что я, правда, особенное не претендую, ни на какие лирические прибамбасы, не собираюсь я оставлять след в лирической поэзии или в истории. Я просто визуально, через телевизор, наслаждаюсь жизнью, хотя я этой мятеjkой жизни основа и, как было заявлено, соль, экстра.

Наш день, все дружно утверждают, потонул во лжи. Средства массовой информации — к ним, в известной мере, по образованию и склонности казаться лицом значительным, принадлежу и я, но об этом ниже, — совершенно изолгались, а вернее, потеряли ориентиры, потому что пресса в принципе не лжет, а обманывается. У людей — у широких масс (мне, правда, ближе идентичное и политически более выдержанное понятие — народ), так вот, у народа может создаться неверное представление о времени и его замечательных и необыкновенных возможностях. Оболганное коммунистами и патриотами времена! Поэтому я и начинаю этот свой больничный мемуар в надежде установить некоторую гуманитарную справедливость. Как столь распространенная ныне гуманитарная помощь. Я даже предполагаю, что хранилище этой моей нетленной справедливости, моей рукописи, более надежное, нежели обычные архивы, в которых все лазают кому не лень, и я даже слышал об одной dame, которая в лифчике вынесла из архива целую гору документов. Кому из ненавистников придется в голову рыться в медицинских регистрациях и запыленных бумагах психушек и нервных клиник, в которых, собственно, и заключено основное интеллектуальное богатство эпохи? О, сумасшедший дом, либеральная юдоль всех униженных, сбитых с ног и оскорбленных! К счастью, наша эпоха пепси и жевательной резинки более либеральна, нежели предыдущие, и без особого неудовольствия раскрепощенная администрация дает своему талантливому пациенту бумагу и карандаш. Это, считается, отвлекает от болезни и делает пациента спокойнее. Спокойствие — вот путь к скорейшему выздоровлению. Это я к тому, что не исключено, что часть моих заметок может оказаться не только в журнале или в издательстве, но и среди бумаг на полках пыльных архивов и заплесневелых канцелярий медицинских учреждений. Ведь меня, как бывало в любой стране, и не раз, могут насильственно отторгнуть от моего сочинения или признать его частью моей истории болезни. Разве врач любого психиатрического медицинского учреждения, включая и главврача, не сумасшедший сам? Ха-ха! Впрочем, все это хорошо и доподлинно известно.

С чего начать мой исключительно правдивый мемуар? Надо ли выстраивать его в какой-то особой, так называемой литературной последовательности? Как известно, любая декларированная последовательность приносит только недомолвки и прорывы в повествовании, потому что мы правдой и истиной начинаем жертвовать ради этой мнимой последовательности. Как хорошо и вроде последовательно пишут наши сегодняшние газеты! Как прекрасно плетут фразы. Эдакое словесное макраме. А где правда? Где пресловутая истина, о которой восхликал библейский герой Пилат, умывая руки? Недавно я слышал об этом культурно-историческом факте по нашему передовому и свободному радио, котороеечно, как дятел, долдонит в комнате медперсонала. Где в современной многообильной прессе даже намек на ис-

кренность? Вот то-то, милостивые мои государи, поэтому я заявляю прямо, без всяких эквилибристических изысков, которыми отличается, вернее, отличался наш Конституционный Суд, что буду писать безо всякой последовательности, как ляжет на душу, но зато искренне. История моей жизни, моя трагедия и мои удачи.

Глава первая

Полагаю, что будет совершенно несправедливым считать плохим все, что привнесено в современную эпоху нашим быстро несущимся временем. В сегодняшней столице нашей любимой родины все видят грязь у метро и пустые коробки из-под импортных бананов, нелады с транспортом, а я в первую очередь хочу обратить внимание на некоторые значительные изменения в архитектуре. Их не заметит только слепой и несправедливый человек! Но ведь это же дивные украшения улиц, прекрасное декоративное решение, так чудесно разнообразящее фасады, ибо фасады есть лицо жизни. Все, конечно, догадались, что я имею в виду: стальные и железные решетки на первых этажах почти всех столичных зданий.

Конечно, можно толковать, что решетки были и раньше и некоторое их жалкое количество имело место при прежнем рухнувшем режиме. Но ведь тогда была жалкая пародия на нынешние решения, то были унылые решетки, прикрывающие редкие, низкие окна каких-нибудь, на первых этажах, дворнических или коммуналок, чтобы гуляка-посторонний, «подшофе», веселый прохожий не засунул в открытое окно свою буйную кудлатую голову и не унес горшок с алым мещанским цветком герани. Да и что, собственно, тогда можно было за этим ничтожным окном хранить?

О, как с тех пор пышно расцвела жизнь! Мне скажут, что людям, которые созерцают нынешние роскошные витрины магазинов, этим людям изобильно предоставлено все — от розового жемчуга до консервов с сушеными акридами: автомашины, сияющие лаком и никелем, экзотические фрукты из жарких тропиков, флаконы с французскими и сомнительно французскими духами, всех цветов и фасонов итальянская обувь, американские бейсбольные биты и клюшки для гольфа, игры миллионеров, коробки с марокканскими нежными сардинами, японская безотказная видеотехника, белгийские всех оттенков унитазы, датское печенье в жестяных раскрашенных коробках, испанское качественное вино и израильские апельсины, взращенные в кибуцах. Все материальные богатства и роскошные излишества бренного мира приплыли, как бы компенсируя нас за прежний аскетизм, приплыли к нам, блудным детям социализма. Будто из таинственных глубин неведомого космического супермаркета поднялись гигантской океанской волной и остались на радостных отмелях, на внезапно похорошелых и расцвевших скромных столичных витринах!

Естественно, эта притягательная и лакомая красота и неисчислимые богатства должны быть охранины и спокойствие их гарантировано от нескромных посягательств. Взор, конечно, любого может проникать и ласкать любой предмет и эстетический экспонат витрины — в этом я вижу основной признак демократизма, — но завистливая рука, некие

чужие на этом празднике свободной жизни, не имеющие должного материально-денежного обоснования своих претензий, должны иметь решительное препятствие и отпор. Мы пока не будем говорить об охране, одетой в чудесный пятнисто-богатырского цвета камуфляж и высокие — мечта невинного садомазохиста — шнурованные башмаки, об охране в цивильном платье, в красных пиджаках, с белыми рубашками и яркими галстуками, об этих прекрасных накачанных молодых людях, полных взрывной энергии и скрытого молодечества, на них и смотреть-то радостно, на их милые, отмеченные печатью истинного здоровья и достаточного, качественного питания лица и крепкие фигуры, — причины своего особого, я бы сказал, ласкового отношения к этим молодым людям я изложу несколько позже, — не будем говорить о разнообразных охранных звонках, сиренах, попискиваниях, переливах и всех усилениях электронной охраны, способствующих незыблемости и стабильности главного принципа сегодняшней жизни — неприкосновенности личной собственности. Все это не наша тема. Мы просто еще раз бросим беглый взгляд на самое древнее изобретение, преграждающее путь посторонней алчности, изобретение столь же древнейшее, как колесо, огниво и кресало, как сама частная собственность, на вскормленную этой собственностью ее превосходительство стальную или чугунную решетку.

А что, собственно, раньше стоило и было нужно беречь? — повторяю я еще раз. Какая такая сладкая жизнь бушевала за никем не охраняемыми окнами? Что там бурлило и кипело? Крестьянские, без изысканного знания и должного европейского лоска, прививаемого просвещенным и все знающим видео, крестьянские, простые, как мычание, объятия между фиолетовыми женскими рейтязами и сатиновыми, до колен, семейными мужскими трусами? Роскошь той, умершей жизни, — это ящик пива на столе и, если повезет, еще и пятачок засохших рыбин воблы? Или надо было беречь так называемое бесплатное медицинское обслуживание, которое и на обслуживание не было похоже? Или отвратительно бесплатное высшее образование? А разве сегодня кому-то это образование нужно? Некие туманные символы прошлых эпох! Имеет значение сам человек — мерило всего! — его умение, если надо, и с револьвером, вломиться и вторгнуться в жизнь! Что там из этого, не запечатанного решеткой окна, под названием социализм, можно было вытащить еще? Старый, тяжелый, как штанга тяжелоатлета, телевизор «Темп»? Или холодильник — гордость человека и гражданина, еще восторгающегося наличием у него этого никелированного, громыхающего, словно средневековая повозка на дороге, чуда, в то время как остальной мир считает это «чудо» за явление рутинной повседневности, как хлеб или жевательная резинка. Очень мало привлекательных богатств накопилось за этим обнаженным полуподвальным окном. Скучная и ровная, как путь в степи, жизнь, с отмеренными с мизерной дотошностью, будто порции в заводской столовой, прокисающими днями. Любимое сравнение прошлых коммунистических дней было: «прежде и теперь». Так почему же мне, страдальцу и герою нового времени, не воспользоваться нынче этим многоговорящим и емким приемом логического мышления? Но, с другой стороны, что здесь сравнивать! Разве не очевидно богатство и изобилие нашего сегодняшнего пер-

вого, решающего этажа жизни! Я бы даже рискнул сказать, что первые этажи наших обветшальных зданий, этот унылый этаж высохшего за семьдесят лет древа социализма, сегодня расцвел, здесь появилась свежая кора и побеги. Клейкие, как бы сказал классик, листочки. Не дело, конечно, описывать то, что каждый наблюдатель может увидеть, но я не могу промолчать от бешеного восторга, когда на первых торгующих этажах нашей жизни вижу всякие яркие коробочки, тряпочки, сверкающее стекло, холодный, с блеском полярного сияния, никель, вишневые и черные автомашины, кожаные куртки, прекрасный ассортимент винно-водочных изделий, консервы, заставляющие улыбаться желудок, любимую народом синтетику, хлопок и шерсть — все многообразие нового уклада демонстрирует себя. Какой немыслимый диапазон! Я даже однажды на вполне респектабельной витрине, рядом с детским питанием, видел некое резиновое подобие мужского полового члена с этикеткой, на которой было написано «эректор». А чем, собственно, этот эректор отличается от анальгина! И без ханжеского стеснения, без лицемерных пропагандистских сетований! Как это все радует бескорыстный глаз и как поучительно для молодого поколения! По этикеткам на шоколадках, винных бутылках и аппетитных колбасах можно изучать практическую географию всего мира, и я думаю, что наши смысленные дети это уже делают. Сладкая и душистая, как продукция «Проктер энд Гэмбл», география! Мне даже иногда думается, что это изобилие разностей — некая вполне объясняемая реакция на состояние затхлости и застойности предыдущей жизни. Воистину, мрачный железный занавес мы взломали полукопченой колбасой и шоколадками «Сникерс». Эта реакция на прежние идеологические запреты, как волна от атомного взрыва, прокатилась так далеко и действие ее оказалось столь заметным, что когда я захожу в магазин, я начинаю думать, будто наша родная промышленность ничего не производит, наши доморощенные коровы не доятся на траве отечественных лугов, потому что везде, на всех прилавках финское и французское сухое молоко, а на наших широких полях ничего не растет, потому что везде продается польская картошка, королева польских полей, болгарский помидор, корейское яблоко и любимый фрукт российского народа — бразильский банан. А может быть, все это и к лучшему? Ибо строить новую жизнь лучше уж на расчищенном месте. В экстремистском лозунге коммунистов был некий резон!

Но, собственно говоря, я все время толкую лишь об экономической предпосылке появления такой новой для нас эстетической детали в архитектуре, как решетка. Она всегда в нашем консервативном и политизированном сознании ассоциировалась с тюрьмой и купеческим лабазом. В одном случае скрушать ее должен сидящий за решеткой в сырой темнице узник, в другом — на ее целостность и крепость должен посягать злоумышленник, претендующий на чужое богатство. Правда, тюремные решетки не так резко бросались в глаза, видимо, из-за своей примитивной грубости, а последнее время вообще заменялись на младшую сестру этой решетки — колючую проволоку. Прогресс не стоит. Но этот мой пассаж, между прочим. Очевидно, конечно, что удельный рост повышения зарешечивания окон теснейшим образом связан с увеличением в об-

ществе количества богатства. Вот вам и современная статистика! Богатство привлекает. Оно привлекает прохожих, которые далеко не все могут что-либо купить из прекрасных и ароматных, выставленных на обозрение иностранных предметов и гастрономии, но зато ведь все, каждый и всегда могут приласкать предмет взглядом и помечтать об обладании им. Богатство привлекает покупателя, но оно влечет и ту категорию прохожих и полировщиков тротуаров, которая не может из-за отсутствия средств приобрести некие предметы, но не хочет удовлетвориться только их визуальным обладанием. Эта совершенно лишняя и никчемная часть населения подчас в предмете видит не только его свойства, эстетические или бытовые функции, но и как бы обратную сторону, его денежное выражение. Эти неадекватные люди стремятся получить не всегда законным образом этот предмет в свое владение для того, чтобы потом получить его денежный эквивалент. Ясно? Я прочерчиваю эту линию со всей простонародной определенностью: украсть, продать и прогулять. В основном, это молодой, энергичный контингент. Вот здесь, ставя преграду его активности, здесь и начало нового появления решетки, которая нынче в наших городах превратилась из социального феномена в эстетический.

Многие столицы мира, их улицы и в конечном счете окна укреплены решетками. В свое время здесь тоже берегли сокровища. Благоухающие розами сорвали, пропахшие порохом и пережженнойстью арсеналы, казначейства и сокровищницы, святыни и кости чудотворцев в церквях, свитки и рукописные фолианты в библиотеках. Решетили военные секреты, политические архивы и лаборатории алхимиков, где, как известно, из воздуха добывали золото. А в основном, скромненько охраняли от кражи, побега и нескромного взгляда раба прекрасную женщину.

Беречь и прятать за решетку все, а не только витрины ювелирных магазинов и кассовые кладовые банков, — это веление нашей дорогой страны и нашего нескучного времени. Какая Гавана, славившаяся когда-то своими решетками на дверях и окнах домов — не от беглых ли рабов? — какой тебе Алжир, стремящийся отгородить улыбку красавицы от взгляда и рукожатия случайного прохожего коваными жалюзи! По количеству железа и стали на одно окно мы, с гордостью полагаю, нынче прочно удерживаем первое место в мире. И правильно, все должно быть гарантировано! Каждая пара белых зарубежных носочков в витрине и каждая пластмассовая бутылочка с налитой в нее сладкой водичкой, выставленная в окошке, имеют право быть огражденными от алчного взора злоумышленника.

Можно полагать, что когда-нибудь изысканный стихотворец напишет наконец о тех прекрасных решетках, которые изящно прикрывают нынче окна первых, а часто и вторых этажей наших домов. Это только в самом начале нашего жизненного обновления решетки несли чисто функциональное назначение и делались из грубого арматурного железа. Подчас их даже вызывающие не красили, выявляя тем самым их грозный, отпугивающий смысл. Но, как известно, настояще богатство стремится к респектабельности, и по мере того, как за окнами первых этажей скапливалаась прибыль и возникал излишек, решетки принялись красить. Потом арматурное железо начали искусно маскировать. В ход пошли разнооб-

разные, в основном оборонного происхождения, стали, ковкое железо, которому стали придавать некие эстетизированные формы. Решетка постепенно стала превращаться в тропические леса, заросли бамбука, грибные полянки, прогулки павлинов, стая на взлете летучих мышей и вереницы слонов, бредущих на водопой. Воистину, не горевать, а радоваться надо тому, что переплеты из железа на окнах, вечно символизировавшие лабаз и мошну, так чудесно трансформировались, приобретя таинственный и переливчивый характер.

Вообще «окно» в русской жизни и в русской литературе — пишу об этом так смело, как человек, изучавший когда-то в университете этот предмет — русскую филологию, — имеет необыкновенное значение. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», — зубрили мы в Богом проклятой школе. Потом какой-то влюбленный князь через открытое окно слушал каких-то влюбленных девочек. Незадачливый жених у классика нашей литературы Николая Васильевича Гоголя именно через окно сбежал от роковой женитьбы. А разве не через окно улетал со сцены великий плясун Вацлав Нижинский в балете «Видение Розы»? А прекрасная ведьма Маргарита у Михаила Афанасьевича Булгакова? Мы, конечно, журналисты, люди темноватые, далеко не все видели, но везде сунули свой чувствительный нос и если не прочитали, то уж пролистали все модные книжки.

Именно через окно наша русская жизнь каждый раз находит спасительный выход. Заметьте это, ибо я переходю к теме.

Это вот сейчас все дружно кричат: как же так, как же так, спалили Белый дом, разбили его танковыми кумулятивными снарядами! Что значит спалили, когда он снова сияет, как кусок сахара, а несколько сотен миллионов долларов — не в счет! С моей личной точки зрения, это, конечно, был даже некоторый выход из создавшегося политического положения, к тому же первое время с черными контрастными подпалинами на белом фоне дом даже выглядел по-своему элегантно. А потом его не бездумно разбили, а аккуратно, через стеклянные окна — я же говорил об окне как символе русской надежды — конечно, не без боевого оружия, средств массового, как у нас говорится в журналистике, поражения, этот дом подожгли, а если быть еще точнее, выкурили оттуда прежних проходимцев, называемых депутатами, и горлопанов. Сейчас многие говорят: ах-ах, да как же спит тот человек, который нажимал на спусковое устройство?! Как же спит командир стрелявшего танка?! Как же спит командир полка и дивизии?! Все они, эти законопослушные военные граждане, непосредственно отдавали приказы! Как спят министр обороны и Верховный главнокомандующий?! А чего бы им не спать! Я думаю — хорошо спят, ведь сплю же я и даже не вижу кошмаров всяких смертей, драки и кладбищ, особенно после того, как с вечера любезный медбратья в отделении вгонят мне в корму добрый шприц со снотворным или успокаивающим. Каждый из нас попадал в ситуацию, когда для собственного спасения было необходимо принимать горькие меры. Разве для меня не была горькой ситуация с родным отцом? Но хватит об этом — врачи на основе данных науки, японские долгожители, исходя из собственного длительного опыта, в один голос твердят: для того, чтобы жить долго, не

надо ничего принимать близко к сердцу. Я теперь тоже близко ничего не принимаю: мой врач сменил мне лекарство.

Я бы даже сказал, что у меня есть прием, позволяющий мне рассматривать жизнь неким облегченным способом. Ее надо, голубушку, воспринимать как своеобразный телевизионный кадр, передачу, транслируемую нам на землю талантливым режиссером, как электронные мелькания. Не надо стремиться ковырять вглубь, не размышлять — кто что в этот момент думает, что переживает и как, якобы, страдает. Страдания в конце концов одна из форм существования человека. Жизнь в ее электронных сполохах показывает представления, некие шоу, и, значит, гибнут не люди, а статисты и персонажи. Им больно? А это неизвестно. Кровь? Клюквенный сок. А потом, мне-то в этот момент не больно! Да и вообще, в момент катастроф в жизни ли, на телевизионном ли экране, которому мы слишком доверяем, — лучше всего от этих брожений отвлеченные размышлениями. Разбит жилой дом где-то в Ольстере? А сколько, интересно, он стоит? А в конвертируемой валюте? А какова, любопытно, была технология постройки? И стены у них не такие толстые, как у нас — другой, атлантический, климат, и окна не двойные, а одинарные, значит, определенно дешевле. А если на экране какой-нибудь страдающий негр, в этом случае можно подумать о том, что, по слухам, у негров порог нервой чувствительности вроде бы повышен. Успокаивать себя, успокаивать.

Конечно, когда я смотрел с Краснопресненского моста, как зеленые танки прямой наводкой били по окнам Белого дома — очень занятно летели, отсвечивая иногда на солнце, стекла, — и из этих обнажившихся окон пополз черный дым и показались желтые, почти как в кино, языки пламени, то невольно подумал, что находящимся внутри здания, конечно, не очень холодно и что кровь не только абстрактно течет, но еще и вытекает из организмов и может, к сожалению, вытечь до такого уровня, что дальше организм уже не сможет функционировать. Не работает же в автомобиле мотор, когда из него вытекло все масло! Когда я смотрел с того самого исторического моста, я даже в уме делал пометки, потому что журналист на всякий случай должен иметь заготовки на каждое событие, и, конечно, не мог немножко не волноваться. Но я заметил, что некоторые из любопытствующих зрителей, а их столпилось на мосту немало, — надо также сказать, что войска выбрали для артиллерийской подготовки штурма очень хорошую и эффектную позицию: танки стояли на мосту, с которого весь Белый дом был как на ладони, а перед танками находились зеваки, наблюдатели и случайные прохожие, которых никто не прогонял, — гласность есть гласность, однако все как бы понимали, что это вроде бы живой заслон перед танками, и из Белого дома поэтому в ответ на пушечную канонаду из миномета или крупнокалиберного пулемета не постреляешь, хитро придумано, — так вот, я заметил, что некоторые из зрителей применяют мой же отвлекающий прием. Видимо, чтобы не думать и не переживать, что в дыму пожара находятся, гибнут от осколков кумулятивных снарядов и жарятся, как шашлыки, люди, некоторые из зрителей абстрагировались от действительности, переводя ее в телевизионный план и представляя для себя это гражданское

сражение одним из видов привычного телевизионного спортивного соревнования. Ну, предположим, соревнованием по пожарно-прикладным видам спорта. По крайней мере, когда прямой наводкой снаряд с грохотом выскальзывал из пушечного дула и точно попадал в окно одного из верхних этажей, то кто-нибудь из зрителей весело кричал: «гол! гол!» А перед самим выстрелом, когда пушечный ствол, грозно напрягаясь, начинал медленно двигаться, сомневающаяся на прицельном устройстве вполне мирные окна и боевые риски, раздавались другие спортивные крики: «Шайбу! Даешь шайбу!» И видя здесь такое психологическое единение, я тоже применил, чтобы не думать о переживаниях незнакомых мне людей, по которым стреляли, о совести и будущих бессонных ночах исполнителей этой гражданской экзекуции по расстрелу строптивого и многое возомнившего о себе парламента, я тоже применил прием отстранения от событий и принял, не торопясь, размышляя о совершенстве нашего русского боевого оружия! Ай да тульский Левша! Я почему-то вспомнил, как пресса, захлебываясь, писала о том, что очень мало жертв было среди мирного населения во время бомбардировки Ирака. Лазерная и электронная наводка бомб и снарядов была так точна, что американские снаряды, снаряды наших союзников по ближневосточной акции попадали чуть ли не в каминные и вентиляционные трубы, производя решительные разрушения таким образом, чтобы минимально подвергать риску гражданское население. В то время, когда я читал об этих чудесах американской военной техники, проходящей испытания на реальных полигонах чужой страны, я чувствовал себя уязвленным, что эта замечательная техника принадлежала не русской, а американской армии. А может быть, у нас нет подобного и в военном отношении мы держава второго сорта? Но, к счастью, мои опасения оказались в данном случае напрасными. С замечательной точностью, как по шнурку, наши родные танковые снаряды летели в окна, при этом, заметим, не круша междуэтажных перекрытий, перегородок и даже не портят роскошной мраморной облицовки. Сажа и копоть на мраморе не в счет. Я бы даже сказал, что это была ювелирная работа военного персонала и демонстрация уникальной боевой техники. Пусть простят мне аналогию, но просто как на Тушинском авиационном празднике! Работа военных и отдавших им приказ высоких гражданских лиц, конечно, вызывала восхищение.

И вот в тот момент, когда пушки стреляли, а я размышлял о совершенстве оружия и об окнах, через которые в русской жизни и, видимо, в русской внутренней политике разрешаются все конфликты, я почувствовал...

Это, конечно, смешно, что я мог бы предположить, что Стасик, руководитель радиогруппы, занимающейся освещением штурма парламента и его резиденций правительственными войсками, верными своему Верховному главнокомандующему и Президенту, меня не отыщет. Но и для меня, как для профессионала, было бы смешным, если бы я посмел забыть, что мне выходить в прямой эфир согласно графику. Когда я почувствовал чью-то руку на своем плече, я уже знал, что, повернувшись, увижу нашу ласточку Стасика, и знал, конечно, что грянет радиоэфир, где-то через час наступает моя очередь вещать правду и собственное мнение. А зачем,

спрашивается, я бы тогда оказался на мосту? И все же, признаюсь, испуг был, когда по плечу меня кто-то похлопал. Не каждый день видишь стреляющий танк и горящий парламент. Вот это и стало причиной некоторого сбоя. Но, главное, я испугался: кто я в этот момент? В какой маске: мужчина или женщина? Каким гоним сюда импульсом? Слишком высокая степень моего увлечения окружающим часто не позволяет как следует следить за собой! Тут не потащишь из кармана зеркальце, чтобы посмотреться в него, не начнешь ощупывать себя. Но тем не менее мне понадобилось лишь мгновение, чтобы прийти в норму и, повернувшись, — увидеть: разумеется, Стасика с безумными от усердия глазами. Свой! И тогда я сказал ровным, неторопливым — одним из своих лучших радиоголосов, поигрывая басовитыми мужскими интонациями:

— Помню, Стасик, помню. Но с какой точки мы ведем репортаж?

— С какой, с какой! Ты как маленький, Литаврин. Американцы уже вовсю показывают объект со всех точек, а мы все стесняемся! — Глаза у Стасика буквально побелели от этой немыслимого либерализма тирады, но привычная хитрость и расчетливость взяли верх. — Тем не менее, ты, Литаврин, не забывай, что мы государственная радиокомпания и хотя совершенно свободны в изложении своих взглядов и видении событий, но... — Тут Стасик несколько запнулся, на его невысоком лобике, как бы выражая напряжение мысли, задергались, разъединяясь и собираясь в желобки, морщины, и он добавил:

— Излагай, конечно, излагай, но помни, кто заказывает музыку.

— Понятно, — ответил я Стасику с несколько картиною подобострастной интонацией типа «знаем-с», «не маленькие-с, соображаем», «будет сделано-с», и совершенно по-деловому спросил:

— Говорить с точки зрения всеведения, обзор событий или локальный репортаж?

В этот момент один из двух весело стрелявших на мосту танков опять ухнул.

Тут же Белый дом отозвался мгновенным всполохом и вспышкой в одном из окон этажа. После вспышки окно, темное своим проемом, мгновениеостояло как бы без изменений, а потом из него густо повалил дым. Тяга была хорошая.

Из толпы на мосту раздались приветственные крики, но неровные, отдельные, толпа не очень реагировала, и тут же я подумал, что репортажик в смысле поддержки народа своего правительства окажется не самый легкий. Придется вертеться, как уж на сквородке. Но разве нам привыкать?

Стасик энергично распустил на лбу морщины, что означало, что решение принято, и сказал:

— Лучше брать пошире, так сказать, с птичьего полета, но тем не менее с народной точки зрения. Парочка представителей людей труда, демократические массы тоже не помешают. Вот девятиэтажный дом рядом, видишь?...

Другой танк опять бабахнул, но ни я, ни Стасик за эффективностью его работы наблюдать уже не стали. К такому, в наш век сокрушительной работы техники, привыкаешь быстро. Стасик указал на дом по другую сторону моста, который очень хорошо уже был всем знаком по картинке телевидения. На последнем этаже дома, на крыше и на балконах чернели гроздья наблюдателей. Я постоянно еще думал —

как они туда попали, и представлял почему-то: рушился под тяжестью людей перекрытия, разламываясь перила, и фигурки беспорядочно летят на землю.

— Хорошо бы твой репортаж, — продолжал Стасик, — построить так: ведем, дескать, с верхнего этажа дома, который вы много раз видели, попадая на Калининский проспект. События передо мной, — здесь он затараторил «репортерским» голосом, — как на ладони. Ясно? Действуй!

Стасик сложил морчины на лбу каким-то многозначительным узором и исчез в толпе, видимо, пытаясь разыскать каких-то своих других подопечных.

Это не совсем правда, что предприимчивые репортеры строчат в эфир свои репортажи непосредственно с места событий. Журналистская психика очень гибка, воображение разбрасывает веера вариантов, память подсказывает десятки уже готовых сюжетов, под которые можно подвести и данный случай. О, как важно в этот момент точное указание начальства: «как», в какую сторону тянуть одеяло. С какого бока устанавливать подсвечивающие софиты. Опытный мастер одну и ту же ситуацию может изобразить разными, диаметрально противоположными способами. Одного и того же человека представить и монстром и героем. Но в данном случае все было ясно. Я и без слов Стасика о государственном режиме работы наших средств массовой информации знал, какие телодвижения надо совершать.

В моем сознании репортаж уже был испечен. Теперь было важно лишь превратить этот «мыслительный» репортажик в некоторый художественно завершенный и эмоционально-информационный сгусток. Я уже приблизительно знал, с чего начну, какими словами, каким тоном, чтобы привлечь внимание радиослушателей, я уже предвосхищал — сколько мне необходимо минут, естественно, на фоне раздающихся выстрелов из автоматов и другого огнестрельного оружия — слава Богу, эти выстрелы в данный момент наличествовали в избытке, а значит, не надо ничего подкладывать с других пленок фоном, тащиться для этого случая в радиостудию (слушатели в своей массе любят выстрелы, кровь, крики, стоны раненых, разговоры о смерти, гибели, увечных не менее, чем рассказы о сексуальных извращениях, воровстве и богатстве). Итак, звуковой фон был, следовательно, теперь нужны яркие, живописные, на уровне физически осязаемых, детали и две небольшие «озвучки»: высказывания двух очевидцев, лучше мужчины и женщины. Мужчины и женщины, продолжал я прикидывать, как получше выполнить задание, — задания такого экстраординарного характера оплачивались обычно по особому завышенному тарифу или с премиями, похожими на те доплаты, которые, по словам асов эфира, давали за освещение съездов партии, заседаний Верховного Совета и других форумов, скликаемых властями, — итак, мужчину и женщину лучше взять из разных возрастных и социальных групп.

План готов, работать надо начинать тут же. За работу, товарищ!

Я еще раз оглядел зевак, прохожих, моих сотоварищей по обзору боевых действий. Стоят вдоль прапорта моста, как в ложе, но лица у мужиков, у большинства, не очень выразительные. Кроме нескольких бесшабашных крикунов («шайбу!») — рас-

положились в основном небольшими компаниями по двое, трое, единомышленники. Морды у всех подозрительно красноватые, веселые, что скажут они — известно заранее, здесь загадок ни в словах, ни в голосах нет. Это все «поддержанцы» в кожаных куртках. С ними розовощекие, низкозадые девицы, все как одна с огромными, свешивающимися, как у негритянок, сережками, в джинсах и тоже в кожаных куртках. Грызут тыквенные семечки, выплевывают шелуху в воду. Это все сочувствующие — контингент, конечно, нашей радиостанции. Все остальные с тупыми железными мордами и крепко сведенными челюстями уставились на боевую картинку, не мигая. Немолодая, тоже неинтересная публика, и что они сообщают — тоже хорошо известно. Я не люблю этих неопределившихся и лишь в душе, тайно, страдающих. Они стараются стоять сразу по обеим сторонам баррикады. Им кажется, что они занимают какую-то серединную позицию, а на самом деле они просто трусы. Обычно они отказываются от интервью, особенно телевизионных, хотя в их глазах видна борьба между желанием быть на виду и боязнью, что их прищутят. Они трахнуты пыльным мешком еще от их сталинско-хрущевско-брежневского рождения и не любят называть собственные имя и фамилию, если их спрашивают после того, как они порассуждают о политике. Это, так сказать, тайные коммунисты. Запомним это, здесь тоже никаких трудностей. И текст слов и музыка легко восстановимы. Все это легкая добыча, и не этого ждут от меня руководство и закзывающие музыки. В репортаже всегда должна быть некая экзотинка, как в варенье вишневая косточка и непослушная чаинка в стакане. Это оставляет ощущение художественной достоверности. Впору начинать нервничать.

И тут мой взгляд падает на некоторое страшилище, замечательного монстра, пробирающегося между боевым порядком танков и почтительно обличающей их, молчаливо-сочувствующе-протестующе-подбадривающей толпой. Это только в большом городе могут произойти такие встречи. Монстр хорошо мне известен, знаком, я бы сказал, что это мой домашний монстр, дворовый призрак. Те же седые патлы пегих волос, сейчас шевелящиеся от свежего речного ветерка, длинная бесформенная юбка, сшитая из разноцветных клиньев, на ногах — какие-то разваливающиеся чуни, сальная кофта из плотной в цветочек материи и блестящая от грязи, как kleenka. Я-то знаю, что зимой этот призрак надевает на себя ободранное манто из кролика, крашеного под котика, такое, на которое и в наше время не позарится ни один рецидивист и даже мелкий жулик. Из этого бывшего манто даже шапки не выкроишь. В холода на этих монстровых плечах иногда красуется матросский бушлат с торчащей из прорех ватой. Я не знаю, ни как звать эту суматошную старуху, ни в каком подвале или на каком чердаке она обитает. А может быть, это материализовавшийся дух всеобщей нищеты?

Я регулярно встречаю ее под утро в те дни, когда прихожу домой после ночного эфира или верстки газеты, в собственном дворе, возле мусорного контейнера. А иногда я сталкиваюсь с ее работой, выходя из квартиры. Если возле двери лежат какие-нибудь пустые консервные банки, свертки одежды, стоят винные и молочные бутылки — это она! Ее дары. Иногда возле двери может стоять и сломанный стул или выброшенный, без ручки и замков, чемодан. Она

все это разносит по разным квартирам ночью, не пользуясь лифтом, соблюдая полную тишину. Дворничиха рассказывала, что ее несколько раз сдавали в сумасшедший дом, но она неизменно появляется в нашем районе снова. Дворничиха неопределенно информировала, что будто бы у старухи была квартира, но она или приватизировала или завещала ее какой-то фирме за то, что фирма будет ее кормить до смерти и потом с миром похоронит, но чуть ли не в день подписания контракта бабушку или попытались убить, или сдали в дом для престарелых хроников, во всяком случае, жилья у нее нет, и после всей этой истории помутился разум. И вот после того, как старуху жестоко обокрали, она теперь всех своих бывших соседей одаривает чем Бог послал.

На этот раз в туалете бездомной старушки — некий новый аксессуар, на плече она держит ветку со вздернутой на нее красной тряпкой. Или просто тряпка и игрушка сумасшедшей, или некий пародия знамени. Во всяком случае, фигура интересная, и уж пару словечек о призраке, который бродит по мосту перед Белым домом с красным знаменем в руках, я обязательно упомяну. Что только этот призрак бормочет? В речь призрака даже не надо вслушиваться. У мусорных баков старуха обычно рыдает что-либо божественное. Совершенно справедливо, и здесь опять духовное. На магнитофон пока писать не будем, но запомним: «Бог любит малых воробьев, от гибели храня, и если любит Бог цветы, он любит и меня».

Запомнил, взглядом сфотографировал, перепел ее песенку, перевоплотился в душе.

Я вообще должен сказать — надеюсь, со временем это сделает понятной и линию моего поведения, — что в механизме моей памяти имеется некоторое, как мне кажется, своеобразие. И так как это будет еще читать мой лечащий врач, я особо хотел бы подчеркнуть для него это своеобразие. Я не стараюсь зубрить, затверживать, заучивать даже то, что необходимо запомнить. Я лишь фиксирую свои впечатления и тут же, хоть на мгновенье, перевоплощаюсь в говорящего: внутренне как бы повторяю его словесный жест. Может быть, я в этот момент внедряюсь в человека на молекулярном уровне? Залетела молекулка, пожила минуточку в чужом теле, в чужих веселых мозгах, и обратно. И уж тут как бы приклеилась, на манер почтовой марки, к моему образу мыслей. Живет-поживает, не тусуется, скромно отсвечивает до поры до времени. А вот уж как приходит пора, этот кусочек, эта с п о р а, эта молекула набирается соков, разрастается и вдруг начинает жить внутри моего сознания. Вернее, мое сознание под влиянием этой молекулки начинает почему-то становиться не моим сознанием, а чужим, я начинаю совершать чужие жесты, начинаю говорить с чужими модуляциями в голосе и вдруг чувствую, что «я» это «не я». И вот это новое «не я» может ходить, думать, улыбаться, как это самое чужое «я», и тогда мое собственное «я» быстренько скуживается, свертывается, превращается в крошечную почтовую марку.

Второй субъект моего будущего репортажа — это неунывающий кореш, стоящий с двумя девицами возле самого парапета. По трафаретности одежды — турецкие кожаные куртки, маечки, батнички, отстиранные до голубизны джинсиски и одинаковые ботинки, имитирующие солдатские, — и основатель-

ной сырости плотных коротконогих фигур можно было почти безошибочно определить жителей рабочих пригородов. Здесь все читалось, как в букваре. Пятиэтажные дома, скучные работяще-пьющие родители, ковер на стене, огромный телевизор, сервант с хрустальными, в общем-то добропорядочная, скучная родительская жизнь и молодое свободолюбивое поколение, выбравшее и баночное пиво.

У троеки было полно развлечений. Во-первых, небезызвестное пиво и эти самые тяжеленькие алюминиевые баночки, похожие на снарядики. Летит себе такой разукрашенный тяжеленький снарядик и повизгивает перед тем, как разорваться в мозгу или в желудке. Во-вторых, натуральное, с запахом гари, орудийного масла и свежестью от реки, телевизионное кино наяву. Белый дом весело полыхал, из его окон жалко постреливали. Можно было сравнить это увлекательное зрелище с огоньками, взрывами и рушащимися, как накипь в чайнике, стеклами с картинками пожара гостиницы в американском боевике «Крепкий орешек». Искусство, вопреки точке зрения идеалистов, все же корреспондируется с жизнью. Картина увлекательная, безопасная и захватывающая! В-третьих, — а может быть, банки пива в руках — это не только жажда, но и некая ритуальная деталь, некий скрипет раскованности, нонконформизма и бытового на всех наплевательства? — в-третьих, вся эта тройка методично и упорно, как корова на отдыхе, жевала какую-то популярную жвачку, словно фокусники пламя, выпуская из углов рта с удручающей ритмичностью большие белые шары. И, Господи, как они были счастливы, как монументально спокойны и величественны. Ну, просто небольшое стадо одетых в кожу и джинсу сивучей на морской отмели!

Выражаясь примитивным языком соцреализма, я сразу понял, что качок в распираемой на плечах куртке и с круглой выпуклой попкой — это явление типическое, и из него, хотя бы в собственном воображении, надо выжать типический монолог.

Многие меня здесь, конечно, могут спросить: а зачем, собственно, такие серьезные размышления и поиски, не лучше ли взять какого-нибудь служивого интеллигента, и он все расскажет как на духу и, главное, как надо? Отвечаю. Современная так называемая интеллигенция, страдающая оттого, что ее отеснили из первых рядов телевизионных исполнителей, которая еще совсем недавно была весьма богатенькой или могла, по крайней мере, не скрывать, в отличие от коренных партжуликов, своего богатства, в своем нынешнем генетическом стремлении прильнуть к жирной груди правительства, готова на все. Сам в некотором роде интеллигент, сам знаю. Нас только кликни — и ради того, чтобы отсветиться, мы готовы на любые компромиссы. А уж что именно говорить — мы сами знаем, в лучшем случае нам достаточно намекнуть, и мы готовы пуститься в ночь по гулким набережным, по простреливаемым улицам, неся свой крошечный талант, в надежде на него получить некий идеологический, а потом и материальный дивиденд.

Я приблизился к троице на мосту и навострил ухо. К сожалению, троица почти не владела, как современный рок-певец, родным языком. А может быть, выпуск белых сплохов жвачки из углов рта означали какие-нибудь кодированные высказывания или, может быть, даже целые предложения или периоды? Я ничего не слышал, кроме «дает», «крут», «очень

круто». И только один раз, когда пламя из окна здания полыхнуло особенно весело и заковыристо, из дружно жующей и каким-то образом запивающей говорящую жвачку пивом группы вдруг донеслось: «черножопый». Это даже не требовало особой расшифровки. Все стало ясно. Мне даже не потребовалось как бы влезать поочередно в сознание всем членам этой небольшой тусовки, чтобы нафантализировать и решающую реплику и диалог. Они даже как-то сами возникли в голове. И даже более того — не искомый монолог, а целая крошка звуковая сценка, так в будущем украсившая мой репортаж.

Теперь можно было переходить к другой части программы.

Не следует думать, что в эти ужасные для России дни кругом царили разор и беспорядок. Отнюдь нет, работали почта, телеграф и электричество, ходили поезда, работали детские дома, ясли и больницы, министры и государственные деятели играли в теннис, самую популярную игру современности, а милиция и внутренние войска зарабатывали свой хлеб в поте лица. Правда, как свидетельствует пресса, и пот, и лица у этих молодых парней были, для анонимности и безопасности, скрыты под масками. «Под маской леди, краснее мёда, торчали рыжие усы». Так, кажется, напевала иногда моя матушка песенку своей юности в кухне, во время готовки пищи или глахаки белья.

Мысль о матушке пришла мне в голову в этот момент не случайно, но об этом позже.

Новый Арбат, бывший проспект Калинина, мне удалось прямо за мостом перебежать сравнительно просто, хотя и здесь милиции было довольно много, и она дружески увещевала. Однако возле высокого жилого здания, стоящего напротив бывшего дома СЭВа, крышу которого я собирался сделать своей обзорной площадкой и трибуной, стоял целый наряд и фильтровал прохожих. Как быть? Просочиться, конечно, как-нибудь было можно боковым путем, поднявшись дворами с набережной или совершив глубокий рейд по тылам, но я посмотрел на часы и увидел, что время меня уже поджимало. И тогда я применил испытанный прием.

Я благодарю иногда Бога за, казалось бы, сущую безделицу. Как за последнее время сблизились, а иногда просто слились мужская и женская моды! В этом я вижу не только идеологическое предопределение о равенстве людей, несмотря на пол, но и даже некоторую экономию ресурсов; и девочки и мальчики носят одной и той же фирмы и фасона джинсы, одинаковые футболки с иностранными надписями и картинками, адиасовские или пумовские кроссовки, исчезло деление на мужские и женские сигареты — все сейчас курят «мальборо», «кемел», «лаки страйл», а бедняки и неудачники реликтовые «Дымок» и «Беломор». Мужская мода для женщины, вернее то, что называли мужской модой, стала не отличительной экстравагантностью аристократок, макензиц и миллионерш, а повседневностью среднего класса. Женщина в магазине, в конструкторском бюро, в театральной студии. У нас-то в журналистике, в редакции, в телевизионной студии отличить леди от кавалера можно только вблизи или на ощупь. Повторяюсь, но: одни и те же кожаные или джинсовые куртки, футболки, брюки, кроссовки, сигареты, размашистая энергичная поступь и — по моде наших дней — длинные волосы. Может быть, чтобы все же внести некоторое различие, мужчины,

как правило, связывают свои волосы на затылке резинкой, а девушки ходят, весело рассыпав кудри по плечам. Впрочем, знаменитый поэт Вадим Степанцов — основатель и бессменный руководитель Ордена куртуазных маньеристов, носит свои русые кудри свободно, как мушкетер.

Не подходя близко, я постарался поподробнее рассмотреть это внезапно возникшее передо мной препятствие. Мне иногда кажется, что в войска внутренних дел, в ОМОН и в другие правоохранительные службы набирают по признаку «самости» — не самых там щустрых, верных, преданных, честных, даже сильных и стойких, а как бы просто молодых, играющих гравами и узлами мышц жеребцов. Как бы людей с внешне безукоризненным мужским экстерьером и с желанием раскрошить все, чтобы только ему досталась лучшая самка. Из каждого из них выпирает эта страсть к любовной игре, продолжению рода и насилию. Омоновский наряд, выросший препятствием на моем пути, тоже не являлся исключением. Ростые ребята, мои сверстники, печать интеллектуальной нетрудоспособности лежала на их лицах, делая их румяными, без морщин, являющихся часто плодами излишней рефлексии и раздумий, открытыми и привлекательными. Наряжены и экипированы они были так, что перед этим прикидом не могло устоять ни одно женское сердце. Пятнистые штаны, шнурованные, самого сурового вида ботинки, куртки с карманами, каждый из которых говорил, что в них лежат не конфеты и надушенный носовой платок, а какие-нибудь обоймы с патронами, кандалы, наручники, ножи, волчьи зубы, кастеты и приспособления для пыток. А эстетическая и сексуальная привлекательность и мощь оружия! Каждая снайперская винтовка или автомат — это не только прибор для послания с большой скоростью пули и определенная масса металла, это еще и некая сексуальная атрибутика. Нагло рвущийся вперед образ сексуальной (впрочем, подчас, как говорят, мнимой) силы. Глядя на такого оснащенного вооруженного витязя, невольно особы женского пола начинают относить и соразмерять мощь живого и мощь неодушевленного инструментария. А какая дама не прикинет это воображаемое сокровище к своим воображаемым грехам? Но ведь здесь идет и обратный процесс. При каких бы самых боевых делах ни находился вооруженный кавалер, видя блеск восхищенных очей, он невольно включается в игру, его природная самость начинает волноваться, заставляя его взглянуть — на старый ли, молодой ли предмет обожания и восхищения его особой — с некоей, пусть и минимальной, доброжелательностью. А потом, разве не видит самец в каждом себе подобном врага, а в каждой самке возможную подругу?

Такие длинные теоретические рассуждения, конечно, не возникали у меня тогда в сознании. Все уже было давно проиграно, и мысль стала навыком к действию. Мозг получил сигнал, что надо пройти через пятнистый, как молодой ягуар, загадительный кордон, а руки, все тело, психика, наконец, сами принялись за работу. В одно мгновенье я почувствовал, что как бы переступаю по-другому, мои плечи при движении стали чуть раскачиваться, а бедро в какой-то нежно-сладкой истоме при шаге начало выступать вперед. Но ведь у меня за плечом была еще и сумка! В бой надо вступать во всеоружии. Ни у тебя, ни у твоего противника не должно быть и тени

сомнения именно в твоей победе. Здесь все было отработано и незачем было привлекать к себе внимание и тратить некоторые психические силы на ложный старт, на взлет, раз самолет еще не был до-заправлен и все люки не задраены. В большой сумке у меня на плече, вполне мужской и вполне женской, потому что это была импортная, высшего качества спортивно-деловая сумка, среди всего необходимого журналисту, фотографу, радиорепортеру — портативного магнитофона и диктофона, блокнотов, авторучек, курева, кипы прочитанных и непрочитанных газет, проспектов выставок, которые были уже посещены, но проспекты и листовки после посещения которых еще не были выброшены, — среди массы хлама, который собрался, как напластования жизни, была еще и небольшая сумочка, эдакий дешевый ридикюльчик из копеечной пластмассовой kleenki, в которой лежали предметы моей деловой, а если хотите, и сексуальной атрибутики. Обычно, если какой-нибудь девушки, моей фотомодели, потребуется что-нибудь поправить на лице, придать иной шарм ее прелестному лицику, если даже она забудет что-то из своих средств индивидуальной живописи на собственном лице, то у меня все с собой в студии, в спортивной сумке. Я сам лучше любого гримера и мастера макияжа могу нарисовать новое лицо, более значительное, женственное, вульгарное, откровенно притягательное любой своей модели. Здесь нужны только твердый глаз, воображение, решительность и наличие качественного живописного материала. Но иногда, когда я не только снимаю эротические фото, но и пишу эротические письма и рассказы как бы от лица читателей и прелестных читательниц нашего журнала — сказал ли я, что сотрудничаю в одном эротическом издании, достаточно популярном у всех слоев общества и возрастных групп, для которых секс еще имеет определенное значение? (Боже мой, будто есть на свете такие люди, для кого собственная писька ничего не значит!) — и вот иногда, когда я выплескиваю из себя, вернее, сажусь за пишущую машинку или ложусь на койку, взявши с собой авторучку и блокнот, дабы придумать очередное страстное письмо от читательницы, читателя, а иногда и от имени специфических — о нет, я ничего не хочу сказать плохого, это немодно — субъектов, воплотивших в себе оба пола, — вот тут предварительно трогаю косметикой и свое лицо. Такая очаровательная красотка глядит на меня в зеркале! Такой очаровательный паренек! Вместо текста у меня голова кругом идет, как хочется мне тогда побаловаться с ними обоими! Страстное тут получается письмо, которое с интересом и жаром будут читать тысячи моих соотечественников, отдав в переходах метро деньги, приготовленные на хлеб, за легкомысленные газеты. Без хлеба, но с сексуальными мечтами.

Итак — быстрый взгляд на пятнистую стайку молодых самцов, обвешанных оружием, стерегущих проход к дому, выбранному мной в качестве наблюдательного пункта и радиостудии, — и я сразу прекращаю свое неясное движение, сразу отхожу чуть в сторону и достаю из спортивной сумки крошечную косметичку для моделей. Эксперимент уже продлевался неоднократно, и здесь дело рутинное, результат которого уже известен. Попутно, как всегда, думаю, хорошо, что я не очень высокого, такого не-женственного, роста.

Сначала долой безобразную резинку, которая держит пучком волосы. Потом из своей волшебной копилки, из кошелечка с грифельными принадлежностями и разными мелочами я достаю зеркальце. Вот что значит не лениться, мыть волосы с шампунем ежедневно, держать их чистыми. Жена Стелла каждое утро мне говорит: «Ты испортишь волосы, они начнут у тебя редеть или вылезать от бесконечного мытья головы». Но разве наш мир рассчитан на тысячу лет, все живем сегодняшним днем и подожнем с пышными шевелюрами. Я снимаю резинку, кладу ее в нагрудный карман куртки, потому что скоро пригодится снова: быть и казаться женщиной выгодно только при определенных обстоятельствах, — и смотрюсь в зеркальце. Волосы немедленно рассыпаются по плечам, но мужскими плотными патлами. Я пококетливее их расправлю и начинаю заниматься лицом. Я вообще полагаю, что женщины перегружают свое лицо вниманием и косметикой. Для них макияж скорее не средство гигиены и эстетический прием, а некое психическое упражнение, позволяющее войти в определенное состояние. Но психика у меня лично очень подвижная. Два удара се-ренькой краской по векам, чуть удлиняем разрез глаз, капельку краски на скулы. Пусть будет немножко угловатая и чуть мужеподобная девушка, нежели жеманная и вульгарная дешевка. Девушка-волейболистка, спортсменка, пловчиха. Это очень важно — выстроить внутри себя определенный реальный образ и создать настрой. Все готово, а походка, поворот шеи, блеск глаз, взгляд, наконец голос — придут. Журналист всегда социальный актер, я лишь распространил и расширил сферу. Это мое, журналистское...

Я подхожу чуть семенящей походкой к металлическому барьери, возле которого вьется куча людей, желающих проникнуть за ограждение. Молодые, в пятнистой форме, стражники настроены решительно: им надоели все просьбы трудящихся, канючение, слезы, упреки и ругань. Приказ есть приказ. Лица у них сосредоточенные и злые. Вдобавок ко всему стоят они — надо, чтобы мой врач и читатель не упускал этого из виду, — не на главной аллее Центрального парка культуры. Два танка на мосту методично, как каменщики кладут кирпич, лепят по Белому дому. Толпа помалкивает и созерцает. Раздаются взрывы снарядов, звон битого стекла. Отдельные его пластины планируют сверху под углом и блестят на солнце. День светлый, безоблачный, и черный дым создает прекрасный контраст между черным и белым, а контраст, как известно, лежит в основе почти любого художественного приема. Из Белого дома вроде бы тоже отстреливаются. Пальба идет замечательная, еще раньше на набережной я видел похожих на зеленых черепах, только что поднявшихся из тины, вездеходы, называемые боевыми машинами пехоты. Около некоторых, прячась за борта, за бронированные стены, притаились снайперы, ведущие свои дуэли. Стреляют они не часто, но, видимо, не без результата. Мне, конечно, хотелось бы, как в кино, зафиксировать выстрел, лицо с выражением удовлетворенного самолюбия, попадание в цель, крупным планом вскрик жертвы, а потом — на этом месте мальчишки в зрительном зале аплодируют — летящая, раскинув руки и ноги, с высоты, с крыши дома фигура. А-а-а! Но чего не видел — не видел. Обязанность журналиста рассказывать если не голые факты, то типи-

ческие явления в типических обстоятельствах. Типичными были осколки, которые позванивали вокруг, когда я подошел к патрулю.

Я не стал сразу — впрочем, в данный момент, чтобы иллюзия перевоплощения у читателя оказалась полной и меня тоже не угнетал элемент раздвоенности, есть смысл на время сменить хотя бы местомимение, — этим приемом я, возможно, буду пользоваться и в дальнейшем, хотя, наверное, лучшие и главные страницы в прозе спонтанные, но пока будем пользоваться этим приемом замены, — итак, я не стала сразу же (временное перевоплощение совершилось) что-то объяснять, втираясь в группку других разношерстных граждан, стоявших возле барьера, а достойно и скромно заняла место чуть-чуть поодаль. Эдакая, повторю, весьма милого спортивного типа девушка.

Мирные десантники — как я про себя называла этот мужественный народ — довольно бойко разбирались с прохожими. В основном, здесь были любопытствующие, сострадающие вызывающим правдолюбцам из Белого дома, бомжи, которым было совершенно все равно где проводить время, обыватели, вечно выхидающие, на чью сторону склонится победа и для быстроты маневра желающие все знать первыми, приезжие, прибежавшие «на звук» посмотреть представление со взрывами и огнем, от расположенного рядом Киевского вокзала, жулики — неизменные посетители и участники всех людных событий, тайные мародеры, боящиеся попортить свою шкурку, но мечтающие при штурме что-либо утащить, явные мародеры — таких я видела достаточно и, признаться, втайне завидовала их предприимчивости и дерзости (многие были с сумками, рюкзаками, в которых была какая-то отторгнутая и наворованная добыча). Сортировка толкающихся возле барьера заключалась в том, что некоторых десантники отправляли вниз, на набережную, кое у кого внезапно требовали документы, а большинство, потолкавшись, устрашенные их грозным видом, сами исчезали и таяли во все времена возникающей и рассчитывающейся людности. За барьера, на ту сторону, попадали считанные единицы. А мне было нужно именно туда.

Как всегда, тактика «не просить», «скромно, но с достоинством ждать» принесла плоды. А может быть, они заметили, как скромная девушка-баскетболистка стояла в сторонке? Написав, а сначала прочитав столько писем от мужчин и женщин, жаждущих близости и любви, я догадывалась — что такое молодой горячий самец. О, эта вечная готовность спустить курок! А потому в стоявшей баскетболистке, чуть расслабившей и развернувшей бедро, — разве боевые действия отменяют инстинкты и добротную мужскую психологию? — я бы даже сказала, что несмотря на суровость службы — десантники все же увидели скромную, но достаточно сексапильную, сбравшуюся что-то им сообщить, девицу. Так оно, кстати, и получилось.

Разогнав довольно быстро группку жаждущих дальнейших нерегламентируемых продвижений, среди которой оказались два каких-то мужика с ручными тележками, нагруженными самым модным товаром отечества — палками «Сникерсов», и несколько бомжей, пользующихся случаем и подвигающихся от одного места, где могла случиться потенциальная бесплатная раздача водки и какой-нибудь снеди (они

еще не забыли август, случившийся два года назад), бабок в замысловатых нарядах, и шуганув нескольких оборзевших школьников, под маркой новой революции прогуливающих классы, они, эти пятнистые молодцы, позякивающие оружием, как цыганка браслетами, наконец обратили внимание и на меня.

— Ну, а ты что, красавица, стоишь в сторонке? Может быть, у тебя к нам особое поручение? Мы можем, — сказал самый жеребцеватый. И я мысленно порадовалась, что мой эксперимент, как бывало и раньше, удался и сегодня. — Мы очень хорошо это умеем.

— И любим, — сказал другой, поменьше ростом нагловатый крепыш.

Это было галантное приглашение к разговору. А самое главное, как уже было сказано, мои чары действовали и, судя по всему, были в данный момент актуальны. Правда, третий охранничек, чуть пониже, нежноватый брюнет, но подчеркивающий свою чуть ущербную мужественность усами, как-то не проявляя должного энтузиазма и воротил нос, притворяясь, что пока его друзья живут, он выполняет свой долг и следит за обстановкой.

И что откуда, спрашивается, взялось? А, собственно, ничего особенного. Надо ли приводить здесь маленький куртуазный диалог, сообщать об обмене улыбками, многообещающими взглядами, намеками, полууслышками-полубесцаниями, даже телефонами, в результате чего то странное существо во вполне мужском костюме и с вполне натуральными, я бы даже сказала, качественными атрибутами мужественности — но в данный момент, как бы оставляя свой пол за скобками, — это существо оказалось по другую сторону гроздного барьера.

Легчайшая шутка, естественно, сдобренная двусмысливостью, помахивание, не раскрывая, каким-то редакционным удостоверением — у многих из нас, и журналисток и журналистов, этих удостоверений хоть пруд пруди, потому что все мы, поденщики пера (асы, как известно, продаются дороже), все мы, журнальные и газетные сочинительницы и сочинители, работаем одновременно в десятках изданий и показываем в нужных дверях нужную бумагу, — потом улыбка — ах, если бы у меня еще была по-настоящему женская грудь, как, наверное, приятно идти напролом, на штыки, на железо, чуть поблескивающее ружейной смазкой, на противника и, конечно, проходить через все бастионы!

Путешествие дальше, к облюбованному мной и тысячами москвичей дому, не представляло особой трудности. Поделюсь только тем, что в этот момент у меня из головы почему-то не шел третий, нелюбезный охранник. Воистину «чем меньше женщину мы любим». Но вообще-то я стараюсь все увиденное и услышанное мною бросать в горнило профессии. А в конечном итоге — движение впечатлений, статей, фактов, заметок, комментариев, бытового и личного опыта напоминает круговорот материи в природе, как это рисует школьный учебник, — а в итоге все усилия тратятся на пропитание души и тела, как говорится, детишкам на молочишко. В охраннике было что-то привлекательное, может быть, даже его невнимание ко мне раззадоривало и придавало ему в моих глазах значительность. Но — меняем местомимения — уже за барьера, естественно, моя походка почти сразу потеряла непередаваемый девичий шарм, плечи опустились, я полагаю, что даже лицо приоб-



рело совершенно другое, подлинное, выражение, а провести бу-
мажной салфеткой по скулам, собрав штрихи маскировки, со-
единить снова волосы в узел — это можно сделать и на ходу, —
но вернусь к прежней мысли: я уже привык каждое свое впечат-
ление, если даже сразу не использую его в работе, хотя бы закла-
дывать в эмоциональную память как некую заготовку. И тут я на
всякий случай, мысленно, по памяти раздел этого недовольно-
го усача, повертел, как куклу, перед глазами туда-сюда, прики-
нул его в одной ипостаси, снача-
ла как первородного самца, с заросшими молодым
курчавым волосом грудью и бедрами, крепкой шеей.
Представим теперь себе, как он ведет себя с женщи-
нами. Короткопалая рука на роскошном полуширии
груди, усы щекочут нежный сосок, ноздри раздува-
ются. Лицо, ленивые, пренебрежительные движения
этого самца попали в диапозитарий, в копилку па-
мяти, и в нужный момент всегда окажутся на кон-
чике пера. Разве мы, журналисты, пишем только в
политических газетах? А был, а столь любимый мо-
лодежью секс? А разве немолодому человеку не при-
ятно развернуть номер эротической газеты и погру-
зиться в мир грез своей юности, в воспоминания о
своей моли и сексуальной славе?

Теперь повернем этого надутого усача в другом ракурсе. Это совершенно справедливо, как считают специалисты, что на девяносто процентов литература делается из готовых формул, характеров, сюже-
тов, фраз, а на сколько же процентов, спрашивается, делается из этого журналистика, даже самая кру-
тая, написанная так называемым стебом? Уж девя-
носто-то своих процентов штампов из уже давно

выловленной, а может быть, и поджаренной рыбы она возьмет. Именно поэтому другой ракурс — это ракурс уже былого, напи-
санного и перепечатанного. Представим сейчас этого мужич-
ка в другой роли. В его других мечтаниях. Оказывается, такие орангутанги могут представлять себя в роли женщины или совсем маленького мальчика. Маленько-
го мальчика, которому в детстве папа, вечно пьяный шофер, не-
додал любви, а потом скрылся из семьи, не научив волчонка волчьим повадкам. Воспитывала ма-
мочка: женский менталитет, спо-
койствие, сочувствие, душевность. А в общем, аме-
риканцы пишут — ничего здесь неизвестно, какой-
то облом в генах, и каждый десятый или шестой муж-
жик носит у себя в мозгах эту роковую двойствен-
ность.

Не без внутреннего удовольствия я нарисовал этого недовольного и нелюбезного усача в нескользких сомнительных ситуациях. Даже совершил некоторое мистическое хулиганство — противостоятельно соединил его с его товарищами по наряду. Очень живописная получилась группа. А потом не удержался и в эту группу, по всем правилам порнофильма, всадил еще себя, естественно, не в роли благовещающе-
го ангела. Запомнил. Психологическая матрица с моим собственным ощущением этой сцены опустилась в хранилище. Когда надо, вспомнив это ощущение, я целиком восстановлю картину.

Журналистика, так же как в известной мере лите-
ратура, не занимается описыванием мест, происшес-
твий и событий. А если и занимается этим, то — от-
части. Эти два ремесла лишь фиксируют жизнь в ее
уже отлившихся словесных стереотипах. Исключе-

ния не в счет. Литература и журналистика состоят из голодных и честолюбивых поденщиков, а исключения лишь, как известно, подтверждают правила. Я поясню свою мысль. Ни в журналистике, ни в литературе никогда не случается ничего нового. Обе эти игры состоят из кубиков и деталей наподобие детского конструктора, и эффект новизны — лишь эффект броской окраски. Дитя лишь тешится, что построило новый домик. В домике невозможно жить, и любой ветер может его разметать. В общем, любые описания, претендующие на жизнь, не вполне достоверны, а посему я не стану описывать ни дом — в конце концов его много раз показывали на ТВ — ни арку ворот, в которую втекали, как лазутчики, отдельные прохожие — так грозный ручей несет щепки, — ни грязный подъезд в углу двора. Именно здесь, в углу, была дверь «сезам», через которую можно было подняться на крышу. Вперед! Мое описание тоже, конечно, будет неточным: из жизни? Из итальянского кино 50-х, которое сейчас показывают по ящику? Из каких-то прочитанных статей? По крайней мере, лифт не работал. Обычный подъезд, обычная лестничная клетка, выкрашенная, не помню, но годится любой стандарт от темно-синего до охрино-светлого, цепочки людей, цепочки неофитов, поднимаются наверх, а им навстречу с веселым клекотом — для этих уже не существует никакой боязни и никакой тайны — спускается другой поток, все познавших. Но есть и деталь, отличающая этот подъезд от всякого другого. Все двери в жилые квартиры наглухо заперты и, возможно, изнутри забаррикадированы, но остается крошечный нервик, который соединяет «ту», «домашнюю» и «эту», «общественную» жизни — проводочек, который ведет снаружи в глубь логова, кнопка дверного звонка. И вот почти каждый, ну, через двоих, через троих, спускающийся сверху, для разрядки, нажимает на такую кнопку. Ах! как весело! Какие замечательные трели. Какие жаворонки, какие соловьи! Еще мысль попутно: действительно, элементарное звонковое треньканье по-следнее время стали заменять птичьими голосами. Звучит птичка. Из-за двери: «Кто там?» Отзыв: «Вам телеграмма!» Дверь открывается, а навстречу бабусе в старинных жемчугах и камеях рэкетир с автоматом и электропаяльником в кармане.

Я еще почему отказываюсь описывать лестницу и цепочкой — как на Фудзияму — подъем на восьмой или девятый этаж, где находился уже собственно люк на крышу, да потому что к этому времени голова моя была занята совсем другим: какое там поручение дал нам уклончивый и скользковатый, как карась, Стасик? Это только кажется, что ничего особенного, простенькие впечатления, вид сверху, две-три спонтанных высказывания. Я специально не задумываюсь над тем, что там происходит на площади. Я специально умственным взором отгоняю от себя настойчивое видение, что происходит в комнате, когда в нее попадает снаряд. Я не пытаюсь представить эти огненные сковородки, на которых поджариваются живые люди. Пусть, как говорят, эти люди и преступники. Через стены сюда, в закрытое помещение, на лестницу, доносится тупое уханье, с которым работают орудия танков, и клекот тяжелых пулеметов, с которым они вгоняют пульки в материальные ценности и живую силу. Но я-то знаю, что от меня ожидают в репортаже и из чьей кассы я

буду получать на молочишко. От меня ждут поддержки происходящему. Я должен завернуть крошечный винтик в сознании обывателя: не сомневайся, власть, Президент и армия правы, посылая снаряды в дом, построенный на твои, обыватель, денежки. Распетущийся, голубчик, — это и твоя победа! Но это все легко сказать. А идеология даже в самом деидеологизированном государстве состоит не из похожего на воздушный шар Монгольфье слова *идеология*, а из фраз, предложений, в свою очередь сложенных из подлежащих, сказуемых, определений, дополнений и другой филологической окрошки. Я поднимаюсь и думаю о первой фразе репортажа. Необходимо, как и всегда, что-нибудь примитивно-монументальное, типа «Традиции не хранятся в музее». А где они, собственно, хранятся? Или: «С востока поднимется солнце». А откуда оно поднимется с Запада? С Марса? С Луны?

На 8-м или 9-м этаже собственно лестница за кончилась. Площадка с дверями в квартиры и разбитыми кнопками звонков. Дальше вверх вела узкая лестница какой-то надстройки. Так оно и было — два узких лестничных марша, и я оказался в длинном коридоре. Судя по всему, из коридора можно было попасть в какие-то художественные мастерские или мансарды. Сам-то коридор напоминал коридор общежития, с дверями на обе стороны. Возле каждой двери стоял стол с наваленным на него хламом, пустые бутылки, мешки с цементом, подрамники, прислоненные к стене. А в середине, как мурлыки по тропе, шастали люди. В конце этой тропы, как раз в торце коридора, зиял, ощущаемый током воздуха и контрастом к электричеству дневным светом, выход на крышу.

Это да же была не крыша, а скорее какая-то терраса с балюстрадкой, огораживающей место, где принимали солнечные ванны и развещивали для просушки белье. Вид отсюда открывался замечательный!

На крыше, как на народном гулянии. В основном, молодые ребята и девушки. У кого-то даже импортный портативный телевизор на аккумуляторах. Изображения почти не видно, но звук громкий и отчетливый, иностранные корреспонденты бесстрашно комментируют осаду Белого дома правительственными войсками.

Смотрят телевизор, сравнивают с живой картинкой, пьют пиво. Настроение самое благодушное. Таких, которые бы очень переживали, немного. Словно в фойе большого кинотеатра перед началом сеанса. Молодежь как бы даже не против этого неожиданного развлечения со стрельбой.

По своей журналистской привычке я ловлю живые сцены, обрывки реплик. В этом смысле репортаж на задании похож на собаку-ищейку, бегущую по следу. Ее, конечно, волнуют все запахи, но настроена она только на один. Пока репортаж не готов, в памяти следует держать все, а потом так же все забыть, высвобождая место для новой порции. Из телевизора — это слышно — американские коллеги уверяют, что народ в основном поддерживает Президента в его жестких мерах против парламента. Эту мысль беру на заметку и как бы выдвигаю ее на авансцену сознания. Американцам виднее, у них связь, департамент, наши и собственные аналитики. Доллар рождает мысль.

Подхожу к балюстраде. Отсюда, сверху, засыпанная стеклом площадь перед Домом, на другой сторо-

не реки, на набережной, густая толпа, наблюдающая за битвой армии и добровольцев. Поблескивают стекла биноклей и подзорных труб. Здесь, наверху, на пляжной площадке, тоже много наблюдателей, снабженных разнообразной оптикой.

Одно из обязательных свойств профессии — не думать о постороннем во время репортажа и его подготовки. Концентрироваться, концентрироваться. Но слишком многим я в этой журналистской жизни сразу занимаюсь: посторонние мысли шныряют, как мыши в старом амбаре. Все время искрит. О своей собственной семье я еще не говорил: значит, дом, ребенок, жена, мать — все это присутствует и колотится в сознании. Возникает полунаплыvами. Как посторонние кадры при переключении телевизора. И один сюжет с собой настойчивостью бьет по мозгам. Мне бы, обывателю, живущему тяжелой, а порой и нечистой жизнью, добывающему на хлеб себе и на молоко своему ребенку грязным ремеслом, купающемуся подчас в сливной яме жизни, мне бы от этого сюжета по душевной деликатности, из боязни собственной загаженной совести — бежать, избегать роковых умствований, но я с настойчивостью идиота все думаю и думаю только об одном: что же случилось с Отечеством и народом? Люди безмолвствуют, ну и пусть себе безмолвствуют. Но почему же все время предают и все ворогам своим спускают? Батюшку-царя со всей его почты от Рюриковичей родной народ бросил, предал, не пролил и слезинки, а потом и посмеялся и долго смеялся, и подло потешался на своих агитационных карнавалах. Сдал и предал в 17-м, в одну мимолетную секунду Церковь-заступницу, мать и вдохновительницу Отечества, списал в один миг. Все предал — монастыри, храмы, иконы, кресты, погосты, моши святые, паниадила и даже церковные ризы употребил на какие-то бытовые пошивы. А ведь эта, разграбленная и оплеванная Церковь, много веков венчала, крестила, хоронила, покоила, учila грамоте, созидала внутренний мир, брала на себя грехи, дарила надежду, праздники, утешала в печалих и боллях. Но не слишком ли быстро сдал ее народ? Но, правда, и она тоже, словно большевичка, когда пришла впервые на Русь, боролась огнем и мечом, сталкивались в костры Перунов. Куда же упльваешь ты, боже! А народ, кажется, стоял по берегам и наблюдал, как святые колоды колышутся на легких волнах. Безмолвствовал?

А потом так же легко и простенько мой добрый народ, и я в том числе, сдали сначала своих вождей, потом партию, потом так называемую советскую власть. И если покойный отец и мать вроде бы были несогласны с этой позорной сдачей, то ведь они помалкивали. У отца только хватило мужества напиться до смерти. А мать молчит, бросила школу, в которой преподавала всю и в которой теперь уже нет преподавателя английского языка, и сказала: пусть ваши зверенышь, предатели, учит кто хочет.

Вот и сейчас, отсюда, с площадки для сушки белья, — море любопытных на другой, более безопасной стороне набережной. Хотя, конечно, лихая пуля может залететь и сюда, но зрелище пересиливает опасность. Живое кино, историческое событие, которому ты свидетель. Ведь гипотетически, на римской арене какой-нибудь сверхлев, привезенный из Африки, мог вырваться и перемахнуть через барьер к зрителям. Христианин мог послать с арены про-

клятье, а верблюд, если они тоже участвовали в представлениях, выхаркать на чистенькие тоги и туники шмат слоны. Безопасная опасность щекочет обывательские нервы. Смотрят в бинокли и безмолвствуют. Может быть, когда солнце русской поэзии написал в своей трагедии «народ безмолвствует», он совсем не имел в виду легонькое, как привкус шоколада на языке, словечко «пока». Безмолвствует, а потом поднимется «дубина народной войны» и начнет гвоздить. Внешний враг не в счет. Здесь дело идет о собственной норе и продолжении рода. Но вот когда в барском эшелоне происходит стычка — это в кайф. «Безмолвствует» — это символ настоящего и будущего предательства. Безмолвствует — это предает.

А я сам? Я обычно не позволяю таким мыслям вторгаться в садик моей души. В конце концов, журналистика — это как бы даже профессиональное предательство. А предательство не в ущерб себе, а за деньги — это уже бизнес. Ныне любимое народом, как раньше «коммунизм», «бескорыстие» или «советская власть», слово. Слава КПСС, подбирающей в высшие эшелоны своей всенародной власти самое отъявленное говно!

Теперь мы расхлебываем за все. Танки весело стреляют, правда, бьют по роскошному зданию, построенному повелением этой самой КПСС, народ безмолвствует, блестя биноклями, здесь, наверху, молодежь пьет баночное пиво, а мне, кажется, через сорок минут выходить в эфир.

Стоп. Кошелек рефлексий, как дамский ридикюль, захлопнулся с клачаньем. Первая фраза, первая фраза — и вдруг внезапно, как чайка над морем, эта фраза выплыла и закачалась в сознании. И мгновенно весь этот суперсобытийный репортаж выстроился и, вполне рукотворный и законченный, закачался эдаким густоком слов и энергии над площадью, засыпанной битым стеклом и по краям установленной БТРами, из-за которых расчетливые, как банковские менялы, били по верхним этажам снайперы. Закачался над самым Белым сахарным домом, будто покрытым черной короной. Над запахами гаря и мерещившимся запахом шашлыка. Дело лишь за тем, чтобы это видение, мираж, возникший из движений социального заказа, виденного и наблюденного репортером, определенных традиций журналистики, нехватки времени, диктующей иной стиль обобщений, из могучего импульса повышенной за характер ангажированной точности и некоторую опасность оплаты, из стремления хотя и на краешке стола поучаствовать в роскошном пире победителей, — дело лишь за тем, чтобы видение это сочными лакомыми мазками перенести на полотно, и первая фраза (о, благодатное и щедро дающее американское телевидение!), к несчастью, уже имеется: «Народ безусловно поддерживает своего Президента» (жалъ, конечно, что голосом трудно выделить заглавную букву в слове «Президент!»).

Итак, вперед! Излишняя рефлексия не признак интеллигентности или многовариабельности творчества, а недостаток профессионализма. Я достаю из висящей на плече сумки диктофон, работающий с таким превосходным качеством, что если точно посыпать, не расплескивая, в микрофон, звук, то диктофон этот вполне может заменить профессиональный, специально для репортажей, дорогой магнитофон. Техника техникой, но человеческое умение тоже кое-что значит. Мне некогда рассусоливать и гнать литературу. И первая фраза есть, а дальше понадеем-

ся на импровизацию, вдохновенный Божий промысел, который покровительствует неленивым.

Я проверяю диктофон, все крутится, вертится, крошечные лампочки, подтверждающие рабочее состояние, горят. Еще раз окидываю взглядом задымленное, почти сюрреалистическое пространство, — звуки боя и выстрелы, достаточно резкие, значит, лягут на магнитную пленку, и есть основание думать, что они не прекратятся в ближайшие пять минут и, как уксус и соль в салате, сделают репортаж более пряным, потому как близость смерти и кровь делает литературу и информатику более волнующей и выразительной, и значит — вперед, можно начинать. Я командую сам себе и про себя: «мотор», делаю крошечную паузу, чтобы оператор легко мог найти начало и передать его на пульт или прямо в эфир, — и как в воду:

— Народ безусловно поддерживает своего выбранного Президента.

У меня определенно есть дар импровизации. Я иногда удивляюсь, как мои товарищи по радиоещу сначала пишут тексты на бумажку, а потом уже с нее, подделываясь под живую речь, наговаривают на пленку. Слова как-то сразу складываются во фразы, а фразы сбегают с языка или с пера, как бродячие собаки. Эдакий собачий караванчик: одна за другой. И вот тут, «завернув» на пленку свою первую коронную фразу о Президенте, я вдруг, даже внезапно для себя, начал рассуждать о гражданской войне, которая «наверняка наступила бы, если бы не наш Президент, он же Верховный главнокомандующий», о красно-коричневых, которые подталкивают нас к гражданской войне. Слова ведь у журналиста ничего не объясняют, а лишь создают у народа прекрасное ощущение складности речи и некоторую видимость объяснения. Я лично, когда сам слушаю журналиста, всегда пытаюсь понять — чего он не говорит. Я не стал здесь особенно распинаться и напирать на психологию. Мне не за то заплатят деньги, чтобы каждый мог представить себе, что внутри здания пылает огонь и на нем поджариваются какие-то люди, может быть, даже родственники слушающих меня. Война должна быть похожа на войну мафий и полицейских в американских фильмах. Здесь каждый зритель знает, что все в глобальном масштабе закончится благополучно, а лично ему не больно, хотя чужая кровь приятно будоражит переживания.

Имея все это в виду, я аккуратно, но с доступным мне волнением, как талантливый, хотя и чуть поверхностный очерклист, слегка описал видимую мне сверху картину, рассказал о том, что сверху танки и боевые машины пехоты напоминают игрушечные, а подбирающиеся к многочисленным подъездам, чтобы потом их штурмовать, омоновцы в своих доспехах и черных, натянутых на лицо масках, похожи на оловянных или пластмассовых солдатиков, которых сейчас часто продают в палатках возле рынков и метро. И вот, когда я заканчивал всю эту живописную словесную картину, внезапно, как заноза, в уме сначала всплыло, а потом засвербило, застучалось выступление в совсем недавней газете одной ярой и полумистической демократки. И вот тут мысль: с одной стороны, читай газеты, и всякие словечки и фразочки будут тебя потом преследовать всю жизнь, а с другой — не читай, оставайся без подпитки, политическим невеждой, и в решающий момент тебе

ничего будет сказать, ибо всем известно, что политическая и информационная жизнь ходят по кругу: сначала говорят газетчики, за ними повторяют телевизионщики, потом добавляют или переиначивают писатели, затем разжигают политические функционеры, разменивают на простенькие суждения народ — и все начинается по-новому. А впрочем, все может начаться с любого места, с любого лица на этой карнавальной карусели.

Вот, значит, вспомнил я публичное выступление этой самой ярой и мистической демократки — читал два раза, ибо когда читал первый раз, ахнул: такого темперамента и безжалостности бескомпромиссная дама! Меня, конечно, несколько удивил текст. Отчего эта, очень уж немолодая, литераторша жаждет разборки. О Боге пора думать, а не вспоминать, кто вступил в ту самую партию, а кто и по каким причинам в ней не оказался. Но самое главное, в этой статье были советы нашему Президенту, а значит по теме. И почему тогда я не могу как бы косвенно присвоить эти мысли? Ведь в эфире любые мысли принадлежат не только говорящему, но как бы и окружающим.

Ах, как вовремя вспомнил я эту экстравагантную и скорее не женскую, а людоедскую статью! Вспомнил и, естественно, понес, понес. Журналист должен уметь под маской объективности, а порою и бравчливости, несогласия, говорить то, что хочет от тебя слышать заказчик. Ах, хочет? Мы ждали, наш Президент, что вы раньше разделетесь с этой красно-коричневой бандой. Вы давно должны были совершить этот прорыв! Демократия, защищая себя, не должна бояться силы. Я чуть ли не сказал в эфир: «Добро должно быть с кулаками» — цитату из совсем другой оперы, с другими декорациями, иным автором и иной системой оплаты. Но я вовремя вернулся в нужную систему координат и ввернул мысль энергичной и исторически прозорливой дамы о необходимости ни в коем случае не бояться социальных взрывов и гражданской войны. Мысль эта к моменту моего репортажа несколько потускнела, и поэтому я ее сразу локализовал, свернулся. Где, собственно, эти самые социальные взрывы?

Хороший репортер должен обладать двумя чувствами. Инстинктом удачи и острым чувством времени. Что касается первого, то я отчетливо ощущал, что все сделал по правилам, надежно, красиво и верно. Вся посылка моего репортажа была вытянута в струнку, и не говорите об отсутствии идеологии — она всегда имеется, она всегда в наличии, она, как изюм в калаче. В журналистике. Все дело в том, чтобы аккуратно все распределить. Чтобы человек еще и почмокивал, разжевывая эти изюминки. И в этом смысле, я это очень хорошо ощущал, предчувствовал — все у меня удалось.

Не подвело меня и чувство времени. От первой фразы, все время нагнетая и нагнетая, я вел тему свободы этой демократии и ее безусловной правоты, в которой я, впрочем, не вполне уверен. Правда, в этот момент я тоже верил в то, что говорил, а без этого вести репортаж просто невозможно. У каждого журналиста должен быть девиз: поверь хотя бы на пять минут. После репортажа ты можешь верить во все, что хочешь. И я чувствовал, что все, кто слушал меня в то время, мне верили. Но подниматься по лестнице, построенной из слов, без конца, все выше, выше, пульс все чаще, дыхание прерывается — все, это уже крайняя точка. Как какое-нибудь верхнее «до» у те-

нора. Выше уже нельзя. Тут и должно сработать чувство времени. Здесь сразу надо сменить темп, сбить ритм и уйти в какую-то иную плоскость.

И вот, плетя драматические слова, вывязывая эдакие кружевные воланы, прислушиваясь к неумолкающему гулу боя и поухиванию танков, я понимаю, что в завершение моего замечательного репортажа нужна иллюстрация. Вообще-то я об этом думал давно, в самом начале своего восхождения по лестнице. Жанр требует некоей звуковой точки, сбоя ритма, другого голоса, как бы взгляда с другой стороны, иного социального менталитета. Жирную блямбу. И не скрою, кое-что у меня было припасено.

Талант ведь никогда не вызревает в одиночестве. Таланты у человека, как опыта, растут группами, кучкуются. И если я еще прямо не сказал об одном своем таланте, а лишь намекнул, сейчас исправлю свою ошибку признанием. Мне с детства дан не только образный дар перевоплощения, умение в пределах своей, не совсем заурядной внешности — парень я симпатичный, хотя и несколько мешковатый, — менять внешний вид в довольно большом диапазоне, но и как никто владеть голосом. Я эдакий соловей-попугай, чревовещатель, Има Сумак, легендарная перуанская певица, менявшая свой голос от баса до зуда колибри. Это называется имитация, и это значительно легче, чем кого-то внешне изображать, подделываться под девушку, парня, человека среднего возраста. Изобразить голосом другого мне, как белке разгрызть орех. Я даже стыжусь этого своего таланта, потому что мне легки эти голосовые перевоплощения. Я ничего с собой не могу поделать, но я легко запоминаю особенности разных голосов, легко втягиваюсь в них и потом так же легко изображаю, перевоплощаюсь в этих людей и начинаю говорить их голосами. Здесь чуть прижмешь связки, вытянешь голос на фистулу, на дискант или, наоборот, загрубляешь, заставляешь вибрировать резонаторы в груди, а главное — интонации, специфические словечки, всякие прищептывания, картавости, всякие свистящие звуки, и дело в шляпе — перед слушателем иной, не похожий на меня по возрасту, характеру, иногда и полу, человек. Ясно?

Я даже думаю, что моему читателю не надо объяснять, как я закончил свой репортаж. Он же ведь помнит о двух персонажах, которых я встретил на мосту: о моей старой знакомой помоечнице с флагом и битке-качке, посасывающей пиво. Дело воображения и собственной фантазии перенести эту парочку, и даже прихватив девушку в коже и джинсах, на крышу, в этот набитый зеваками солярий. Сказано, вернее, надумано — и уже сделано. Словно летающие по волнам эфира эльфы, мои персонажи уже тут как тут. Качок со своей подругой стоят возле перил и наблюдают, как танк съедет с горы, а коммунистический призрак со своей палкой и флагом бредет прямо на весящего репортера. А я говорю, говорю, с моего языка срываются густые, как вчерашние сливки, описания. И качок, и его подруга, и призрак. И вот уже подводка готова. Качок вползает в сознание радиослушателя, и осталось только совершить вопрос и придумать ответ. Мой голос приобретает особую задушевность:

— Молодой человек, — спрашиваю я, — а как вы трактуете этот эпизод? Все-таки, — репортер всегда должен быть видимо объективным, — рвутся снаряды, льется, наверное, кровь.

И тут же радиослушатель услышал сыйый, уверенный в себе, но серьезный голос качка. В моей горгани, в моей душе что-то случилось. Может быть, душа в этот момент напилась пива? И она совершенно искренне, голосом качка, произнесла:

— Я лично и моя подруга поддерживаем президента. Разве мы когда-нибудь при власти, которую нам снова навязывают, пили датское пиво? Вот то-то, — произнес лжекачок по-юношески назидательно: бытие; оно, батенька корреспондент, определяет сознание.

А корреспондент уже описывает следующего персонажа и подходит к нему. Мусорщица настроена весьма агрессивно. Она тоже целиком и полностью за президента. Флаг, который она несет, — это символ неволи людей, которые дали себя запутать. Она против коммунистов. Скрипучим голосом помойного сверчка она изрекает:

— Надо заставить коммунистов выблюнуть то, что они сожрали...

Глава вторая

Я не требую аплодисментов. И хотя нет смысла пропагандировать свой излишний pragmatism, который стал знамением времени, знаю, я человек в высшей степени средний, — аплодисменты не для меня. Пусть ими тешат себя деятели так называемой культуры и политики, я же довольствуюсь гонораром. Все что угодно можно было говорить о том, с применением каких (дозволенных, недозволенных — нужное подчеркнуть) приемов он был организован, но с точки зрения, как любили выражаться большевики-ленинцы в 20-е и 30-е годы, текущего момента, репортаж был хороши. И значит, пожалуйте бриться, не забудьте при редакторской разметке гонорара: за качество! За опасность! За риск репутаций! По крайней мере, спустившись вниз со своей опасной точки и торопясь к своему следующему занятию (об этом чуть позже), я нос к носу столкнулся с всесущим Стасиком, бригадиром радиопрограмм. Он распустил все свои морщины и поднял кверху руки с растопыренной пятерней, дескать, «на пять»?

— А еще один отрезочек в эфире не возьмешь? Часика через два. Может быть, уже будут трупы Руцкого, Хасбулатова и Бабурина. Это интересно, и этим можно себя обессмертить.

Мысленно я приподнял несуществующую кепочку — дескать, наше вам с кисточкой.

— Спасибо, Стасик. Я ведь люблю не бессмертие, а денежки. — И тут же сунул ему в руки кассету. Скачи!

Какое дьявольское время и какая дьявольская профессия! Боишься упустить одну работу, которая надоела, и другую, которая противна, и делаешь третью, к которой не лежит сердце. Но ведь все держится на легчайших личных связях, на ниточках, которые тончайши, а оборвешь — связать снова немыслимо трудно. Поэтому тебя постоянно и востребуют: пока ты безотказен, пока выполняешь работу, не вызывая лишних усилий у заказавшего. А пару раз «окажешься занятым», «не сможешь сделать», признаешься, что «эта работа не по вкусу» — ох, он еще и гордый! Эта нищета еще на что-то претендует! Вот и окажешься без ангажемента. Надо все время работать и все время тусоваться! А главное, все в срок, все сразу начисто, все наверняка. Плохих материа-

лов и клиентов для интервью нет — есть плохие и неумелые журналисты. Если взялся за тему — кровь из носа, а все должно быть именно таким, каким представлял себе заказчик. И если он хочет, чтобы танк стрелял, а народ ликовал, то танк будет стрелять, а народ рукоплескать, выкрикивать приветственные лозунги. В этом смысле покойный и ныне практически забытый дедушка Ленин почти прав: свободного журналиста и, кажется, даже писателя, не существует! Мы, краивое семя журналистики, не только глаза, уши, но и масштаб эпохи. Именно мы, а не такие же вечно и неумело лгущие официальные источники, утверждаем, сколько десятков тысяч человек собралось на Манежной площади, и каждый тянет, как ему выгодно, и именно как мы вякнем, скажем, втемяшим в сознание народа — так оно и будет, а ученый, исследователь и мелкий статистик могут писать и говорить все, что они сочтут необходимым — эта братия услышана народом не будет. Мы современные маги и авгуры общественной жизни, совести и, если есть такая, и нравственности.

Расставшись со Стасиком («Если сможешь, приходи часикам к семи. К этому времени все закончится, начнут выводить или, как говорится, амба. Работа найдется для всех, общественное мнение нужно будет успокаивать»), итак, простившись со Стасиком, я тут же, на Садовом, возле метро, отыскал живой телефон-автомат и тут же позвонил Стелле. Откуда у русских баб из провинции такие заковыристые имена?

Я не могу себе представить, чтобы у кого-нибудь случались лучшие отношения с женой. Она для меня союзница, товарищ, зона безопасности, любовница, мать моего ребенка, советчица, профессиональному вкусу которой я вполне доверяю, зеркало, в которое я постоянно смотрюсь. Знает ли она о всех моих тайнах? Я, собственно, их никогда не скрывал, потому что не считаю их и тайнами и (пусть и так!) пороками, — некоторые отвлечения жизни, у большинства людей хранящиеся неразвитыми в душах, в эмбриональном состоянии. Жизнь заставила меня их в себе развить. Стелле все это никогда не мешало, потому что она знала, что я весь ее, с потрохами. Мужчина вообще, по сравнению с женщиной, — существо слабое. И все-таки у каждой женщины, несмотря на силу ее духа, есть свой недостаток. Недостаток Стеллы связан с любовью — а может быть, это моя иллюзия — ко мне. И почему любовь должна принимать лишь какие-то экстатические формы, почему она не может выражаться в стремлении быть рядом, чувствовать постоянную и неукоснительную связь. В этом отношении, будто героиня лемовского «Соляриса», Стелла не может находиться долго вдали от меня. Когда я слишком надолго «отпываю», в сознании моей жены что-то происходит, и она начинает нервничать, причем чем длиннее и продолжительнее эти промежутки, тем выше — вплоть до признаков истерии — уровень отчаяния. Именно поэтому у нас с нею договоренность: каждые два часа я выхожу на связь. Так подлодка в точно назначенное время выходит на связь с центральной базой.

Еще до того, как в трубке раздался густой, как рыночная сметана, голос Стеллы, в тот крошечный промежуток, когда телефонная трубка уже слетела с контактов, но еще не занята голосом абонента, словно дополнительный шум, ворвался в нее тонкий, как паутинка, и жалкий, как у козленочка, плач, вернее,

тонкое постанывание Саши. Это понятно — квартира крошечная, все рядом, все вместе и все сейчас существует у нас ради этой маленькой нежнейшей жизни. Значит, у него опять что-нибудь болит! Ужасна и трагична и жизнь, и судьба этих новорожденных, до года, птах. Как огонек свечи — даже и не дуешь, а только пройдешь небрежно мимо — и нет его, загас от ветра, поднятого движением. До годика, как известно, все у младенцев в организме так крупко и незавершенно... Недоразвит кишечник, желудок, ниточка пищевода, еще только начинают формироваться другие внутренние органы, наверное, все болит, если ребенок не спит — состояние защиты организма, — то он скорее кряхтит и постанывает, нежели смеется.

Голосок у Саши тоненький и жалобный. Уже первый его звукочек влетел, и сразу же закровоточило сердце. Скорее даже какая-то раскаленная сапожная игла достигла сердца и принялась жечь. Или это сравнимо с мгновенным ударом электричества, когда случайно пальцем попадешь в розетку.

Естественно, Стелла сразу же, еще не слыша моего голоса, первой окликает меня:

— Это ты, Николай? — слышится в трубке ее сметанный голос. Здесь тоже каждый раз возникает тема для рассуждений. Я, конечно, понимаю, что Стелла приблизительно, через равные промежутки, ждет моего звонка и «вычисляет» его. Но она ни разу еще не ошиблась, не назвала меня другим именем, и вроде бы никого из наших знакомых в аналогичных случаях — моим. Она точно, снайперски, попадает с чужими именами по телефону, будто бы перед нею загорается экран с лицом этого звонящего. Возможно, я женат на ведьме и ведунье, но кого сегодня это волнует?

Я откликаюсь:

- Это я, привет.
- За кого ты сегодня говорил? Но самое главное — ты жив и невредим.
- Все о'кей. Вещаю за «своих».

Стелла, конечно, немножко подтрунивает надо мной, потому что я рассказывал ей, как несколько дней назад оказался в самом Белом доме и встретил нашего приятеля, с которым мы со Стеллой учились в одной группе. Этот приятель был крутым «нашим», но тем не менее мы с ним поговорили, и он даже предложил мне: «Сделай для нашей радиостанции интервью «С другого берега». Я сказал ему: «Зачем с другого? Я сделаю с «нашего». Давай через час встретимся на этом же месте, и я тебе принесу плёнку». Очень хорошо, мы не платим наличными, но если победят «наши», это тебе зачтется. Я подумал, а почему бы не иметь маленького «зачетчика». Так, конечно, на всякий случай. Пускай воюют, главное примкнуть к стану победителей. Дело вообще-то действительно нехитрое. Яшел в туалет, на разные голоса наговорил несколько сюжетов «с техническим персоналом и охраной» на мотив «Наше дело правое, и мы будем стоять до конца», и через час передал кассету. Олрайт, вуаля. Не забудьте про герояев пера и эфира, если победят «наши»!

И тут же я спрашиваю:

- Как Саша, как Санек?

— Кряхтит, пускает пузыри, немножко кашляет. Все, по Споку, в норме. Но только кажется — у него красное горлышко.

Я сразу начинаю злиться:

— Ты врач? Ты сама, что ли, смотрела? Врача надо вызывать.

Позже, наверное, я расскажу, как нам дался наш первенец, наш ребенок. А что, собственно, остается в этой жизни твердым и неизменяемым, кроме наших детей? Какие еще есть ориентиры? На что ставить? На будущее? На родину? Вон она, родина, толчется, как у пивной, возле Белого дома... А потом вообще последнее время пишут, что и России никакой нет, и славяне пришлое племя, князья — пришли шведы, а на Калке вроде воевали не русские племена, а степняки-кипчаки. Так что и Сашок у меня вроде кипчаченок.

— Я смотрела ему в горлышко, конечно, сама, и я действительно не врач, — у Стеллы не нервы, а канаты, хоть бы раз в жизни дрогнул ее голос, хоть бы раз сорвалась, гавкнула на меня. Может быть, это у нее действительно от ведьмы? — Но горлышком он дергает. Я сама разберусь, не волнуйся, это мое женское дело. — И без перехода: — Только что я слышала твой репортаж.

— Уже передали? — Я удивился, не смог выдержать марку. Каждый раз я поражаюсь, когда происходит это электронное чудо. По существу-то я ведь очень и очень средний человек, я бы даже сказал, что ниже среднего уровня. Как мне кажется, люди моей профессии — тоже, в основном, сермяги, никто особым умом и душевными качествами не блещет, в основном, что за душой — узнаем по долгому службе и немыслимой бойкости. И вот я думаю — как бывают поражены все эти телевизионные и радиозвезды, когда появляются на экране или звучат по радио. Появляются и учат весь народ, как говорили раньше, — вносят идеологию. Я лично всегда бываю в восторге от своей немыслимой ловкости. — Ты меня узнала? Я ведь для этой передачи придумал себе новый псевдоним. Вадим Халавар. Или они (я имел в виду радиное начальство, которое из-за труслисти всегда окружает себя сообщниками) запузырили мою фамилию?

— Да нет, что же, я не знаю, как ты бабыми голосами говоришь? Особенно не гордись, репертуар у тебя не очень велик, иногда повторяешься.

Это, конечно, надо принять к сведению и следить за своими речевыми штампами, никаких поворотов, тренировать и выращивать коллекцию голосовых типажей.

Дальше состоялся обычный, рутинный разговор, о том, что надо посмотреть, как себя будет чувствовать сын и попозже вызвать к Сашку врача, о том, чтобы я берег себя и не пренебрегал правилами личной безопасности (я понимал, что Стелла имела в виду, и похлопал себя по карману, там лежала хрустящая лента с презервативами). Конечно, на Западе все порно уже давно в назидание зрителям снимают с этими предметами личной безопасности, но у нас это пока не прививается, нашей богатой сермягой подавай натюрель, чтобы все скрипело, лопалось и брызгало), о том, чтобы, по возможности, раньше возвращался и чаще звонил. В общем, верная, хозяйственная жена и муж добытчик. Под конец разговора я сказал, блодя свои профессиональные интересы:

— Запиши на видак все, что связано со штурмом Белого дома. Смотришь, через пару месяцев этому не будет цены.

— Уже пишу. Я одновременно кипячу белье и пишу все подряд.

— Умница. Пока.

Эпизод с моим узнаванием по голосу меня расстроил. Узнала Стелла, правда, у нее музыкальный слух и в детстве, в ее глубокой провинции, она училась играть на фортепиано, но ведь могут узнать и другие — и, в первую очередь, — мать. Но здесь, впрочем, причины скорее идеологические, она, как и все пожилые люди, опрокинута в прошлое, в энтузиазм, прошлые средства распределения, скорее в возможность, нежели в реальность. Она часто мне приговаривает: советская власть разрушила социальную предопределенность людей. Крестьянин мог стать профессором. При другом строе ты так и мог остаться крестьянином, как и твой дед. А я ей отвечаю: «А Ломоносов?» На это она каждый раз говорит одно и то же: «Ты получил высшее образование, имея средние способности, но совершенно неизвестно, смогут ли твои дети получить его, не имея больших денег». Завуч на пенсии. Учила.

Но все это тоже полбеды. Мать, даже такая суровая большевичка, как моя, простит. Меня больше тревожит моя другая деятельность. Как бы здесь оставаться инкогнито. А дорогу к ней, в принципе, открыла мне демократия: что не запрещено, то разрешено. Свобода предпринимательства и свобода деятельности. Я свободный человек, и моя душа, способности, голос, тело принадлежат мне и только мне.

У меня-то все-таки есть ощущение, что отец погиб во время прошлого путча не только из-за своих убеждений, взглядов, своих воспринятых на военной службе пристрастий, но и в какой-то мере из-за меня. Невинную газетку с моим портретиком на первой странице я нашел в его бумагах. Портретик был хороший: я сидел без штанов, в офицерской фуражке, надвинутой на чуб, и чистил пистолет «Макаров». Художественный, на полполосы, подарок одинокой вуаэрке. Отбирая снимки для печати, мы специально дали такой, когда тень от фуражки почти закрывала глаза, был неопределенен поворот головы, а внимание фокусировалось на предметах не постоянного обихода. Вряд ли покойный папа, со своей глубокой инвалидностью, ходил по вокзалу (единственное место, где в нашем маленьком городе могла продаваться эта газетка «Эротическая Правда»). Значит, ему кто-то любезно прислал или принес по дружбе, чтобы порадовать успехами сына. Ах, уж эта моральная помощь и взаимовыручка коммунистов! Вот оно, спартанское полу военное воспитание: сын на каникулы из своего университета приезжает к папочке на заставу, на границу, чтобы отдохнуть и набраться сил, и уже на следующий день папочка ставит сына в строй: зарядка, марш-бросок, конный патруль. Народа не хватает, журналист должен получать навыки и новые впечатления. А ведь просто в приближенных к боевым условиям крепчало студенческое тело, приобретая товарный для фотообъектива вид, и появились знания, как чистить пистолет. И все-таки, тогда, когда начинали собственное, такое необычное дело, приходилось рисковать больше, и в тот раз с фотографией, когда один за другим летели варианты первой полосы, оставался последний, обусловленный договором с типографией день, пришлось как добровольцу, самому лезть под объектив фотоаппарата.

Но кто же убогому и обиженному Богом человеку подбросил эту фотку?

Я догадался об истинных причинах его смерти, только когда приехал на похороны домой. Когда я

звонил, он ведь даже не мог наорать на меня по телефону. Я набирал сначала «8», потом код нашего южного, на берегу Азовского моря, города, и если дома не было матери, то отец поднимал трубку на длинный междугородный звонок: междугородкой старики могли пожаловать только родные дети. В трубке раздавался какой-то скрежет — это значит папа. Только мать что-то понимала из этих слабых шелестов, вылетающих из его развороченной и, собственно, вырезанной гортани. Какое счастье, что матери от родителей достался этот крошечный частный домик на окраине Таганрога. Сначала бабушка и дедушка. Потом одна бабушка. Я знал этот домик и садик с единственным деревом диких абрикосов, жердей, и грядками с помидорами и перцем с детства. Как во время университета, на границу с границы, в детстве, с Камчатки, из Калининграда, а потом из Хорога на Памире, на лето меня каждый год привозили или присыпали сюда: купаться и есть фрукты. Кругой спуск к морю, к осклизлым набережным, тяжелое утреннее марево, в руке полиэтиленовый пакет с какой-нибудь летней, до обеда, закуской, и густое, как суп, от цветущих водорослей, море.

Последние годы отец к морю уже не спускался. Ему, видимо, было стыдно или, по крайней мере, неловко марлевой занавесочки на шее, через которую он дышал. Неловко невозможности ответить на вопрос, задать самому. Взрослый, еще не старый мужчина, еще недавно полковник, от зычного гыка которого лошади в погранотряде садились на задние ноги и ни черта не боявшиеся старшины прыскали по разным углам, превратившийся в немощную в человеческом обиходе куклу. Он не был по характеру Мересьевым. Может быть, и Маресьев, когда ему уже исполнилось пятьдесят, Мересьевым бы и не стал. Даже поругаться с друзьями, которые перестали собираться у него, не мог. Целыми днями смотрел телевизор, читал «Огонек» и все газеты — тогда еще было время, когда подписывались почти на все, скопом.

Я набирал «8» — в трубке слышалось густое прерывистое шипение, значит, трубку поднял отец, подносил ее к горлу, где у него за марлевой занавеской находилась щель, через которую он дышал и через которую доносились легкие колебания воздуха — отец пытался что-то сказать. Понимала его только мать, но я думаю, только потому, что понимала его всю жизнь: может быть, она, как мы все, не слышала этих колебаний, а каким-то телепатическим образом «считывала» всю информацию непосредственно из его сознания. Мне неловко выговаривать такое о своей матери, но, может быть, все женщины ведьмы?

Я набирал «8», трубку снимал отец, и я начинал врать ему, как хорошо живу, как много работаю, как печатаюсь в разнообразных изданиях, но в основном, потому что еще пока мое имя не утвердились, под псевдонимами, стараюсь, конечно, в патриотических изданиях.

Надо сказать прямо, что перестройка, объявленная Горбачевым, в первую очередь, конечно, развязала руки журналистам. Что ни говори, но ведь писали раньше из-под топора, все время колдовали и только и говорили: подслушиваются наши личные телефоны или нет? Я думаю, что и теперь, как и раньше, подслушиваются, но только об этом мы не

говорим. Сейчас все столько разного наговорили, что сажать надо, пожалуй, всех, а здесь много своих. Оборотничество становится нормой жизни. Стоит лишь перелистать газеты и при взгляде на телевизионный экран, на кого-нибудь из правительственные деятелей первого ряда вспомнить, что он там раньше говорил. И далеко особенно не следует заглядывать: не во времена генсеков Брежнева, Черненко или Андропова, а ближе, два-четыре года назад, а если год, то надо смотреть, что он говорил и говорит сейчас о своих соратниках. А если телефон и слушают, то, значит, умные люди, которые не столько говорили, сколько молчали, которые знают, что все вернется не к тому порядку, а к твердому порядку, эти люди на всякий случай все запоминают и заносят данные в компьютеры.

Словом, то явление, которое называлось перестройкой, — что конкретно перестраивали, где вообще какое-то строительство, где план и последовательность? — оно конкретно дало что-то лишь трем категориям людей: евреям уехать в Израиль и получить там второе гражданство; журналистам — писать и пробовать писать сплетни, слухи и подрабатывать на разного обраza, асы, конечно, еще начали решать уравнения с заранее известными ответами для зарубежных радиостанций, газет и журналов, за это очень и очень неплохо платили, а младшим научным сотрудникам — разрешили торговать, многие научились, многие нет. Это со стороны кажется, что каждый может быть бизнесменом. Здесь тоже нужны талант и вдохновение.

Если честно, — я не смог себя продать в большой политической журналистике. Здесь все очень и очень непросто, и дело даже не в том, что надо иметь мастерство, знание, особое хлесткое чувство слова. Надо иметь некий настрой души, позволяющий легко, безболезненно и органически менять собственные убеждения. Безо всяких угрызений совести, весело, я бы даже сказал, — радостно. Здесь необходим некий душевный энтузиазм, позволяющий, как в детском диапроекторе, одним кончиком пальца менять картинку на экране; здесь же надо менять точку зрения, убеждения и собственные политические влюблённости при первом дыхании конъюнктуры. Прыгать из одного конгломерата идей, принципов, нравственных установок и даже религиозных пристрастий в другой, весело и непринужденно — ибо рефлексия у журналиста заудит стиль, потушит блеск и энергию слова, первозданную, как у ребенка — это в идеале! — убежденность, — прыгать, как Иванушка, наученный своим Коньком-горбунком, сигая из котла с водой вареной в котел с водой студеной и становиться все краше, краше и умнее. К такому эквилибуру способны, увы, не все, и я, в частности. Мне не дано это милое и немедленное, как в аттракционах Кло, превращение своего духовного «я» в пространстве. Я бы не сказал, что не мечтал обладать такими духовными качествами, за которыми следует в журналистике обычно и «конфетка», порою выплачиваемая в конвертируемой валюте; я бы мечтал уметь поступать, как некоторые наши асы пери — легко, словно акробаты под куполом цирка, перелетающие с одной трапеции на другую, так перелетать из одного лагеря в другой, подслуживаться то к вчерашним противникам, то к позавчерашним сторонникам, — но я медлителен, во мне нет блеска большого, роскошного предательства, нет импульса коновода, готового пер-

вым увести свою ватагу на более сочную лужайку. Я вечно в шеренге уже устремившихся за лидером, я седьмое действующее лицо в табели о рангах журналистики.

Здесь скажем еще прямее: при первом размежевании когда-то единых журналистских сил, в начале перестройки, мне, бедному дурачку, только недавно закончившему университетский курс, просто не к кому было примкнуть. Гранды заняты собой, друзей-москвичей пасут родители и знакомые, а что может позволить себе середняк-профессионал, кроме воли к жизни и некоего честолюбия, которое, правда, под влиянием новых экономических знаний и теорий, быстро превратилось в мздолюбие.

После окончания курса бедной синичке надо было, похлопывая крыльышками, упархивать в глухую и черную, как негритянское седалище, провинцию либо начинать по соломинке, по веточке вить жилое гнездышко. У бедного провинциала две возможности: посидеть возле благодающего очага столицы или лизать всем подряд грязные и вонючие задницы, пробиваясь через аспирантуру, центральную газету, центральное телевидение, устраиваться, если, конечно, повезет, помощником по прессе, писателем-негром и сочинителем статей, речей, спичек на банкетах, список в правительство и другой высококвалифицированной, на финской веленевой бумаге мурье — или выбивать прописку — прописка, как сюжетообразующее начало, не изобретение соцреализма, достаточно вспомнить «Вид с моста» Артура Миллера, там, правда, речь шла, если мне не изменяет память и мигом проскочившая курсовая образованность, речь шла о виде на жительство; была там, правда, еще темка, несколько актуализировавшая мои собственные метания, но об этом позже — итак, выбивать прописку можно было еще и силой провинциально крепких чресел. Но тут все сложно: лучше бы со столичной пропиской и любовью, и какое-то понимание, лучше бы еще к бледному анемичному существу и мощных, обеспеченных, со связями, родителей, а то какой смысл получить вид на дыхание, жительство, культурное обслуживание и квартиру в центре и продолжать кусочничать, хватать приработки и губить свой талант на мелочи. Но была еще одна крошка-щель: лимит, это уже изобретение советского времени — низкооплачиваемая работа, за которую ни за какие деньги не взымется обычный белый человек, работа где-нибудь на конвейере, на железнодорожных путях, где-нибудь в говне, на прокладке подземных тоннелей и очистке канализации. Здесь доплачивали правом на будущее: через пять или шесть лет комнатушка где-нибудь в пригороде, главное — постоянная прописка. Как будто есть что-либо более временное, чем постоянное. Вон советская власть казалась незыблемой, а вся рассыпалась от дыхания дюжины щелкоперов.

Лимит — это находка для армян и азербайджанцев, так любивших в то время столицу за ее менее строгий сексуальный нрав, чем на исторической родине, для вологодских крепышей, во что бы то ни стало желающих связать себя узами добросовестной выслуги с московской ментовкой, для каких-нибудь глубинных марийцев или мордвы, смертельно полюбивших встречать солнце на строительстве жилых объектов города и столицы мирового пролетариата. Лимиту требовались люди ходовых, незамысловатых профессий. Впрочем, в узких вратах лимита, вер-

нее, как бы рядом с ними, находилась некая щель, крысиный лаз, которым при счастливом совпадении свечения звезд могли воспользоваться и люди более, скажем так, интеллигентных навыков, нежели имели крестьянские дети, ныне называемые на элегантный западный манер фермерскими чадами, или другие вольные сыны провинции. Скажем, где-нибудь на мрачно-бетонных московских окраинах хронически не хватало преподавателей в школе или трех дюжин дантристов в поликлиниках. Или нет никакой возможности набрать воспитательниц в детские садики. Ситуация такая, как и положено в плановом государстве, сначала складывается, а потом существует и существует долго и нудно, как зубная боль, не к ночи будь она помянута. Уже идут письма в газеты, руководящие инстанции, как было принято называть, потому что действительно в то время инстанции чем-то руководили, наконец, в райкомы, горкомы и непосредственно секретарям партии. Простой народ в этих случаях не стеснялся. И тогда, после всех этих мучительных неудобств, спасительный и волшебный кранник ненадолго поворачивался. Машина и бюрократия во имя удобств поступалась принципами, крысиный лаз, давно залепленный цементом, размешанным с битыми стеклами, на короткое время распломбировался и, торопясь, расталкивая локтями друг друга, пока гильотина не упала, дырочка не захлопнулась, просачивались на жизненное пространство московских культурных удобств и карьеры несколько голодных, но вполне интеллигентных крысят.

Может быть, в качестве интеллектуального обеспечения возник этот лаз, щель в лимите, на этот раз для людей эксклюзивной, не жизнеобеспечивающей профессии. В мелких районных газетах и многотиражках Подмосковья оказался недобор резвых легконогих ребят, способных с лету срывать репортажи и вести, благоприятные для их степенства Перестройки. Пишу «их степенство», а не «их преосвещество» или «их преосвященство», потому что нынче, слава Богу, выяснилось — кому нужны были эти руины прежней жизни и чьи хоромы и лабазы будут на них выстроены. Класс имущих и желающих иметь оказался живуч, как туберкулезные палочки или какая-нибудь холера или дифтерит, об окончательном уничтожении которых мы весело и деловито прогубили еще тридцать лет назад. Оказалось, что и жилка собственника и стихийного капиталиста хранилась в народе все семьдесят лет. И во мне она есть. В конце концов, именно этот новый, похожий на кучу гниущего картофеля строй дает и, надеюсь, даст мне возможность реализоваться. При прошлом я мог использовать лишь первые этажи своего дарования, а теперь в ход идут и подвалы, в производство пошло то мучительное, что составляет низкий, которого стыдишься, осадок натуры.

Итак, жирные и хитрые тетки, аккуратно, вместе с так называемыми общественными штопавшие и свои квартирные, машинные, садовые, дачные и другие дела, — а именно этот основной контингент и возглавляет такие влиятельные, а главное, проникающие во все щели многотиражки — они потребовали себе юрких и веселых помощников. Но талантливая молодежь уже отхлынула в более прибыльные сферы жизни — металлических палаток, лотков с импортными сигаретами и колготками еще не было, но их хлебный и высококормливый дух уже витал в воздухе.

Надо прямо признать, что вся так называемая советская цивилизация исчезла, ну, если не исчезла, то исчезает, быстро погружается на дно, как когда-то Атлантида. Но крушение цивилизации — так нас учили в университете — это еще и крушение и исчезновение ее надстроек и ее быта. Сколько исчезло и еще исчезнет вещей, связанных с понятием «советский образ жизни». Матушка, которая вечно под красным флагом, которая вечная комсомолка-осовиахимовка, утверждает, что вместе с этим образом жизни и этой идеологией, которая всему живому — это уже утверждаю я — набила оскомину, погружается на дно — это снова матушка — право на образование, бесплатное медицинское обслуживание, уверенность в завтрашнем дне, в своей старости и, как она говорит, уверенность в том, что когда ты умрешь, тебя похоронят в деревянном гробу, а не в полиэтиленовом пакете и дадут место на кладбище. Мне лично рано еще об этом думать, а если у меня заболит зуб, я пойду не к районным коновалам, а к частному врачу. Но ведь вместе с этой цивилизацией, вместе с ее отчасти только декларированным правом на жизнь, на дно смердящего болота времени опустится и такой монстр, как «прописка».

Когда-нибудь, если только одуревшие соратники моей мамы с красными флагами и незабываемыми воспоминаниями своей юности не будут мутить жизнь, заставляя нормальные демократические силы выкуривать их из подвалов парламентов и штурмовать их старческие ряды при помощи бронетехники, когда-нибудь исследователи феномена советской цивилизации, этой плесени на теле мирового сообщества, создадут словарь, как создают атласы исчезнувших птиц и растений. Смогут ли эти исследователи объяснить, что означает, скажем, слово «коммунист»? В моем представлении сегодня это геройский лепет о молодогвардейцах, отдавших самое дорогое, что есть у человека, за такую химеру, как Родина. В этом отношении надо брать пример с представителей древних наций, у которых, скажем, по две родины. Одна — место рождения, учебный класс языка и место, где получаешь метрику о рождении. Вторая — историческая: корни, предки, легенды, пустыни, перины и прочий шурум-бурум. Так сказать, запасная возможность для жизненной и коммерческой альтернативы. Или какой-нибудь придурачный — я мысленно продолжаю исследовать первый круг ассоциаций, связанных с главным слоем цивилизации — да-да, именно придурачный Павка Корчагин, отморозивший себе детородные органы и все здоровье на коллективном воскреснике или строительстве узкоколейки. Героическое начало. А теперь давайте завернем к этому «коммунисту» с другой стороны. Кто как не он, бывший секретарь ЦК, обкома, райкома, кто как не он, коммунист-директор, изовравшийся в своих обещаниях, раздвоившийся, растроившийся, а то и расчетверившийся в своих прежних партийных, деловых, застольных, семейных разговорах, привыкший произносить написанные иными руками речи, на собственных днях рождения провозглашающий тосты за партию, которая все ему дала и которой, если потребуется, он готов отдать жизнь, и которую он при первой возможности выгодно и с чувством, как хохол сало на рынке, продал — кто как не он, призывающий к личной скромности и бескорыстию, тихо, незаметно, по закону приобрел себе к началу упоительного ба-

лета перестройки квартиру-машину-дачу, пристроил детей на работу за границей, а также пристроил на руководящую работу брата, его жену, брата жены, свояка, свояченицу и всю свою родню, а потом, перевернувшись в демократа, либерала, консерватора, лжепатриота, вдруг оказался на верхах правительственної пирамиды как образец государственной мудрости и нравственности, на высотах руководства промышленностью, губернатором, депутатом, мафиози, президентом совместного предприятия и — высшая степень посвящения — банкиром. О, канатоходец, маг и фокусник!

И это ведь одно слово и видение его ослабленным зренiem робкого обывателя. И есть ведь еще и другие, не менее заковыристые, слова.

Итак, возвращаюсь к идеи советского лексикона. Дело даже не в том, чтобы назвать роковые слова и определить их смысл. Это задача первой степени трудности. Но каково выявить объем этого смысла во всех его таких понятых для современников размерах? Кто уже через двадцать или тридцать лет, когда уйдет социалистическая гвардия, сможет понять всевластие, заключенное в кабалистическом слове «партиком», реальную расстановку сил всевластных членов и мистических участников «треугольника», единство безапелляционной воли, заложенной в этом слове, попахивающем геометрией. А ведь есть еще «ударник», «лишенец», формула «58-10», лучше любых томов, как масонский знак посвященному, рассказывающая современному — столько же, сколько врачу-гематологу может рассказать самый полный клинический анализ крови, часто состоящий из многих десятков тестов. Эта формула универсально отвечает на вопросы: когда? за что? на сколько? чем, в основном, дело кончилось? где происходило? как судили? кто свидетельствовал? Как правило, она умалчивает только — где похоронили. Субъект совмещается со словом-императивом, и все ответы, как в бухгалтерии, уже готовы. И наконец, королева самых неясных понятий — «прописка». Не выписка из книги, не прописка портрета или пейзажа, а та, с большой буквы «Прописка», как магический акт, как охранная грамота жизни и деятельности, как некое, на манер дворянства, социальное преимущество и свидетельство приближенности, пусть и мнимой, к власти и центру.

И все же, мне кажется, — как ни плодотворна идея относительно лексикона ушедших значений — лишь провинциал, имеющий стратегию в достижении своей цели, поставивший перед собой эту цель, а из всех провинциалов, получивших прописку в Москве или ближнем (по аналогии с самой распространенной аббревиатурой сегодняшнего дня — СНГ) Подмосковье (как зарубежье) — могут оценить красоту, элегантность, значение и сверхъестественный характер штампа прописки. В моем, невероятно счастливом случае, штамп еще подразумевал и реальное место в общежитии. Толстая тетка, которой нужен был ретивый помощник, расстаралась на все проценты.

Толстую тетку звали Агнесса Георгиевна, и тип этот — интеллектуалки по образованию и журналистки по сиюминутной выгоде, хорошо описан и зафиксирован нашей, вечно колеблющейся от духовности к сатире литературой и колеблющейся к имитации литературы фельетонной журналистикой. Кстати, недаром именно в силу своей и самими ощущаемой недостаточности фельетонисты вечно рвались во



всякие официальные союзы писателей. Для того, чтобы быть писателями, им вечно не хватало духовной легитимности, и они пытались получить ее через внешнее. Для этого также подходит Пен-клуб или самиздат, и участие в передачах Зарубежного радио, которое охотно и с готовностью, дабы придать весу и своему вещанию, и своим вещателям из России, раздавало еще что-то значащий у нас в отечестве титул писателя. По собственному радиальному опыту знаю. В общем, — заканчивая это отвлечение, — недостаток царских кровей вечно пытаются поправить скороспелым миропомазанием. Итак, Агнесса Георгиевна, мать родная, и я благодаря случайный совет обзвонить областные многоэтажки и отпускаю ей вечные заботы матери-одиночки о беспутной дочери, съедавшие у нее почти все рабочее время. «Николай, посидите в лавке, пока я съезжу по делам. Если кто будет спрашивать — я в райкоме, собесе, в Обществе ветеранов войны — сообразите сами». Опускаю первые практические уроки «взвешенной социалистической журналистики» — писать, когда кому-то, в чьей команде ты играешь, это надо, и не писать, замолчать материал, отписаться, сделать незаметную на полосе фитильку, все поставить с ног на голову, ловко перевернуть и переделать — и все с энтузиазмом и легким дыханием, когда подобное журналистское открытие, подобный перл словесности повредит твоей партии. Но я и благодарен районной журналистике за опыт: писать стилистически плоскую сермягу в рамках принятых в районной прессе штампов — в сторону ни-ни, — уметь не произнести ни одного живого слова, умудриться де-

сять минут поговорить по телефону, а потом из готовых и привычных блоков соорудить целую газетную полосу, научиться вдобавок ко всему — потому что в районке — ты один за всех — верстать, фотографировать, редактировать, фантазировать, отшивать посетителей, быть льстивым, негром, предприимчивым, осмотрительным, по каждой мелочи обращаться к начальству и решать самому, писать за доярок, шоферов, секретарей райкома, инструк-

торов, учащихся, учителей, рабочих, депутатов, продавцов, последнее время за священников, врачей, проституток и больных СПИДом — это, согласимся, большая школа. А в общем-то, скучная, однообразная и бесперспективная, как жизнь раба в каменоломнях.

Господи, это Ты водил рукой моей, когда я, потеряв уже всякую надежду, набрал телефон Агнессы Георгиевны. Уже давно, наверное, лопнули все многоэтажки, сегодня их комнаты и офисы прибрали к рукам партийные руководители, мафиози, торговцы и высокопоставленные совслужащие, Агнесса Георгиевна давно уже занимается то ли сводничеством, то ли мелким гостиничным бизнесом, предоставляя свою большую квартиру, которую она выбила в свое время, находясь при советах на руководящей работе, приезжим с Украины «челнокам» и сезонным строителям, но благодарность к этой раскормленной, легкой в общении, доброжелательной тетке живет в моем сердце. Я даже без особого содрогания вспоминаю не наш легкий роман, а эдакое деловое сонтие, похожее на налог или взятку живой, юной и трепещущей натурой, которое произошло в самом начале моего творческого пути. Я еще был в том счастливом воз-

расте юношеской гиперсексуальности, когда мне было абсолютно все равно кого и в каком возрасте. А к этому акту примешивалось еще чувство благодарности.

Мне сделали прописку, я получил ордер на комнату в общежитии, вернулся в редакцию радостный, и тут Агнесса Георгиевна, передернув плечами, поправляя сползающие бретельки от лифчика — дело было летом, и, кажется, беспутная дочь редакторши снова отправилась, пользуясь правом школьных каникул, в длительную поездку на юг, к морю в качестве «плечевой» какого-то южанина, шофера-дальнобойщика, — тут Агнесса Георгиевна, хозяйка свободной квартиры, и сказала:

— Это дело мы сегодня отметим. Квас у меня в холодильнике есть, беги, Коля, за водкой и шампанским.

Описывать этой сцены не буду. Это было честное партнерство, шефская помощь сначала старших младшему, а потом молодое поколение платило долги своим старшим товарищам. Я не пишу подробно об этом эпизоде еще и потому, что в любимой нынешним народом и продающейся почти на каждом вокзале в нашей стране и странах ближнего зарубежья газете «Эротическая Правда» в статье под заголовком «Подарок одинокой вуаэрке» я довольно подробно описал весь этот эпизод игры в «дочки-матери», когда этой «дочкой» был я сам. По своему характеру я не люблю второй раз использовать один и тот же материал. То, что входит в мои статьи, которые я про себя называю сексуально-эротическими фантазиями на русскую тему (в этом смысле для меня бессмертным учителем является Виктор Ерофеев, которому низко кланяются все порнографы и профессионалы, пишущие на темы сексуальной патологии и эротики), мне незачем описывать в своих интимных записках. Вкратце я скажу так: было все — и купание мальчика в ванне, и купание мальчика и мамы в ванне вместе — у соседей внизу, видимо, не потекло. Выпito оказалось достаточно много под хорошие салаты, жареное мясо, а также ручной работы квас; основное действие, естественно, происходило, когда разошлись трое остальных сотрудников, включая пятидесятилетнюю бухгалтершу, а «мальчик» не пошел в общежитие, остался помочь мыть посуду, — в этот вечер состоялись также и другие многочисленные эротические забавы — пошли, Боже, Агнессе Георгиевне еще одного молодого не-посредственного подчиненного на жизненном пути, мне было бы так грустно думать, что в связи с изменением политической ситуации изменились влияние и авторитет партийной прессы и ее доблестных руководительниц, — итак, были и другие сентиментально-лирические игры, и произносились многие слова про «гнездышко», про «птенчика», про «невутомимый карандашник». Все было. Я не смог бы описать эту сцену так выразительно, скоро и внутренне эротично, как это сделал великий Томас Манн в «Круле», изобразив стареющую жену фабриканта унитазов мадам Гупфле с ее знаменитым высказыванием «ой-ля-ля» и юного авантюриста. Талант! Я просто еще только подающий надежду преуспеть и схватить от жизни все, как мои старшие товарищи-журналисты, — но этот эпизод из моей жизни на страницах «Эротической Правды» получился выразительно. Там, конечно, пришло, спасая рено-ме прессы, перенести все в последний класс сред-

ней школы и добавить некоторый политический аспект: старшеклассник и учительница обществоведения, молодая партийка. А все остальное было близко к натуре — и снимание джинсиков и трусиков с мальчика-старшеклассника, и оторванные на нейлоновой блузке пуговицы, и растрепавшаяся прическа-хала, и неистовство мальчика, примешавшего к своему боевому молодечеству еще и ненависть к проповедуемой педагогиней большевистской доктрине. Были в этом эротическом эссе некоторые пассажи из садомазохистских видеофильмов — незаменимое пособие для эротического писателя, и я уверен и надеюсь, что мой любимый писатель Виктор Ерофеев подобными пособиями пользуется, но в принципе материал получился живой и выразительный, и я будущих исследователей эротической темы в русской литературе и журналистике отсылаю к нему. Поломайте головы, где правда, а где вымысел, господа. Но закончим с вопросом. Это моя жертвенная гекатомба сформировавшему меня прошлому.

Только три вещи, если подходить к этому капитально, составляют человеческую жизнь — любовь, работа и быт. Сон не в счет — это провал во времени; сначала, в младенчестве, постепенное вылупливание из мрака, а в конце привыкание и приспособление к смерти. Любовь — особая статья в человеческих отношениях, или определяющая все, или ничего, кроме выявленных инстинктов, не определяющая. Быт — это среда обитания, прибежище любви и оборудованное логово, откуда ты уходишь на работу. Здесь есть своя романтика запахов, беспорядка, системы поисков вещей, свои зоны деятельности, заповедные поляны — это целый космос, окружающий человека. Видимо, к нему я и совершаю переход? Или в памяти моего маловероятного читателя совсем испарился лиловый штамп с энергичными буквами «ПРОПИСАЙ»?

Общежитие, в которое меня тогда поселили и — важно! — прописали, нынче, когда лично для меня оно превратилось в историю, было некой трубой, где гуляли чудовищной силы ветры, воронкой засасывавшие в инфернальные глубины каждого и любого, кто переступал его порог.

Я долго искал образ, который отвечал бы моей тогдашней жизни и существованию в лабиринтах общежития. Образ скверно убранного ада? Мясорубка, пропускающая через себя грехи и подвиги? Но ведь в принципе я был опытным жильцом общаги, ибо за моей спиной стояло общее невинно-совместное студенческое житие.

Прожил же я в общежитии университета пять лет учения. Там тоже были подворотни жизни, свои извивы. Правда, там я боролся с собой и отдельные эпизоды списывал на свою молодость и отсутствие нравственной конструкции. Я, например, ходил в два частных дома: к одной тридцатисемилетней dame и к одному знаменитому московскому хирургу. И тот и другой дом оставляли меня совершенно равнодушным. Может быть, причина этого в моей определенной бойкой смазливости, помноженной на глубокую монашескую бедность. Родители полагали, что так же, как и они сами, я должен жить и учиться совершенно самостоятельно. Причем, они никогда не были жадными людьми. Но папа вспоминал, как он прирабатывал разгрузкой вагонов, а мама — как ходила в профессорский дом стирать белье. Причем, родители всегда покупали мне в военторге массу дорогой

и совершенно ненужной одежды. Демобилизовавшиеся солдаты-москвичи везли сыну командира с погранзаставы тюки и сумки консервов, крупу, сухое молоко, носки, белье. Денег мне почти не было нужно, но их никогда у меня не было. Я ходил в профессорский дом совсем с другими целями, нежели моя матушка. А может быть, у меня никогда не было отца и матери, не случилось любви, а знаменитый хирург, не скучаясь, тратил на меня время. Я не талантлив и должен был на курсе брать другим. Хирург — я не буду касаться его имени, потому что он сделал для меня больше чем кто бы то ни было, позвал меня, первокурсника, не к знаниям, а к свободным полетам интеллекта — он часами мог со мною говорить об итальянском театре, русском градостроительстве или — как я потом понял, это входило в мою подготовку, — о гомосексуальной теме в искусстве. Люди такой, почти античной, природы принадлежат к прошлому веку. Теперь он уже мертв и похоронен на одном из московских кладбищ. Благодарные женщины — он был акушером-гинекологом — поставили ему памятник: черная мраморная роза на белой, расколотой по диагонали мраморной плите. Скорее всего, он покончил самоубийством, когда его застукали на чем-то предосудительном. Кажется, «сдал» его ученик, которому нужна была его клиника и открытие вакансии в академии. Хирург ходил со мною на концерты или в театр, в те редкие дни, когда я к нему приезжал, меня кормили, поили, подкладывали лучший кусок, не позволяя за собой помыть даже тарелку, а утром у меня в кармане брюк неизменно оказывалась сумма, почти равная моей студенческой стипендии, — 25 рублей. И в этом со стороны не было ничего для постороннего взгляда странного: это был старый друг моего отца, с которым они вместе росли и который, когда отец был слушателем Академии, а мать рожала в военном госпитале, делал ей операцию — я, как Цезарь, рожден непосредственно из чрева.

Отношения с Актрисой — к счастью, она жива, но сменила амплуа, ушла из основных героинь, на которых строится репертуар, и стала играть роли комических старух и гранд-дам в одном из самых прославленных театров, ее лицо, пожалуй, достаточно подробно, через телевизор, известно миллионам наших соотечественников, поэтому по врожденной личной правдивости (работа не в счет, здесь театр, в который продают билеты) я не придумываю ей псевдонима, а по скромности не называю имени — итак, отношения с Актрисой были иными по заинтересованности и акцентам. Здесь инициатива всецело была в ее властных руках. По характеру она напоминала мою мать и была ее сверстницей. Это меня как-то удивительно занимало, и один раз, когда мать проездом была в Москве, я сводил ее на спектакль Актрисы, а после этого познакомил двух женщин за кулисами. Какой-то тайный садизм, видимо, руководил мною.

— Я очень рада, — низким, как виолончель, голосом сказала Актриса матери, — что приемыш (так она называла меня) познакомил меня со своей мамой.

Мама ответила:

— Очень вам призательна, что вы занимаетесь эстетическим образованием мальчика.

— Почему же, он иногда чинит мне электророзетки или мой фен.

— А Коля разве разбирается в электричестве? —

довольно едко ответила мама. Она выглядела в полтора раза старше своей ровесницы и, по-моему, судя по тому, что не задала мне никаких вопросов, все поняла.

Продолжение разговора и женская, как воздушный бой, пикировка не заслуживают описания.

Актриса иногда появлялась у нас в театральной университетской студии. В первые дни по приезде в столицу я оказался очень неприкаянным, а самое главное — почувствовал какую-то ущербность на курсе. Честно говоря, хотя я искал у сверстников признания, мечтал быть лидером, человеком, который когда говорит, то все прымолкают, — такие ребята на курсе были, но сами по себе они меня совершенно не привлекали. Может быть, я по натуре геронтопил? Вот от этой неприкаянности я и записался в театральную студию. Во-первых, журналист, особенно телевизионный и радио, всегда немножечко актер, и этому не мешает подучиться (эта школа для меня не прошла напрасно), а во-вторых, в студию принимали по конкурсу, я попал случайно, потому что во время показа я не читал, я вспоминал с какими-то занятиями басню Сергея Михалкова, и это показалось смешным и занятным, а вот студийцы-то как раз на факультетах имели какой-то дополнительный вес и движение. Актриса приходила к руководителю студии Михаилу Сергеевичу, с которым она вместе училась, вроде бы не помогала ему, а вроде бы советовала. И вот тут она увидела меня. О своей, несколько специфической, ласково-деревенской внешности я уже писал. Дама послушала меня и сказала, что надо бороться с моим провинциальным выговором, добиваясь классического московского аканья, без которого артист не артист, а журналист — не профессионал. Первый урок, на манер профессора Хигинса, она дала мне в театре: по контрамарке я видел шекспировскую комедию, где Актриса играла совсем юную девушку. Конечно, были и «Бык-тупогуб, тупогубенький бычок; у быка бела губа была тупа», и «от топота копыт — пыль по полю летит» и другие милые скороговорки из фундамента актерской техники речи — Актриса была последовательна и совмещала в себе многое свойства, в том числе и свойство идеальной учительницы.

Я ей никогда не звонил и не приходил в ее трехкомнатное гнездышко в гости без спросу. Она находила, если хотела видеть меня, всякими мыслыми путями сама, вплоть до телефонного звонка декану, и самое любопытное, все охотно выполняли ее куртуазные поручения. В одном смысле они с Хирургом, как беззастенчивые пользователи моей молодости, были неоригинальны: встречая кого-нибудь из знакомых на вернисаже или в театре, Хирург говорил, представляя меня: «Это мой племянник». Обычно за племянника, сына своей несуществующей сестры, милостиво выдавала меня и Актриса:

— Экий вымахал, не правда ли?

Декан мне говорил: «Звонила твоя тетка и передавала, что у администратора лежит для тебя билет».

Обычно один или два раза в месяц я провожал ее из театра домой. Здесь мне приходилось мыть посуду, утром меня не кормили завтраком, но «на такси» рублей десять-пятнадцать мне обязательно давали.

Элементы и этого романа, так же как и моих отношений с Хирургом, словно в моем собственном дневнике, хранятся в «письмах читателей» («Алена», «Саша») в эrotической серии «Записки юного герон-

тофилы» на страницах эротической газеты и в других, получивших отклик общественности, материалах.

Эти тонкие и деликатные эпизоды моей юности я привожу лишь для того, чтобы и возможному моему читателю и врагу было ясно: в подмосковное общежитие я попал довольно подготовленным человеком. Кроме того, я был хотя и очень молодым человеком, но наблюдательным, поэтому и до этого общежития мог видеть определенные сцены жизни в общежитии университета, принимать и приветствовать звоном щита, наконец, в других местах столицы нашей родины, например, в общежитии ВГИКа (Государственный институт кинематографии) или ГИТИСа (Государственный институт театрального искусства), в общаге Текстильного института, где изредка я тусовался и мог столкнуться с наркоманами и гомосексуалистами. Хотел бы сразу сказать, что сам термин я ни в коем случае — права человека есть права человека, даже на собственную задницу — не трактую как унизительный или уничижительный; итак, я еще встречался с лесбийской любовью, азартными играми, мелким воровством, групповым сексом, алкоголизмом, экгигибиционизмом, тайной педофилией и множеством мелких отклонений от норм. Так всегда бывает, когда ты наблюдаешь бытовой, подкладочный слой жизни. Так вот, рядом с подмосковной общагой, с ее незатейливо простыми нравами все это было Версалем и Малым Трианоном. Но сначала о постоянных обитателях.

Меня всегда удивляло, как во вполне респектабельном городке с массой инженерии и научных работников этот дом на центральной улице не рухнул, на его стенах не выступили непристойные картины деяний, происходящих в этих стенах еженощно. Из подъезда выходит молодой человек с закатанными рукавами — лето! — рубашки, я видел вчера, как около двух ночи он, совершенно голый, бежал за совершенно голой девицей, уносящей ворохом свое белье, платье и туфли, а потом, на грязном полу туалета, похожего по гигиенической обстановке на вокзальный туалет глухой провинции, стоя на коленях над унитазом — по-прежнему голый — блевал и после каждого спазма тряс башкой. Это районный следователь. А еще в общежитии жили — три этажа, коридоры с выходящими в них дверьми, возле каждой помойное ведро или просто кучка мусора на общей кухне, на каждом этаже по туалету, в лучшем случае с коричневыми от мочевого камня и ржавчины унитазами, а в случае похуже — с недействующими, — но вернемся к началу фразы: еще здесь жили молодые милиционеры, пожарники, мелкие чиновники до тех пор, пока им не дали квартиры, два или три дворника и тому подобная публика. Здесь был как бы сортировочный пункт, город выжидал, присматривался — брать или не брать работничка, давать ему квартиру и уже постоянную прописку. Но шел и встречный процесс — выдержит или не выдержит жилец такой напряженной и буйной жизни или махнет рукой и отправится восвояси. Конечно, здесь вызревали и пристойные коллизии. Два или три месяца побуяствовав, погоняв по общежитию, как всем казалось, какую-нибудь шалавую десятиклассницу или крашенную в беляночку продавщицу, вчерашний житель тамбовской глухомани внезапно на этой продавщице или десятикласснице женился, через девять месяцев около двери и мусорного ведра вдруг появлялась детская коляска, и тут сразу же вчераш-

шая шалава начинала караулить, врываться в чужие комнаты, как представительница общественности, и гнать по ночам голых продавщиц и рано возмужавших восьмиклассниц. Чуть позже комната освобождалась, появлялся новый клиент, помешанный на свободе, сценах из видака и утверждении своей сексуальной крутизны.

Пожалуй, следует произнести слово, которое витало над общежитием, — разврат. Крепкий, как украинский самогон.

И все-таки юность — не пора разврата. Это скорее излишки сексуальной невостребованности. Досадные провалы в жизненной материи. По своей природе юность это все-таки поиски возможностей для самоутверждения. И вот последнее, именно после окончания университета, меня и мучило. Здесь дело даже не в перехлестах честолюбия, которое живет или должно жить во всех, в каждом индивидууме, а скорее, в поиске наилучшего пути, исчерпывающей самореализации. Пожилой человек, он, как уже взнужданная и запряженная в телегу лошадь, трусит по наезженной дороге, а молодняку надо выбирать путь. Сесть именно в свой вагон.

У меня не было времени ни на разврат, ни на пьянство, ни на счастливый досуг молодости. Я понимал, что объективно — это время выбора моего будущего, но и время моего личного созревания, где надо запастись знаниями и здоровьем на всю оставшуюся жизнь. Я даже по утрам, часто после бессонницы от шума за стеной, умудрялся бегать трусцой и это полюбил. Я ввел в правило — проходя утром по двору в редакцию, подтягиваться на сиротливо и одиноко поставленном какими-то наивными энтузиастами турнике. Я обмывался по пояс холодной водой в кухне или бегал после джогинга вниз в подвал, где находился мерзкий и осклизлый душ. Я старался пытаться скорее рациональной, нежели вкусной пищей: овощи, каши без соли, молоко — тогда оно еще не дотировалось. Вечерами я писал свои репортажи, изредка ходил в кино, без особого интереса, но для того, чтобы быть в курсе дела, читал новинки литературы и, конечно, жадно проглядывал всю прессу: надо было знать часто меняющиеся газетные приемы. Потом я никогда не забывал мысль Фрейда о сублимации. Сжатая пружина рано или поздно должна была распрямиться.

Определенно, в этих коридорах я пользовался серьезным авторитетом. Меня звали на разнообразные — получка, день рождения, звание — застолья «по поводам», и у меня даже был опыт, как, пока все участники окончательно не расслабились, сваливать и забиваться в свою комнату. Здесь нельзя уже было откликаться на крик или стуки. Я только по звукам за дверью мог догадаться о происходящем. Вообще, по подводной науке старой конструкции, где противник определялся на слух, я смог бы работать замечательным подводником-слушачом. Прислонив ухо к стене, я мог сказать — на какой фазе любострастия в данный момент находится мой сосед справа, пожарник Алеша, и какой форт любви предлагает освоить своей партнерице младший сержант ГАИ Володя — сосед слева.

Самые разнообразные картины из сексуальной жизни молодежи можно было наблюдать, и в конечном счете я рад, что судьба предоставила мне такую возможность. Двое постовых, возвращаясь с патрулирования, прихватывали двух каких-нибудь веселых

и нетрезвых девиц и, попользовавшись этой ночной случайностью, звали на роскошь ночного пира где-нибудь в три или четыре часа избранных друзей, а то и просто соседей по общежитию. Таким «сотрапезником» часто бывал и я, каждый раз не забывая, в отличие от моих предприимчивых и хлебосольных соседей, о правилах личной гигиены и безопасности. В этих случаях я внутренне хохотал, представляя, как на политзанятиях моих друзей милиционеров и пожарников обучают товарищескому отношению к женщине. Это что, Володя должен своей каждый вечер новой девице, которых он разыскивает неизвестно где, на «вы» предлагать занять коленно-локтевое положение? Я-то не один раз видел, как Володя лупцевал их почем зря, а они, тем не менее, в кастрюльках приносили еще барабанье рагу и подолгу стояли возле входа в общежитие, поджидая своего сладкого ухажера. Как это все понять и, главное, мучился я, как описать, если придется? Какую найти лексику и где отыскать необходимые краски? Честно говоря, обилие венерических заболеваний, о которых писали газеты, и победное движение по миру СПИДа очень повышали уровень моей нравственности. Но в стремлении получить наблюдения, ибо через секс выразительнее всего прослеживается природа человека, я был неутомим и даже жаден.

В общежитии были замечательные случаи эстафетной передачи какой-нибудь заезжей девицы из комнаты в комнату в течение нескольких месяцев, пока любострастный цветок не определялся окончательно в своей дальнейшей жизни где-нибудь на стороне. Цветок убирал комнату, иногда выносил во двор помойное ведро, отчищал все кастрюли, перестирывал все рубашки, изо всех сил старался закрепиться, и так проходили день, два, три, пока неумолимая сила рока не бросала Наташу, Ренату или Жанну в соседнюю «пустую комнату», потому что к нынешнему хозяину приезжала внезапно мать, племянница, тетка, а в соседней комнате живет его верный друг, с которым вы будете «как брат с сестрой». Но только через два дня и у другого были высокоблены все кастрюли. Бывало, обманутые и покинутые своими кавалерами, сменившими их на новых, девицы устраивали жуткие скандалы в коридорах. Но все это, как ни странно, заканчивалось весьма мирно, я бы даже сказал — уходило в песок. Для меня это было прекрасное и поучительное время. Так сказать, повесть о современной социалистической молодежи.

Наверное я, как и любой человек, формулирующий свои неясные мысли на письме, чрезвычайно субъективен и из контекста жизни вырываю только то, что мне интересно и к чему влечет меня мой собственный, может быть, нездоровий, интерес. Именно вследствие этого скажу, вернее, повторю, — подобные сцены и типы — это не типы каждого дня. Вообще-то работа так обессиливает человека, что на постоянные безобразия он и не способен, это лишь некий свободный отлив далеко не каждой молодости. Как настоящий демократ, весь мир рассматривающий в зеркале своей демократической идеи, я бы даже высказал предположение, что подобная секуальная неразборчивость и концентрация на ней мыслей молодежи скрывают определенный социальный протест. От социалистического двоемыслия (термин Оруэлла) к истинной и прямодушной природе млекопитающего!

Итак, далеко не все особи многочисленного класса млекопитающих, обитающие в общежитии, вели себя, как в обезьяньем гареме. Были вполне здравомыслящие ребята, втихаря в этой круговерти заканчивающие институты, готовящиеся к политической деятельности и собирающиеся делать в жизни карьеру. Особенно я сдружился с Василием Ивановичем Голубцом, молодым еще мужчиной лет тридцати двух. У меня определенно возникла даже некоторая тяга, когда я впервые встретился с ним в общежитии. До этого я тоже мельком был с ним знаком, бегая по городским делам, — Василий Иванович, Васенька Голубец, голубчик — работал референтом-помощником нашего мэра.

Круглое, милое, с румянцем, лицо. Очень живые карие глазки, высокий лоб и жидкие волосы, добровольно причесанные на высокий пробор, как у Достоевского, и, самое главное, ласковое и добре обхождение. Не выпячивается, не чинится с молодежью и посетителями, всегда скорее готовый помочь, нежели отказать. В общежитии во все тусовки не лезет, хотя для всех он здесь вроде и большой начальник, происходящего как бы не замечает, но и не амикононствует. В комнату к нему не зайди, водку ни с кем не пьет, не отказывается занять до получки, но и заняв, с ножом к горлу не пристает.

Когда мы с ним немножко подружились, я спросил:

— Василий Иванович, не накладно?

— Деньги небольшие, те, кто отдал не вовремя, уже вряд ли попросят, а кто не отдал — уже не зайдет никогда. Таким образом создается некая обособленность. Некоторая защита от окружения.

В самом начале своей жизни в общежитии я заметил особое печальное внимание, с которым Василий Иванович наблюдал за мной, когда мы встречались в умывальной комнате с единственным работающим умывальником — я после бега обтирался до пояса, когда некогда было слетать в душ; Василий Иванович терпеливо ждал — он никогда не ходил в майке, в футболке, даже летом не любил разных легкомысленных апаши — в своей, без галстука, неизменной черной или белой рубашке, когда вечерами мы оба что-нибудь готовили на периферии газовых плит, занятых «семейными» обедами. Наблюдал, по возможности, незаметно, но неотступно. Он неотступно называл все время меня на «вы» и первым здоровался, если мы встречались на лестнице или в коридорах. Он был чудо корректности. Даже собственное помойное ведро он выносил во двор, одетый в неизменное длиннополое и довольно модное пальто и в шляпе. И тем не менее он не казался неженкой.

По своей привычке собирать информацию о нужных и высокопоставленных людях, которые мне могут пригодиться, я уже знал, что он, как и я, в городе начинал с нашей районной газеты — это и стало потом поводом наших более тесных контактов. «Василий Иванович, — как-то на кухне я жарил мясо, а он варил на пару овощи: морковку, свеклу, картошку; кстати, он очень часто ел каши; однотипная работа и сама кухня сближают, — вы как бывший сотрудник нашей газеты должны мне помочь». — «Хорошо, — тут же согласился он, — будем помогать». Он так же, как и я, видимо, прошел через объятия Агнессы Георгиевны, которая считала его дивным человеком, а он ее очень высоко ценил как редактора и работника. Мне он казался, несмотря на эту черту его биографии.

рафии, странноватым, но у него была жена, которая по-прежнему проживала в провинции, ибо где-то там преподавала в вузе, но обязательно, на все каникулы и «большие праздники», наезжала вместе с маленькой дочкой к мужу. Когда я увидел ее впервые, то обнаружил, что она лет на шесть-семь старше своего супруга. Тут уж, конечно, у меня возникло соображение, что Василий Иванович так не торопится получить квартиру, дабы затянуть и начало постоянной семейной жизни. По уровню своего вхождения в элитарные и могущественные городские верхи он действительно очень многое мог, но, оказалось, он просто ожидал окончания строительства дома в центре и с улучшенной планировкой. И последнее — Василий Иванович был студентом-заочником, учился в юридическом институте. Впрочем, институт этот в нашем общежитии был моден — в перерывах между своими пьяными или эротическими эскападами большинство господ пожарников и господ милиционеров морщили свои лбы над учебниками по гражданскому и уголовному праву.

Не буду описывать тонкостей нашего сближения: меня вел чисто деловой, рабочий интерес, это уже потом у меня появился некий авантюрный план. За бортом повествования останутся отдельные фразы, питье вечернего чая, ответный визит, чистая, без единого лишнего предмета комната Василия Ивановича с портретом его жены и дочки на письменном столе. Потом мы как-то играли в шахматы, обменивались пластинками.

Я не мечтал никогда стать писателем. В эту забытую досужими гениями систему не пробъешься. Но на всякий случай я изучал, как и все dilettantes, разнообразные человеческие типы. А разве типы не могли быть полезными и использованными в журналистике?

Один раз я спросил у Василия Ивановича — почему он учится именно в юридическом институте. Он уверен, что в этом его призвание?

— Всегда на институты с точки зрения обычавателя существовала мода. Я думаю, следовать в призвании моде не надо. Мода преходяща. Говорят, целое поколение гуманитариев хотело быть китаистами, а потом отношения с Китаем испортились. Потом то же самое было с арабским языком. За модой, конечно, стоит экономика и стремление обеспечить себя в жизни. Но ведь так можно остаться без денег и с неинтересной работой. Военные сейчас переквалифицируются в коммерческих директоров, электронщики занимаются ремонтом телевизоров, но есть две специальности, которые никогда не устареют и на которые всегда будет мода: медицина и юриспруденция. Я выбрал юридические науки, потому что, особенно в наше время, это еще и власть. Скоро наступит такое время, когда без денег или власти человеку будет жить страшно.

Сказал и посмотрел на меня грустно, как бы приглашая разделить с ним его грусть. И тут же перевел разговор на «теоретическую» тему. Я уже давно заметил, что когда разговариваешь с Василием Ивановичем и он глядит на тебя своим умным печальным взглядом, то о чем бы этот дружеский разговор нишел, он неизменно, через искусство ли, через какую-нибудь новинку, напечатанную в журнале «Ино-странная литература», через газетную статью или городское происшествие, начинал клониться к чему-то плотскому. Это могло быть косвенное сооб-

ражение об особом отношении философа Платона к своему ученику Федру или начиналось со СПИДа — очень распространенная в начале перестройки тема, потом это все поугасло и перестало интересовать публику — пускай, дескать, группа риска разбирается со своими делами и заболеваниями, или, наконец, какое-нибудь убийство на специфической основе. И мы оба тогда ахали, Боже мой, и в нашем задрипанном, в часе езды от Москвы районе *такое* случается! А дальше совсем чуть-чуть Васенька Голубец давал научную информацию. А я ждал, как кот, когда мышка вылезет из норки. Во время этих осторожных, как поступок прохожего в гололедицу, разговоров и возник у меня авантюрный план. Скорее, как я думал тогда, шутка, я ведь считал и считаю себя за порядочного человека.

Все эти разговоры, мимолетные взгляды, аналитические соображения, эпизоды и эпизодики, собранные здесь на нескольких страницах, надо терпеливо разнести на временное пространство почти в год, когда произошло много и других эпизодов и состоялось много иных встреч и разговоров, в которых даже самая дотошная мамаша из родительского комитета школы не обнаружила бы ничего предосудительного. Я работал, занимался наведением мостов с большой журналистской жизнью, целыми днями мотался по району, висел на телефоне, и вот однажды летом, возвращаясь с электрички из Москвы, я встретил Василия Ивановича. Встреча произошла в коридоре. Он нес из кухни к себе в комнату сковородку с каким-то блюдом из тушеных овощей. Все это шкворчило, шипело в щедром масле и расточало, вырываясь из-под крышки, упоительные запахи молодых, доставшихся по блату, а значит, по себестоимости, совхозных овощей, и, кажется, еще пары кусков мягкой московской колбасы. Я был голодный как волк, но день прошел прекрасно. Я как раз сделал свой первый материал для радио, используя свой уникальный дар говорить разными голосами. Я сделал его в шутку, подписав к реальному голосу солдата-афганца голос профессора-демократа, требующего в довольно гротескной форме суда над всем Политбюро (уже началось), которое принимало решение о вводе войск. Солдат был подлинный, профессор «из воображения». Да еще, чтобы создать контраст между мужскими голосами, ведущей я сделал «нашу внештатную корреспондентку Наталью Саморяднову». Как-то все весело шло в строку и лепилось одно к другому. Все это у меня, кроме записи солдата, заняло не более получаса. Я потащил все это, с одной стороны, как доказательство моей одаренности, а с другой — как некую гениальную шалость, шутку, Агнессе Георгиевне. Сейчас покажу, а потом посмеемся, и я все размонтирую и соберу снова по частям и так, как надо. Но, к моему удивлению, Агнесса Георгиевна, сосредоточенно нахмурив бровки и прослушав все звуковое сочинение, торжественно сказала: — Образцовая работа! — В ней взыграл идеолог, ищущий новых путей. — Надо давать в эфир. Мы эту пленку отметим на летучке, как лучший материал нашей районной радиогазеты. — Про себя она уже начала думать о некой славе руководителя. — А не попробовать ли нам этот материал пробить на всесоюзный эфир (тогда был и такой)? — И тут же Агнесса Георгиевна дала мне телефон молодого человека — опять молодой у нее человек, — который на Всесоюзном радио курирует эти передачи, попытка, дескать, не пытка. Че-

ловеком этим молодым оказался Стасик, который тоже, тем не менее, не распознал и пропустил эту липу и предложил мне, по возможности, почаще сотрудничать с его редакцией. Вот после свиданки со Стасиком, после его обнадеживающего предложения я и летел. И даже более того, не моделируя наперед никакой ситуации и не задумывая никаких подвохов на будущее, если, дескать, вдруг подвернется случай, прихватил в центре бутылку анальского сухаря. Понемножку красненького или беленького я ведь могу, не разрушая, естественно, своего здоровья, выпить и сам с собой. Но на этот раз, увидев Васеньку Голубца со скворчающей и изнывающей от вкуснятины сковородкой, представив себе, что пройдет еще минут двадцать, прежде чем я сварганю себе хотя бы бутерброд с сыром, я вдруг первым делаю смелое предложение:

— Василий Иванович, у меня в дипломате бутылка вина и триста граммов ярославского сыра, не соторвите ли нам, если у вас, правда, нет каких-нибудь своих планов, небольшой товарищеский ужин?

Васенька перехватил сковородку в другую руку, облизал губы, глазки у него светились ровной доброжелательной грустью недюжинного советского бюрократа, но через них просвечивало и еще кое-что, до чего я никак не мог из любопытства и чувства моральной определенности докопаться, вот к этому неопределенному и апеллировал. Я ведь никогда еще с Васенькой вдвоем не выпивал.

— Ну отчего же, — Васенька опять провел языком по видимо сохнувшим у него губам, — не поужинать вместе двоим холостякам? У меня, кстати, есть предлог, дом наш закончили, и я получаю смотровой ордер. Предлагаю на моей площадке.

— О'кей! Я мою руки, и через пять минут у вас.

Я, как и вся моя, на марксистских атеистических дрожжах замещенная семья, не верю в Бога. Это счастливое, согласующее с жизнью чувство мне не дано, но крестьянско-христианский атавизм, идущий от предков, — а может быть, это вообще в природе человека? — все время толкает меня на крошечные исповеди. В нашей ли стране не знать, как исповеди опасны? Вот и здесь, наверное, я исповедуюсь, одновременно хвастая, конечно, своей силой безжалостного нахала и шантажа, даже, может быть, пошлисти без отпора, которой так славны ребята с Кавказа, но я исповедуюсь из безопасности только сам перед собой. Фокус заключается в том, что я сумел обидеть и переиграть точно такого, как и я сам: слабого, слабака!

Не буду касаться ненужных и неинтересных подробностей всего нашего ужина. И выпитое вино, и полураспущеный галстук на шее Василия Ивановича, и его разговоры, аккуратно подводящие к страницам-иллюстрациям мелким шрифтом в учебнике по судебной психиатрии. В мое юное время это был единственный достижимый источник страостей не-прикаянных людских, о чем широко, начиная с первого класса, сейчас просвещает видео, но я все эти волнующие рассказы, перекладываемые на свой язык Васей Голубцом, знал с детства. Я внимательно слушал эти и другие истории, философствовал о свободе личности и правах человека поступать со своей душой и телом, как ему вздумается, но я твердо знал, что 121 статья Уголовного кодекса еще не отменена. Но а если бы даже была отменена, существует некий кадастр человеческих страостей, которые ком-

мунисты как бы вычеркивали из человеческих возможностей, носители их исключались из райской жизни номенклатуры. Ну, Василий Иванович Голубец был осмотрителен, как ягуар на охоте. А может быть, я ошибся в своих домыслах испорченного человека? Или он тоже сублимируется, и у него еще более холодная кровь, чем у меня? Ну, скорее, скорее...

На экране черно-белого телевизора с почти вконец придавленным звуком метались нелепые изображения певцов и певиц. Интерьер довольно просторной комнаты прост и линеен: окно, телевизор, перед ним журнальный столик, диван. После аскетизма прежних лет все эти обтягивающие трико, ремни, браслеты, крестики, надетые на обнаженные шеи, эти выпяченные торсы, перепоясанные ремнями с подчеркнутой, а следовательно, несостоявшейся мужественностью, агрессивные в декоративных целях женщины, с мелкокудрой химической завивкой мужчины — создавали фантастическую картину карнавала несуществующей жизни. А может быть, такая жизнь существует? А мы, как зайцы, прыгаем от нее под кусты и, затаившись, подергивая носиками, выглядываем, вместо того, чтобы тоже поплясать в сладком единении этой карусели.

Занавеска на окне задернута, но летний закат через щели впускает в комнату красные лучи. Как луч прожектора в театре, солнечное пятно стояло на маленьком столике перед диваном, белый хлеб казался розовым, будто на него смотришь через стакан с виноградным соком. Боже мой, как размягчает съестность и заставляет фантазию гулять по разным закоулкам. А в принципе этот Василий Иванович вполне милый парень. Мы чокнулись, посмотрели, как положено, в глаза друг другу. Над стаканом, как над риской прицела, два взгляда. И никакой особенно сшибки молний. Василий Иванович облизал губу. Он облизывал нижнюю губу, как собака, которой жарко. Как он терпит в такую жару рубашку и галстук! Хорошо, что я-то успел переодеться в летний спортивный костюм. А может, Василий Иванович ждет, когда закат потемнеет и начнется схватка с темнотой? Я жду сцены обольщения, как опытный читатель ожидает поворот сюжета, но драматург наворачивает все новые отсрочки. Василий Иванович говорит, я говорю. В поле моего зрения все время его правая рука, я ее уже давно внимательно изучил. Хорошая сильная рука, чуть поросшая золотым волосом на запястье с крепкими пальцами и плотными, низко обрезанными ногтями. В пальцах нет ничего вытянутого и интеллигентско-эстетического. И форма ногтей подразумевает внутреннюю силу и энергию, с такими руками люди живут до ста лет. Настоящая крестьянская рука. Это танковая колонна, она должна сделать первый бросок, стронуться с исходного рубежа. Ну вот, кажется, все и пошло. Рубиновый прожектор передвинулся на сковородку с остатками тушеных кабачков и картошки, и тут же рука легла на спинку дивана за моей спиной. Десять минут пройдет, прежде чем она преодолеет десятисантиметровый рубеж. Все почти точно. В человеческой психике в принципе мало неизведанного. Элементарные поступки элементарных людей сосчитываются с помощью элементарных правил арифметики. Василий Иванович говорит о возвышенном, о политике, о долгге перед народом. Пой, милая ласточка! Наконец, рука у меня на плече. Через трикотажную ткань я ощущаю жгу-

чую энергию чужой воли. Со стороны — сидят на диване, полуобнявшись, два пьянецких друга, балдея от того, что весь их мир умещается в их словах и очень, оказывается, понятен.

Я не делаю ни одного легчайшего знака неудовольствия, не меняю позу. Рука смелеет и чуть поглаживает мне плечо. Совсем пропадает красный свет, но и кончается картинка на экране, ее сменяет рожа какого-то политического пустобреха. Рука возвращается на прежнее место, закончив обзор, Василий Иванович встает, переключает программу. Теперь на экране что-то музыкально-протяжное. Вполне лирический молодой певец вспоминает о своей молодости, которая минула навсегда.

— Василий Иванович, прибавьте немножко звука.

Мы сидим, слушаем, сумерничаем, и все повторяется, только теперь рука ложится ко мне на колено. Я поднимаю свою левую руку и кладу ее на спинку дивана за спиной сидящего прямо, как солдат на смотрку, Василия Ивановича. Через пять минут, повинувшись ли новой лирической интонации милого певца, моя рука непринужденно и вполне естественно ложится ему на плечо. «Калина вызрела». Теперь медленный, по сантиметру, балет начинает рука Василия Ивановича, она поднимается у меня по бедру. Рыба уже наклонула, пора подсекать. Она поднимается по бедру и останавливается на самом жарком и отважном рубеже. Тут, как говорил покойный Фредди Меркьюри, знаменитый американский певец, умерший в разгаре своей славы от СПИДа, тут она наталкивается не на пустую пластмассовую бутылку из-под кока-колы. Я встаю, штаны у меня несколько пузырятся, чуть-чуть отвожу ладонью растерянное и вдруг посеревшее лицо Василия Ивановича и говорю очень просто и деловито, по-интимному переходя на «ты»: «Вася, — говорю я, — а как ты думаешь, мне можно получить постоянную прописку и хоть какую-нибудь однокомнатную квартирку?» И, не дожидаясь ответа, резким движением прислоняю его голову к своему животу. Пой, ласточка, пой...

Квартирный вопрос, затасканный, по словам классика, так замутнивший светлый образ обывателя, не имеет в его судьбе в наше время решающего значения. Во-первых, потому что, слава Богу, и наконец-то квартиру можно купить, наконец, отнять. Булгаковские скромные примеры о размене квартир блекнут рядом с совершенно законными случаями отъятия жилой площади. Я не говорю здесь об эпизодах самозахватов, перед которыми нежная советская власть не смогла устоять и вывернуться, сраженная демократической демагогией. Ныне эти номера не проходят, вызывается ОМОН и хоть у захватчика семь человек детей и тестя сражался вместе с вислоухим Буденным, вытуривают из апартаментов, предназначенные хоть депутатам, хоть новой демономенклатуре или просто богатым людям, потратившим на жилплощадь часть своего первоначального капитала, и вытуривают со свистом. Но есть более оригинальные и с виду вполне лояльные способы.

Например, вы ухаживаете за очень старой бабушкой, которая одна проживает в прекрасной приватизированной квартире. Вы, блюдя ее интересы, вполне можете даже оформить ей приватизацию. Вы приносите ей ежедневно либо килограмм апельсинов, либо пакет молока, либо сумку картошки (бабушка, впрочем, уже давно забыла, что в полиэтиле-

новый пакет двадцать лет собирает невостребованые части своей пенсии, и этот пакет с купюрами разных лет тоже достанется вам после ее смерти, так что тратьте смело). Самое главное — вам надо или добыть завещание на право единоличного владения площадью после ее смерти, или другой документ, предположим, нотариально заверенную бумагу об опекунстве, и считайте, что дело сделано, часы пошли. Вы уже сделали свой апельсиновый ваучер золотым. Так вот, по рассказам, одна дама, доктор, кстати, медицинских наук, решила таким образом помочь своей дочери, тоже dame медицински образованной, кандидату тех же наук. Они буквально вытаскили старушку соседку, владелицу, естественно, квартиры, с того света и привезли долечивать к старушке домой. Началась апельсинотерапия в течение нескольких месяцев и параллельная приватизация. Но как только дарственная на эту самую, уже приватизированную, квартиру была подписана, в ту же ночь старушке стало плохо, ее на «скорой» отвезли в клинику, где работала то ли светило-мать, то ли будущее светило-дочь, и на этом жизнь старушки оборвалась. Я ничего здесь не хочу сказать, я только констатирую факт. Нравы становятся жестче, а законы либеральнее.

Итак, квартирный вопрос уже не имеет прежнего решавшего значения, но это когда есть квартира. И, естественно, я был рад, что «зарядил» свою квартирную ситуацию, и она теперь полетит, как на вороных. В этих записках я уже не буду обращаться к Василию Ивановичу, но чувство благодарности, хотя, наверное, и оплаченное мною, у меня по отношению к нему останется на всю жизнь. Кстати, нынче он, кажется, работает где-то на хороших должностях, то ли в правительстве, то ли в мэрии, и еще может мне пригодиться. Правда, анахроническая статья Уголовного кодекса нынче исчезла, но сила старой привязанности и возможности огласки в прессе? Ведь последнее совершенно не обязательно делать самому.

Теперь следовало сосредоточиться на работе, на журналистской карьере. Впрочем, я с удовольствием ушел бы в какую-нибудь другую форму жизни, честно скажу, этот мой труд с размытой, от «а» до «я», амплитудой мнений меня всегда тяготил. От этого устает невероятно, когда знаешь, что материал можешь написать не только тысячью способами, но и с минимум трех-четырех точек зрения. Удивительная душа у журналиста: она вмещает в себя и христианскую доктрину, и самую распространенную и могучую ее ересь — коммунизм. Какая-то многополяя и многодушная душа. Какая из них истинная? Впрочем, сейчас время, наверное, такое: даже самый неверный источник доходов прежде собственных убеждений.

Если не на выбор нового жизненного поприща — а впереди, а впереди уже замаячили такие прекрасные должности, как банкир или еще красивее и маляющее — менеджер, то на какую-то поправку курса я все время был готов. Даже мои собственные однокашники делают такую головокружительную карьеру на телевидении и в газете. Я с этой пропиской, будущей квартирой задержался на старте. Да, знаю, мои сверстники замешаны покруче. Мне бы быть учителем, в крайнем случае фельдшером, это моим добрым родителям изо всех сил хотелось, чтобы их сын был партийный журналист. А эту партию уже в хвост и в гриву, кому не лень.

Моя собственная работа в газете у Агнессы Георгиевны катилась весьма успешно. Молодой честолюбец мог бы и здесь сделать хорошую карьеру, тем более что, судя по всему, Агнесса Георгиевна собиралась уходить. Было почти решено, что она будет «баллотироваться на первых же выборах» и пойдет на выборную работу по квоте от партии. Место редактора почти светило мне — надо энергичнее выдвигать молодежь, — и мои папочка и мамочка были бы, конечно, счастливы, но я уже тогда понимал, что в наше динамичное время надо искать более рисковое, а значит, перспективное место. Где нынче моя родная районка? Вот именно, все там же, «внутри у негра». Или деньги, или слава. Пока я тем не менее держался среднего вектора. И оказался, тем не менее, прав.

Работа в газете шла своей рутинной чередой и уже через несколько месяцев не занимала у меня особо большого количества времени. А самое главное — внутренней энергии для поиска того или иного решения. Прелесть нашей журналистики заключается в том, что надо бежать в своре. А у своры своя идеология, своя раз и навсегда определившаяся точка зрения, даже свои приемы и главные герои и врачи. Соответственно, имеется и оппозиционная свора, в которой все точно так же с точностью наоборот: врачи — друзья и друзья — врачи. А вот приемы письма могут быть одни и те же. В своре легко, потому что она несет тебя и тащит, как поток, но выбраться в лидеры здесь сложно, потому что все давно сложилось, и опытный лидер, как волкодав, на лету старается перегрызть горло щенку, начинавшему на что-то претендовать. Кстати, и здесь лучше всего видно, насколько внутренняя убежденность ничего не значит, а еще точнее — и не почевала в журналистских писаниях. Если отважный щенок увернулся или рана оказалась не смертельной, он немедленно перебегает в сторону другого собаковода. Все собачьи стаи очень старательно держат нос по ветру, и в связи с изменением политической (может быть, для них экономической), потому что здесь крепко помнят первый постулат журналистики: кто платит, тот и заказывает музыку) конъюнктуры возникают массовые переходы. Ведь это не случайно, что в вагоне перестройки все бывшие партийные журналисты, все эти подручные и помощники партии оказались демократическими. Это очень простой фокус. Так же, как и перед началом второго путча, парламентского противостояния Президенту (чуть не написал нашему Президенту, но вовремя вспомнил, что нашим он становится, если «наши» платят за страницу в два-три раза больше, чем «не наши». Во всех остальных случаях это уже какая-то непрофессиональная убежденность на уровне невзоровщиков), — итак, перед этим противостоянием, поджав хвосты, некоторые демократические особи из разумного середнячка начали делать умилительные телодвижения в сторону патриотических маршрутов.

Итак, в своей работе в многотиражке я придерживался несложной государственной линии: что прикажет тогда еще прокоммунистическое начальство. Здесь бы, конечно, нужны некоторые уточнения, кающихся юдивительной интуиции всего этого прокоммунистического начальства абсолютно на всех начальственных уровнях. Еще, как цепные псы, отстаивая свою замечательную коммунистическую иде-

ологию, круша в прессе и на партактивах любые шевеления, связанные с коммерцией и другой частной инициативой, они через жен, детей, зятьев и сродственников уже устраивали торговые точки, организовывали фирмы и готовились к крупномасштабному захвату государственной собственности. Но вякали эти капиталисты-подпольщики исключительно в привычном им духе и давали нам в многотиражке такой разгон за малейшую вольность, будто мы сотрясаем всю генеральную линию. Но не помирать же нам с этой замечательной самой линией? Пока Агнесса Георгиевна занималась своей непутевой дочкой, воспитывала молодняк, который регулярно проходил через нашу «Ленинскую смену», готовилась к захвату депутатского кресла, я пробовал свои силы на ниве свободной журналистики. Я обрастал знакомствами, связями, не ленился почаще выбираться в Москву, где обходил своих соучеников, работающих в разных редакциях. Среди прочего молодому человеку надо зарабатывать много денег, чтобы купить себе лишние джинсы или высокие кроссовки, пластинку, книжную полку в будущую квартиру (акция с Василием Голубцом еще не состоялась, но на очереди я уже стоял и абсолютно был уверен, что какая бы власть ни наступила, квартиру у нее я оторву).

В коммерческой журналистике всегда платили. Называлось ли это «Правдой» или позже «Сексуальной истиной» — здесь важно определить, кто будет и кто возьмет верх. Поэтому, не оставляя печататься и работая над правыми материалами с левым уклоном и имея, так сказать, в тылах свою «Смену», которой в случае необходимости всегда можно будет прикрыться, я настойчиво искал разные зацепки в левых газетах, пытаясь хоть на первые случаи утвердиться там, примелькаться, приобрести знакомых.

В принципе, средне писать одинаково просто и вправую, так я, по стариинке, называю патриотическую, и влевую, так, по недомыслию, все называют демократическую прессу. В то время главное было не лениться, а бегать по митингам, брать интервью, делать зарисовки, ходить в архивы. Я, как и любой человек средних способностей, проанализировал те материалы, которые особенно охотно в погоне перестройки печатали газеты и журналы. Это тридцать седьмой год во всех аспектах. Любимейший персонаж — жертва, случайно выскользнувшая из-под пресса. Очень хорошо шли привилегии партаппарата и номенклатуры. Конкретизировалось это в показах госдоч, рассказах о квартирах, медицинском обслуживании и должностях взрослых детей. С большим удовлетворением газеты воспринимали рассказы охранников, перебежчиков, попов-расстриг, бывших судей, палачей или о палачах, о последних часах приговоренных. Желательным также было корреспондировать это с низким уровнем жизни народа. Любимой точкой приложения сил стали архивы. В ход пошли стенограммы. Стенограммы дополнялись воспоминаниями участников. Пользовались спросом армия, начало войны, агентура, тайные захоронения, жены вождей.

Надо ли мне живописать, в каком характере было необходимо подавать эти сюжеты? Разве они не у всех на памяти? Именно поэтому я сразу перехожу к одному из митингов на Манежной площади, во время которого мне было сделано очень интересное предложение.

Но это одна из причин, по которой я описываю

это сборище так называемого трудового народа. Демократических митингов было описано достаточно, в чреве телевидения лежит, я полагаю, немало пленок с демократической начинкой, но, как известно, альтернативное движение, дабы не привлекать к нему внимания, старались давать мельком. Одни и те же идеологические законы пропаганды действуют и при коммунизме, и в капиталистической прессе, и на телевидении. Именно поэтому, дабы отчасти ликвидировать пропуск, берусь за эту неблагодарную работу.

Я, конечно, не ожидал, что будет столько народа. Телевидение, ловко выбирая точки съемок, очень талантливо снимает эти митинги. И здесь для меня наука — как надо, чтобы поверили, энергично и смело лгать. Чем крупнее ложь, тем правдоподобнее она звучит!

Все, конечно, это тоже понимают, сравнивая разные цифры даже в разных телевизионных программах: в одной на митинг собралось 10 тысяч человек, в другой — 20, через неделю в обзоре назовут 50, а если что-нибудь случилось, да еще с жертвами, то милиция, дабы отвести от себя подозрения в нерадивости и легкомысленном отношении к гражданам, еще прибавит, стесняясь, с десяток тысяч, а уж потом патриотическая пресса шарахнет цифру в полмиллиона. Естественно, верить нельзя ни одним, ни другим, ни третьим.

Иная причина, по которой я пришел, — это подпитаться альтернативным духом. Я даже записывал лозунги и срисовывал плакаты, которые держали манифестанты. Надо знать не только точку зрения, но и терминологию супостата. Но была еще одна заковыка. Когда раз в неделю я звонил матери, она неизменно спрашивала меня о картинках политической жизни ее соратников, верных ленинцев. Или я так хорошо представлялся, или она искренне верила, что с помощью коммунистического кремля и кресала никакой другой, кроме той же коммунистической, искры образоваться не может! А в Лужниках, на митинге ты был? А на Манежной? А на манифестации на Пушкинской?

Конечно, я видел многие мощнейшие тусовки, но Боже мой, здесь тоже не скучно. Тогда еще не придумали этот роскошный административный фронт с закрытием на реконструкцию Манежной площади и запуском вокруг нее кругового отсекающего движения. Браво, московское правительство, это классика, не то что отключение воды и электроосвещения в бывшем парламенте, что пока привело ко вполне закономерной и справедливой бойне. Но ведь далеко идущие последствия еще неизвестны. Тогда Манежная была, как чаша весов, как мерка, с которой на станциях продают яблоки пассажирам.

Эта мерка, к моему удивлению, была почти полна. И даже более того, начальство и представители новой общественности хоть и говорили, что, дескать, подобные митинги посещают только горстка сумасшедших старух, у меня сложилось ощущение, что народа здесь не намного меньше, чем когда митингуют другие. Даже более того, возникло ощущение некоторой неискренности властей: говорят одно, а техники нагнали, милиционеров, понаставили ограждений, перекрыли все проходы и подходы, и даже напротив Исторического музея поставили эдакую лихую будку-тачанку — передвижной командный пункт. За огромным стеклом, в тепле сидят за столом с телефонами — площадь перед ним как на ла-

дони — на манер полководца руководитель московской милиции усатый красавец Мурашов. Побаиваются, стянули силы.

Это только с птичьего полета, в телеэкране или на кинопленке кажется, что стоят здесь люди со своими транспарантами плечо к плечу и слушают ораторов, которые ораторствуют от гостиницы «Москва». Ораторов пропускаю — я пишу записи, я не занимаюсь политикой. На самом деле здесь, как на гуляньях в Парке культуры. Все стоят группами, или поодиночке, или парами. Даже как бы на бараходке, потому что большинство держат лозунги.

Вообще, мерка, которую я упоминал, была полна, и у меня здесь, как у человека, склоняющегося к демократической точке зрения, возникла даже мысль — а не слишком ли полна эта мерка. Я, конечно, понимаю, что она не перевешивает другую, если мерить теми же митингами здесь, летом, но почти уравновешивается. И от этого мне стало не очень уютно. Скажу даже больше — все время мечтая попасть в передовую журналистскую обойму к демократам, я тут, малодушный, подумал: а не лучше ли держаться как-нибудь особнячком и от тех и от других. Как было бы мило заниматься журналистикой на уровне моды или кулинарии. Эдакая Молоховец в джинсах и мужской кожаной куртке.

И не успел я это подумать, как вдруг — ба! — знакомое лицо! Оказывается, не только я хожу по этой ярмарке лозунгов — знамена полощутся, речи на злобу дня кипят и несутся, усиленные громкоговорителем, над площадью, — любуясь сочинениями остroго ума и незатухающей мстительности на листах ватмана и обрывках бумаги. Стасик! Его сморщенная, старомоденькая мордашка!

— Какими судьбами? — воскликнул Стасик, изобразив на своей подвижной рожице удивление и восторг, к которым примешивалось еще и старо-сыкное: чего это вы здесь позабыли?

— А вы какими судьбами? — сказал я весело. — Мы лично изучаем жизнь бывших коммюнистов и отставных начальников.

— А мы делаем снимки для семейного альбома. Вот и фотограф, знакомься.

— Дима, — сказал молодой человек с хорошей профессиональной камерой на шее. — Я фотограф. — И наставил на меня крепкий, как огуречный раскол, взгляд.

Бог приводит к цели ищущего. Дима оказался вооруженным не только молодостью и фотоаппаратом, но и прекрасной идеей создания эротической газеты для всех. Что такоеексуальная газета? Ненасытен глаз. Именно зрение надо подпитывать эротическими страстями. Газета должна поднимать из глубины человеческой психики неосуществленные желания и несбыточные видения. Как бы, если бы... Каждый мужчина на мгновение должен себя почувствовать Казановой, которому по плечу любая цель и любая крепость, а каждая дама... О, здесь все сложнее... Каждая женщина, что бы у нее ни было внутри, не хочет быть для себя врожденной развратницей. Ее принудили, изнасиловали, заставили. В конце концов, жизнь ее сделала такой! И здесь, рассуждал Дима, здесь потребуются уже не мои фотографии, а некие жизненные истории, душеспасительные рассказы, вызывающие читательницу в собственных глазах. Понял?

Сначала мы долго ходили в этой толпе, по Ма-

нежной площади. Зоосад был прелестен. На трибуне обычные львы патриотических собраний, я уже даже мог отличать их по голосам. По крайней мере, Алксиса от Проханова отличаю запросто. Был даже Владимир Вольфович Жириновский, которого, правда, тогда патриоты и красно-коричневые к себе не пускали, и Владимир Вольфович вешал со своего особенного грузовичка, который медленно разъезжал вдоль той стороны площади, которая ближе к «Националью». И я тогда еще подумал, очень шустер малый, но кто же мог тогда предположить будущий поголовный психоз в народе?

Очень скоро Стасик отстал, ему надо было что-нибудь отвратительное об этом митинге для своей радиостанции, и наконец он нашел молодого патриота с комсомольским значком и с прекраснойしゃпельявой речью дебила. А роль молодого интеллигента, возмущающегося сборищем, — «куда смотрит правительство?», «демократия — это не вседозволенность!» — очень неплохо сыграл Дима. Вооружившись этими уникальными и живыми свидетельствами «очевидцев», Стасик убежал переводить звуковые колебания свидетелей в живые деньги. Эфир — Молох, эфир не ждет, и любимая пища у него жареная. Он, даже когда не может сорвать, все комментирует враками, и еще неизвестно, что выгоднее. Стасик убежал, а у нас с Димой и состоялась длинная конференция, в результате которой сначала появилось твердое решение заняться в журналистике чем-нибудь неполитизированным, а именно эротически-сексуальной газетой, а потом и тот роковой снимок, где я сидел на корточках в армейской фуражке.

Глава третья

Конечно, родителей мы не выбираем, но ведь и родители не выбирают нас. Мы достаемся друг другу в результате немыслимой игры случая, я бы сказал — архислучайно, никто никому по большому счету ничего не должен, но откуда тогда такая немыслимая тоска, когда кто-то из родителей уходит навсегда. Страх оказаться на рубеже стрельбища, когда по генетическим законам смены и очереди впереди тебя никого нет и неизвестный немой отстрелищик в любой момент может открыть огонь. Твою пулю «получил» впередистоящий. На мгновение загородил тебя и упал. Какая звериная тоска овладевает мной, когда я беру в руки старые семейные фотографии. Мать, конечно, коварно поступила, положив мне в чемодан, когда я был у нее в последний раз, целый сверток и альбом — все, что у нее было, разве старую женщину можно уговорить? Или они чувствуют смерть, как слоны? Мысль очень проста: когда я умру, фотографии должны остаться у тебя. К счастью, мать жива, но фотографии почему-то все время попадаются мне под руку. А может быть, покойные управляют этой случайностью и продолжают свой спор со мною?

Куда все делось? В какой колодец провалилась молодость моей матери: вот она почти моего возраста и держит за руку крошечного меня. Я ведь почти, или кажется, помню, как фотограф на пляже в Анапе снимал нас. Это было вчера. И если сделать еще один шаг, то — уже и моя старость? А в какую чудовищную воронку влетела и пропала жизнь моего отца? Ракета пролетела между двумя пунктами:

курсант-пограничник с молоденькой девушкой студенткой в Парке культуры им. Горького в Москве. Ах, какой чуб, какой ширины плечи, как, наконец, ослепительно горят сапоги. Ракета уже на взлете, летит вверх, разбрасывая искры. В зенит вписываютя десятки фотографических сюжетов: бравый курсант, лейтенант на первой своей командирской должности, начальник заставы, отряда. Немыслимой красоты вол-шебные, почти театральные пейзажи, фон, на котором развертываются действия судьбы: Памир с его заснеженными, раскрашенными под Рериха вершинами, острова Камчатской гряды, отражающиеся в реках, полных лосося. Смотры, наряды, вымысел груди и надвинуты, как у одного, словно по шнурку, фуражки. Пальцы, до побелевших костишек вцепившиеся в стволы автоматов, собаки, лошади под кавалерийскими седлами, просторные письменные столы, замысловатые письменные приборы, портреты с константой, Ленин и Дзержинский, и с переменной, означающей медленное, под застывшимся болотцем, движение времени: Хрущев, Брежnev, Андропов, Черненко и добровольный разрушитель — Горбачев. А закончилось все это — ракета по параболе вернулась на землю — деревянным ящиком, марлевой ленточкой под подбородком, залпом присланного военкоматом взвода. Вороны взлетели над провинциальным кладбищем. И вопрос — почему так рано, когда более пожилые — Ельцин, Горбачев, Кравчук — еще живы и по-прежнему запускают разные бумажные бомбы...

Они весело и легкомысленно раскидывали карты, а он не понимал, что уже каждый давно за себя, и ждал, что частью выигрыша поделятся и с ним. Он, бедняга, предполагал, что всю жизнь играл в их команде и что лидер силен его поддержкой и его думой. Но ведь с покойным папой и невозможно было провести семинар по индивидуализму. И если их — этих комиссаров в пыльных шлемах — распропагандировать, то, значит, их жизнь — пшик, их сидение в засаде, их аскетическая молодость и скучная на приключения жизнь фейерверочной ракетой рассыпалась на балу ряженых, где низкие и ничтожные люди перерядились в маскарадное платье царей, герцогов и принцев, и погремушками, фальшивыми скипетрами и бумажными коронами увлекли всех в пропасть. Вот здесь надо искать причину отцовского рака. Какие там генетические предрасположенности и экологическая опасность! Это такой сильный зверь — человек, что переварил соляную кислоту и умял, ассилировал целую вереницу поколений, где дядюшки и тетушки в 20-й и 30-й степени родства переболели черт знает чем! Самой хрупкой оказалась та вязь кровеносных сосудов, тот тончайший слой клеток, который, как нежным персиковым пушком, окружает жирный кусок молекул, отвечающих за жизнь человеческой особи как животного — мозг. Персиковый пушок не выдерживает вибрации, чертеж кровеносных сосудов начинает вырабатывать горечь от постоянной тряски. Нужно ли других, более серьезных в наши дни причин для тотального бешенства клеток? Конечно, динозавры со сменой климата должны вымирать, и мое поколение, в известной мере само, лично сумевшее приспособиться в соседстве с новым пейзажем и новыми хищниками, отчетливо осознает необходимость этой гибели, сразу облегчающей нашу жизнь и жизнь нашего государства.

Мне иногда кажется, что родители и за гробом

охраняют своих детей. Есть дурацкое стихотворение советского классика Щипачева, где сын то ли поскользывается на могиле матери — советская инфернальная чушь, — то ли спотыкается о материнское сердце, каким-то образом оказавшееся на дороге, и голос матери спрашивает героя: «Ты не ушибся, сынок?» По сути, здесь что-то есть справедливое. А может быть, заботясь о детях и устранивая с их пути трудности, родители интуитивно не забывают и о себе? Если бы операция на горле потребовалась отцу не в первые годы перестройки и если бы, как самое рутинное, врачи не решили, что делать ее надо в самом крупном онкологическом центре, а потом еще и облучать из радиоактивных пушек! Это был подарок современной науки — три-пять лет жизни, а если повезет, то и больше, но и подарок сложившейся системы здравоохранения, которая, даже особенно не задумываясь, этот вопрос походя решила. Смогли бы сестра, я и мать организовать и поднять сейчас эту операцию? Только продав чью-нибудь квартиру и сдав себя в рабство. Отец вовремя заболел и вовремя умер. И опять взглянем в лицо факту: еще через два-три года нам, может быть, пришлось бы похоронить отца в полиэтиленовом пакете. А как, интересно, в свое время похоронят меня? Надежда на гарантированные и достойные похороны очень мала. Всем надо знать четко: нормальный деревянный гроб, пахнущий березкой или елочкой, становится недоступен, вернее, жизнь выставляет альтернативу: если богат — красное дерево, атлас и откладывающаяся крышка, если нет — гроб только до кладбища и пакет из плотной пластмассы на всю «оставшуюся» жизнь. Очень хорошо это показали в фильме «Амадей» в сцене похорон Моцарта. Донышко у гроба отваливалось, и покойный рыбкой скатывался в общую яму. Полиэтилен, а не саван, грузовик, а не тролли — это уже технологические услуги нашего времени.

Говорят, мы политизированное общество, и мои родители относятся к этому политизированному обществу. Им бы жить да поживать, да сопеть в свои сопелочки, да поджидать внуков, но что же делать, если каждый их физический шаг, реальная величина их пенсии и количество сливочного масла и молока, которые можно на нее купить, зависят от политики? Но и количество сливочного масла никогда еще так не зависело от экономики, от стоимости меди на перевалочном рынке в Эстонии и достаточности ее на стальных магистралях. Я думаю, что скоро ее всю поснимают, и дороги остановятся.

Еще я думаю, что наша жизнь диктуется ныне не столько временами осенних сезонов, весеннего тепла и зимнего холодного угрюмства, сколько сменой революционных вспуханий, приливами и отливами политической активности так называемого народа. Я ведь не скрываю, что я индивидуалист, что и соответствует новой политической формации. Итак, перемены жизни, как формы вспухания, как пугти, стрельба (или без стрельбы) и оборона. И вот первое же такое крупное вспухание ударило по нашей семье. Естественно, я имею в виду путь 1991 года.

Мать со своей складной хозяйственной тележкой, навьюченная копченой рыбой, салом и сахаром, отправилась к моей сестре под Таллин, которая так надежно вышла за военного, получившего квартиру в Эстонии. Она поехала, чтобы посмотреть моего первого новорожденного племянника, поддер-

жать, помочь и, может быть, прозондировать перевод в Россию. И я опять-таки не настаиваю, что мать должна была ехать, что ее призывал долг. Никто никому не должен. Тем не менее, мать наготовила отцу на десять дней супов, рагу, нажарила котлет и битков, все расписала, как на космическом графике, когда что надо съесть и когда, чтобы не испортиться, прокипятить или еще раз пережарить, — и уехала.

Мать мне потом рассказывала, как рано утром 19-го, в комнату, выгороженную из кладовки и лоджии, где она спала, вошел зять — он уже брился — разбудив ее, сказал: «Мы никуда из Эстонии не уезжаем, наши пришли к власти, переворот». У матери первой мыслью, конечно, выскочило: как там отец, но ведь «свои» — а значит, все в порядке, свои ошибаются только один раз, и та ошибка уже исчерпана, когда выпустили на арену Б.Н. (у меня, естественно, совершенно иная точка зрения).

Итак, семейная диспозиция: мать с сестрой варят в Эстонии варенье из ревеня, черной смородины и разной другой безвкусной дряни и смотрят телевизор, зять дежурит у себя то ли на корабле, то ли на маяке и готовится послужить трудовому народу на Балтике. Отец пережаривает котлеты, переваривает супы, он способен только смотреть по TV картинку и слушать радио, но не может сказать ни слова, а на медленную, путем переписки, конференцию к нему уже давно никто не ходит. Я в Москве, в столице нашей многонациональной родины и многохлебной России сначала присматриваюсь, а потом иду защищать Белый дом — кроме этой народной демократии мне уже есть что защищать и другое.

Давний разговор с Дмитрием во время митинга — митинг, как место деловых встреч в современных условиях, на моей памяти я неоднократно встречал на подобных собраниях нужных людей; или ходят граждане одного круга, или подобное взаимно притягивается? — итак, давний разговор не прошел вту-

не. Дима оказался очень хватким парнем, со своей выношенной идеей. Я, честно говоря, даже не особенно верил, что здесь можно не только есть свой заработанный хлеб, но и еще жирно намазывать его маслом. Секс, картинки, заметочки, переводчики из зарубежных журналов, анекдотики — все это мне казалось нужным лишь после плотного ужина, но оказалось, что за эти фантазии люди готовы жертвовать не только ужином, который, как известно, должен принадлежать врагу, но и обедом. Какой, оказывается, это пустынный и безбрежный рынок!

Сначала я вроде соглашался быть около Димы. Эдакая мещанско-конформистская модель: если дело победит — я здесь, а если не двинется, значит, можно отойти в сторону, не посягая на собственные, захваченные рубежи. Чего-нибудь подыщу, чего-нибудь сделаю между работой. Но оказалось, любой бизнес, как и творчество, требует тебя целиком. Нет, я долго не бросал службу, потому что, как и все люди в стране, был воспитан на надежности государственного и зыбкости частного, но это частное меня очень увлекло.

Мастерская Димы поражала любое воображение. Я вообще-то, как сын своих собственных законопослушных родителей и нелепой заповеди «не укради», всегда думал, что собственность, особенно большие ее объемы — это удел возраста, когда нарастает



масса наработанного и приумноженного имущества. Но собственник в наше время помолодел, а рискованные вариации юных современных банкиров вошли в легенды. Здесь тоже можно было только разводить руками, да как же успел этот юный фотограф? Однако, успел. И оттаять, и взять то ли в аренду, то ли приобрести в собственность какую-то старую конюшню или оранжерею в одном из московских бывших усадебных дворов. И не только, кажется, закрепил за собой эту «аренду» или «собственность», но и перестроил, обжил, «запустил» для дела. И самое неожиданное, что находился этот частнособственнический островок совсем в центре — возле Трубной площади.

«Конюшня» была в два этажа. Первый кирпичный, почти без окон, где находились лаборатория, кладовка, большой зал для съемок с уже поставленным и знакомым, как гамма, светом, а на втором небольшое ателье с мягким дневным освещением для интимных съемок, и, так сказать, личные апартаменты. Мне все это казалось верхом комфорта и роскоши. В тридцать лет нажить столько всего! И чего в этой «конюшне» только не было — и крошечная кухня с газом и мойкой из нержавейки, и душ с горячей и холодной водой, и ковры на полу, и всякие художественные кренделя по стенам, и антиквариат в личных покоях. Но больше всего поражали, конечно, фотографии по стенам. Это были легко узнаваемые портреты первых лиц государства и людей искусства. Поэты, писатели, артисты, художники, позиционирующие возле своих полотен, узнаваемые кинорежиссеры. Даже Генсек и пара-тройка самых из-

вестных членов политбюро, таких, как Яковлев и Шеварднадзе. Это было, так сказать, идеологическое обоснование этих владений. Но наша бывшая советская жизнь увлекательна тем, что не могла нарушать существовавшие законы. Оглядевшись, на одной из стен ателье, я увидел серию таких авторских фотографий, что в существовании у молодого человека подобных апартаментов можно было не сомневаться. Про себя я назвал эту серию так: «вожди революции в застолье». Это были

главнейшие, наипервейшие вожди революции — и Троцкий, и Сталин, и Буденный, и вечный тихоня Молотов, и пламенный интеллигент Бухарин, и все они — со стаканом в руке, склонившиеся над тарелкой, выбирающие грушу. Хорошо-с жилось, господа, вкусно и сытно.

Дима, видя мою заинтересованность в той серии, а я, не спрашивая, то с одной стороны загляну, то с другой, говорит: это снимал еще мой дед, знаменитый фотограф и художник.

— Так значит, ты по пятам деда?

— Не только деда, но и отца, — сказал Дима и показал рукой на прекрасный портрет вождя народов Иосифа Сталина. Сталин в своем знаменитом френче держит в руках барабашку и смотрит на него так, будто с живого снимает шкуру.

С мальчиком все ясно. С этим мальчиком не пропадешь. Какое ни было бы время, у этого мальчонки всегда найдется какой-нибудь соратник отца или дядя, родственник или поклонник универсального семейного таланта.

После беглого обзора мастерской Дима стал по-

казывать мне фотографии, ради которых мы, собственно, и пришли. Еще давно Хирург научил меня, а Актриса доразвила, пониманию бесконечного честолюбия творцов. Я уже тоже приготовился раздавать комплименты, но то, что показывал Дима, было по-настоящему для меня новым. Я что, не видел мужчин и женщин голыми и в жизни и на фотографиях? На листах, которые вынимал Дима из папки, было все то же обнаженное женское и мужское тело. Все те же, пожалуй, аксессуары: цветок, коряга или деталь мебели (ручка кресла, спинка антикварного дивана, валик), повторяющие изгиб спины, ход плеча или излом кисти, все те же, иногда весьма неожиданные, контрасты света и тени, знакомые приемы локальной подчеркнутости и обобщенности форм, но в каждом снимке, стояла ли перед тобой счастливая своей наготой Венера или играл на флейте Вакх с заросшими шерстью ногами, в их тела намечалась некая острая грань, тонкое и безжалостное, как бритва, лезвие, царапавшее по сердцу. И стронутое с места сердце вдруг начинало гнать в кровь адреналин. В каком-то смысле снимки были закодированные: они все вызывали у смотрящего жажду обладания.

У меня во время этого вернисажа даже пересохло в горле: какой немыслимый дар судьба вручила мальчике! Он совершенно спокойно и размеренно, не без блеска, но «как надо» снимает мастеров сюрреализма, а тем не менее трепетно и жестко одновременно, до головокружительного дара обладания, переносит на пленку совершенные фигуры мужчин и женщин. Сколько сдержанного вожделения! Сколько нескрываемой похоти! Перед тем как сфотографировать, в момент спуска затвора, он же ведь их всех как бы имел взглядом. Боже мой, воистину, какое сексуальное искусство. Всех без разбору! И тут я, вздохнув, стыдновато понимая, что у меня, кажется, заалели щеки, перевожу оценивающий взгляд на Диму: может быть, он эдакий торжествующий многосточник? Одаренный универсал? И не хочет ли он чего-то большего от своего соавтора по будущему изданию? Ведь соавтору уже как бы попадала жизнь по расчету.

Дима будто ловит невысказанный вопрос:

— Нет, нет, — это обычные ребята и девушки из тузовок. Кое-кому пришлось платить, другие из любви к искусству. Условия настоящей работы в сексшоу таковы: сексуальные отношения надо строить только в собственном воображении, иначе на фотографиях получится рынок. Снимает, в конечном счете, не аппаратура или пленка, а глаз фотографа.

— Самое сексуальное из искусств?

— В какой-то мере.

Для меня сразу стало ясно одно: напряженная, изобретательная сторона нового эротического издания в кармане, но оставалась другая, смысловая, и вот о ней-то мы и проговорили весь вечер. Как должна выглядеть эта газета или издание в целом? Какие там рубрики? Кто авторы? Вот тут-то и возникло смелое решение. Чем на большее число кусков резать пирог, тем меньше достанется едоку. И сумеем ли мы нашу идею донести до каких-либо третьих лиц? Я-то проникся и, пожалуй, уже понял, что здесь будут деньги и успех. Но зачем же деляться деньгами? Значит, делаем газету вдвое: Дима все фотографии, я — любые тексты, все: письма в газету, статьи, репортажи, заметки, подписи под снимка-

ми, объявления о знакомствах и т.д. Это, кстати, позволит на-дежно сохранить и коммерческую и редакционную тайну.

Стоит ли мне рассказывать здесь, как из планов, смутных желаний и предощущений постепенно возникает это самое издание. Любое издание, газета, журнал, книга — это как человек со своим сознанием, привычками и внешним образом. И рождение, возникновение из муты неосознанных представлений этого живого существа требует необыкновенных усилий. Это сейчас все просто и очевидно до невероятности. «Юная леди 16-ти лет 90/65/90 ищет спонсора для продолжения образования», и всем все ясно. А ведь для того, чтобы это сначала придумать, а потом напечатать, нужно мужество. Или: «Молодой человек ищет состоятельный друга до 50 лет для совместного времяпрепровождения». А что значит сначала придумать, а потом и выписать «письмо-исповедь» решившейся изменить мужу женщины! И все это держится на психологии, на деталях, все читается и у всего этого один автор — я.

Опускаю и организационные трудности, которые не для лирических записок, а для учебника по бизнесу. Здесь и поиски типографии, и регистрация, и необходимые взятки, и распространение. Но следствие всего — успех, охота за нашим изданием, которое стало первой ласточкой сексуальной свободы, во всех местах, где пресса пользуется особым вниманием: вокзалы, станции метро, киоски на людных улицах, в общем, как я думаю, уже ясно, к лету 1991 года эта «Эротическая Правда» была уже серьезным и довольно прибыльным делом, которое ни я, ни Дима не желали терять.

А может быть, у нас в России складывается новая цикличность времени и счет его начинается по циклам, по путчам, как в Древнем Риме — по годам власти консулов? В то утро, 19 августа, я еще не ложился спать: шел следующий номер, и всю ночь мы с Димой колдовали над снимками. Конечно, терять было что, но вся наша «собственность», наш еженедельник был еще в полу самостоятельном состоянии: снимали специально приглашенных натурщиц и натурщиков (нация у нас видная, и покрасоваться в чем мать родила, и бесплатно, и за крошечное вознаграждение, и за будущую — а вдруг повезет! — славу, и за скоропалительную и бурную, как пожар, любовь под софитами — на все это народ не переводится), иногда и самим приходилось лезть под объектив, а уж тексты по-ломовому писал я сам. Но в ту ночь тексты, кроме одного — воспоминаний тридцатилетней домохозяйки, имеющей троих детей, но ни разу не испытавшей до встречи с доблестным воином-афганцем оргазма, этот фрагмент я уже продумал и предложил моему собственному воображению сымитировать и бурную негу дамы, и описание напористого афганца ее глазами; — итак, тексты уже были готовы; в ту ночь мы делали, как на конвейере, меняя объекты, ракурсы и аксессуары, снимки, и практически остался лишь один. Стелла несколько минут назад поднялась на второй этаж мастерской варить кофе — Стелла в это время уже появилась на моем горизонте, — Дима, кажется, нашел ракурс, одна из наших новых «стажерок», Наташа, за бесплатные пробные снимки для какого-то ли рекламного агентства на Западе, то ли для какой-то конторы, помогающей русским девушкам на два-три года вербоваться в какие-то гаремы арабских шейхов, согласи-

лась сыграть роль обделенной, но вдруг отыскавшей свое интернациональное счастье домохозяйки. Наташа сидела на низком пуфике в белых чулочках, я рядом обнаженным бедром и аксессуаром изображал афганца, Дима держал палец на кнопке фотоаппарата и все кричал, кричал, чтобы Наташа играла больше не бедрами и рукой, а лицом, лицом, потому что судороги на лице иногда больше говорят о счастье, нежели буря телодвижений. Наташа старалась, и в этот момент, как снежный обвал сверху, свалилась Стелла и в дверях закричала: «Пут! В Москве ввели чрезвычайное положение. В Москве танки!»

Первая у меня мысль: закончилась малина! И вторая: какое счастье, что я не порвал еще свои отношения с партийной печатью!

Я считаю, что в своих записках каждый должен описывать то, что видит, и незачем, уподобляясь так называемым писателям, «описывать» кадры телевизора и передавать разговоры радио. Все, что касается Белого дома в августе 1991 года, все уже изложено и стало достоянием публики. Я имею в виду общий, генеральный смысл. Первое ощущение страха, желание забиться в нору и уничтожить все следы нашей эротической деятельности, порвать и сжечь все статьи и снимки — придут снова к власти те первоначальные, тупого и злобного розлива коммуниаки — все эти роковые мысли довольно быстро, под влиянием разворачивающихся событий, прошли, и уныние сменилось некой надеждой. Мы вышли на разведку. Танки, стоящие в центре города, не стреляли, на порталах метро и в других людных местах появлялись листовки демократических организаций. Я бы даже сказал, что танковые экипажи вели себя довольно легкомысленно: брали от прохожих курево, жвачку и цветочки и вступали в разговоры. Демократические девушки, в отличие от коммунистических бабушек, обстреливали экипажи глазами. По мнению Стеллы, которая тогда еще не была беременной и участвовала в нашей с Димой разведке, намечалось несколько романов даже между привлекательными мальчиками в пятнистых десантных камуфляжах и привлекательными мальчиками во вполне цивильном платье. Мы даже пофантализировали на тему сексуально-политического братания. Можно было бы сделать «специфическую» мужскую странничку в нашем издании: любовь в душном танке, экипаж и молоденькое существо с воли, обнаженные тела, «штатные» воинские трусы, механизмы, разные там снаряды, приоткрытые от страсти рты, нечто страстно американализированное. Мы же ведь не забываем, что согласно статистике, каждый десятый гражданин готов с огромным волнением рассматривать эти репортажи. Но потом, почмокав губами, мы, как демократические патриоты, решили, что, пожалуй, вовлекать, даже скорее разоблачать армию в ее разнообразии пока не следует, и подобный репортаж мы отложим на более дальнее время.

Мы даже здесь забыли, что эти трусливые негодяи ввели цензуру, а это значит — прощай наша свободная деятельность. А цензура определит, к примеру, что женская грудь 5-го и 6-го размеров лифчика является для фотоаппарата, как и ядерная боеголовка, закрытым объектом. В общем, мы на эту тему, сквозь слезы, пошутили и перешли к другим насущным задачам. Надо сказать, и я и Дима в этот момент были в зоне прямой сексуальной ориента-

ции. Это сезонами, в зависимости от стояния зодиакальных знаков. Фантазии нас всех интересовали только как профессионалов. Цензура, коммунистический старческий туризм — вот что к середине дня нас больше всего стало волновать. К этому времени мы окончательно решили: боевая подруга возвращается в штаб-квартиру, в мастерскую, готовит все материалы текущего номера к сдаче в типографию, мы с Димой отправляемся к Белому дому для статистической поддержки нашего демократического режима и президента, а также для изучения жизни: Дима фотографирует — походя, увлекательное время, запечатленное на снимках, становится товаром, — я наблюдаю, но все время помню: за мною долг — тот самый монолог осчастливленной афганцем домохозяйки.

Искусство журналиста — это искусство хорошо писать не по вдохновению, а к сроку. И наверное, главное переживание мое в эти трагические августовские дни — это ненаписанный материал домохозяйки. Я еще, быть может, неоднократно буду возвращаться к этому двоешкурию журналиста, пишущего на эротические темы. А не двоешкурны ли мы все? Если термин «двоемыслие» есть, то пусть будет и двоешкурие. Разве не в разных шкурах, например, телевизионные журналисты, раньше снимавшие, стараясь «не расплескать», Брежнева, Андропова, Горбачева, а ныне Козырева и Ельцина? Искусство камеры — сексуальное искусство. Или, может быть, мы, как истинные путаны высочайшей квалификации, любим любого клиента? Но как бы то ни было, создавая вместе со всеми — вот он коллективный, столь не любимый нами, индивидуалистами, труд — из разных фанерок, урн для мусора и остатков строительных лесов символические баррикады, — я все время, как занозу, держал в голове этот сюжет.

В эротическом письме очень важно непременно попасть в чужую шкуру. Я придумывал биографию своей героини, фантазировал, как прошла ее первая ночь с законным мужем. Что он был за человек и какие приемы, как более опытный партнер, он применял? Что она почувствовала и как прореагировала? В чем показала себя и свое естество, и где все из-за стыдливости скрыла? Материал-то должен иметь форму исповеди. Я представил себе ее кожу, руки, грудь, шею, манеру потягиваться по утрам и запахивать халат. Мне вдруг понадобилось определить для себя тысячу деталей. Спит ли моя красавица в ночной рубашке или в пижаме? Раздается ли при муже или в ванной комнате? Дышится ли перед сном? И постепенно, расхаживая по площади перед Белым домом, там махнув глоточек водочки, там подсев к костру, я вдруг почти почувствовал себя чаровницей. Дима даже сказал мне, чего ты как-то сегодня жеманишься. И в этот момент я на него так томно и многоизначительно посмотрел, что он все сразу понял и расхохотался.

— Ни дня без строчки?

— Совершенно справедливо, Димочка, — ответил я голосом школьной отличницы, — революции приходят и уходят, а молодость, красота и желания остаются.

Трудно было выбрать еще и партнера для моей дамы. Это когда мы говорим «афганец», вдруг у каждого возникает довольно ясное представление. А как у этого представления не только с ремнем, гимнасткой и длинными шнурованными ботинками, но и

с ручками, запахом, цветом волос и усов, формой ногтей, со структурой кожи? Волосатая ли у него грудь, есть ли волосы на ногах и какова визуальная мощность скипетра любви? Есть и еще тысячи мелких свойств и признаков, которые в совокупности создают впечатление подлинности. И здесь важно не только определиться с подбором признаков, но и гармонизировать их, ведь этот нехитрый, почти как детский, конструктор, подобрать одна к другой детали. И лучше всего не только почувствовать образ во всей совокупности признаков, но и на всякий случай иметь перед глазами какую-то готовую модель, в идеале — прототип. Это другое дело, что этот прототип вы можете улучшать, совершенствовать, шлифовать, подбородок от «Ивана Пафнутьевича» подгонять к лицу «Сильвестра Никодимыча», kostyak, прототип, «скелет» вашего образа, если он выбран и прочувствован верно, все держит.

Я выбирал, стараясь изо всех сил, хоть какую-нибудь подходящую модель среди молодняка, собравшегося на набережной и вокруг Белого дома. Конечно, здесь были довольно красивые и самовитые экземпляры мужской красоты, но все какое-то, чуть не сказал — траченное молью, какое-то траченное богатством и достатком. Естественно, что демократию, по закону римского права — кому выгодно? — пришли спасать или люди, которые разбогатели, или, вроде меня, собирались разбогатеть. А даже проектируемое богатство, особенно у нас, в стране ломового представления о капитале и способах его приобретения и использования, накладывает свой отпечаток. Мои гипотетические, пленительно усатые и смуглые афганцы были, как один, с начинаящимся брюшком, со вторым подбородочком, с сытеньким блеском глаз. Для моей драматургии нужен был или яростный хищник, бескомпромиссный боец, или нужно было менять характер сцены. И тут меня осенила мысль: а чего бы не «задействовать» кого-нибудь из очень известных личностей? Сразу же, как на экране, перед — так говорится в романах — перед моим внутренним взором появились самые знаменитые мои современники: Ельцин, Руцкой, Горбачев, Хасбулатов, Лукьянин, Собчак, Гавриил Харитонович Попов, хитроумный грек. Лукьянин сразу отпал из-за возраста... Какой уж из него герой-любовник и страстный садун? Горбачев — из уважения к понятию Президент, а потом «использовать» его, как девку, в воображении было еще и аморально — на тот момент было известно, что он узник курортного местечка Форос, а не просто очень ловкий человек. Какие уж игры с узником! Хасбулатов подходил по всем статьям, но маловат ростом и потому, памятуя о кавказско-чеченской мафии, с подобным персонажем лучше было не связываться. Руцкой усат, авантажен, но, на мой взгляд, очень уж в свое время юлил и заигрывал с коммунистами. Ведь именно он, кажется, расколол партию коммунистов в парламенте. При подобных политических пируэтах не до секса. Ельцин, конечно, хороший, за это говорила и его спортивная биография, но, с другой стороны, незачем его, так я думал тогда, разгуливая среди костров, пьянеcких (не все) защитников и баррикад, отвлечь от важных государственных дел, от защиты Белого дома и противостояния созданному старцами Комитету по Чрезвычайному положению. Пусть сосредотачивается на решении насущных демократических задач и спасении нашего с Димой

эротического бизнеса. Попову очень мешал живот и профессорская рассудительность. Это мастер рассуждать, а не действовать. Оставался лишь сухопарый и лихорадочно пронзительный Собчак. Его-то мы сейчас и выпустим, как христиан на римскую арену, полную африканских диких зверей, на потраву засидевшейся в сексуальном затишье домохозяйки. Предварительно, естественно, лет на пятнадцать его омолодив.

Сказал ли я уже, что когда, условно говоря, «прототипа найдешь, внутреннее действие героев автором обосновано, характеры прочувствованы, а размеры будущего труда и направленность известны, то написать материал журналисту особого труда не составляет.

Так и я в те беспокойные первопутческие дни. «Воздик» в мозгах, некая излучающая антенна, уже сидели и раздражали, и посыпали сигнал. Поэтому, как обычно, в своем блокнотике, как только высвобождалось время, а точнее, как только возникал абзац об афганце и домохозяйке, я его сразу же гнал на листок, а потом, когда выходишь следующий абзац, когда гвоздик и антenna сформулируют следующий поворот сюжета и страсти, то, как ось свои собы, я прилеплял этот новый абзац к предыдущему. Дима, кстати, часто восхищался: ты замечательно пишешь, просто у тебя получается один страстный поток. Страстный-то страстный, но эту «слитность» я выхаживал и вымучивал. Прекрасный, кстати, потом получился этот самый конкретный материал. Не одна, судя по письмам наших читателей, домохозяйка пролила над ним в еженедельнике слезы над своей жизнью, в которой ей не встретился лихой секс-рубака, похожий на нашего замечательного Собчака.

Но если мой друг Дима, которому очень понравился и этот мой «собчаковый» материал, думал, что писал я его, похаживая вместе с ним по площадке у Белого дома, то там черкнув пару строк, то в другом месте, у другого костра присоединив еще пару, и писал все это со спокойной душой, то он очень, как говорят в Одессе, ошибается. На душе у меня кошки скребли, потому что все время я думал об отце.

Сказал ли я, что в середине августа 91-го мать на десять дней полетела к сестре? Мать считала, что дней на десять она может ехать, отец продержится на том, что она ему подготовила. Обязательными условиями отцовского комфорта был еще работающий телевизор и запас сигарет.

В то утро, если честно, как только Стелла крикнула: «Путч!», — я сразу вспомнил об отце. Он точно это уже видел: утро начиналось у него с включенного телевизора и тарелки борща перед голубым экраном. Что он подумал? Обрадовался? Сожалел, что стар и болен и не может идти митинговать? Если бы была мать, они обменялись бы с ним взглядом, и мать, по движению губ и шипению, раздавшемуся за марлевой занавесочкой, поняла бы: «Ну, что я говорил! Советская власть — власть простого человека, вечная власть!» И мать бы ответила: «Да, Костя, ты у нас грамотный политик, но основное у тебя это классовый инстинкт». И тут бы они оба сели рядом на диван и вперились в экран. Но здесь, на этот раз, отец был один. И как вспомнил об этом, легкое чувство тревоги обдало зябким холодком. Но я его отогнал. В конце концов, пока выигрывал он и его партийцы. Мне надо волноваться за себя, за свое дело и будущее. Я подумал и о Стелле, тогда уже возникла у нас мысль об объединении усилий и ребенке.

К концу дня, когда мы уже побродили по Москве, но еще до знаменитой пресс-конференции, когда телевизионщики показали, как у Янаева тряслись руки, я опять начал думать об отце и решил позвонить, тем более, что у семьи с отцом на такие экстраординарные случаи существовала договоренность, некий код: если все хорошо и в доме все в порядке, он выслушивал по телефону информацию и легонько стучал ногтем по мембране: точка, тире, точка, тире... А если ему была нужна помощь, он стучал: тире, тире, тире, тире... И еще была условленность: «да» — две точки, «нет» — два тире.

Дозвониться было сложно, переговорный пункт в центре Москвы у здания телеграфа работал, но очередь была колоссальной. Наконец, я соединился, и, к счастью, отец взял трубку. В трубке была его родная командирская тишина. Я сразу же, бодря голос, стал говорить, что в Москве спокойно, я покуда в опасные места не лезу, готовлю отзывы на события для своей партийной районки. Автомат жрал монеты с немыслимой скоростью. Я быстро спросил отца: «Как ты себя чувствуешь? Хорошо?» В телефонной трубке раздались два щелчка — точки. «Целую, папочка!»

За несколько дней августовского путча-революции я звонил отцу несколько раз. И здесь была не обычна забота сына о родителе. По мере того, как мои собственные дела улучшались, — на второй день путча мы сдали все материалы в типографию, делу — время, потехе час, — чувство тревоги у меня росло. Все чаще у меня возникала мысль, что судьба компенсирует поблажки, которые дает. О, это коромысло судьбы! И разве в копилке у каждого, живущего хоть какой-то напряженной духовной жизнью, нет предчувствия беды? Мне вообще кажется, что по отношению ко мне судьба проявляет особую строгость и мелочно мстит даже за крошечный репортажик, где я покривил перед собственной совестью. Именно поэтому я как бы «накачиваю» свои отдельные репортажи, самопровоцирую не только свой ум, но и как бы убеждаю совесть, вину, себе необходимость именно такой, вроде бы органической точки зрения. И разве я не знаю, что в свое время придется месть и за мой репортажик во время октябрьских событий?

Тогда, в августе, эта мысль не была еще так сформулирована. Предчувствия, тревога, которые возникают то ли от скачка барометра и пасмурной погоды, то ли действительно от настроя души, от частиц, которые карма посыпает в душу и, задевая ее струны, создает чувство страха и неизбежности. расплата — вот доминантное состояние тех дней. Ожидание удара и предвосхищение точки его приложения. Вот почему я несколько раз звонил отцу, и каждый раз через его бодрые постукивания проступала близящаяся катастрофа. И когда я еще только набрал номер на автомате, в день, когда путь уже был практически разгромлен, я уже был почти уверен, что прямо с переговорного пункта махну в аэропорт.

Все так и случилось. Сначала к телефону никто не подходил. На третий раз трубку сняли, но никаких щелчков и потрескавшихся. Я кричал в трубку свой обычный текст. Жизнь, дескать, папа, продолжается, завтра может еще раз изменить то, что случилось вчера. Ничего. Я повесил трубку. Через пять минут снова набрал номер. В телефоне было занято. Сняв первый раз трубку, отец ее, значит, не пол-

ожил даже когда услышал — если услышал — гудки отбоя. Я вдруг увидел отца, лежащего на диване, маленького и уже седого, с изуродованным горлом, с не колеблющейся от дыхания занавесочкой и телефонной трубкой, выпавшей из безвольной руки. Главное не волновалось и не впластить страх в душу. Я перезвонил через час и еще через час. Тогда я позвонил сестре в Эстонию. Да, они тоже звонят отцу, и у них тоже все занято. Мать уже поехала на аэродром. Летит.

Мы встретились с матерью буквально у дома. Она летела самолетом до Ростова, потом на такси — тогда это еще было в возможностях среднего класса. Я сумел взять билет только до Харькова и оттуда пробирался железнодорожной и автобусом. Мы подъехали к дому буквально в одну минуту. Я-то подошел с остановки городского автобуса. И наверное, у обоих были дурные предчувствия. Мать кинулась ко мне, и оба мы боялись заходить в дом.

Когда мы открыли дом своими ключами и вошли, отец был жив. Может быть, он полтора дня так и пролежал на диване. На полу стоял телефон со снятой трубкой. Мне показалось, что я даже слышу прерывистые сигналы зуммера. Мерцал, со сбитой резкостью и выключенным звуком, телевизор. Убийца, подумал я, сделал свое дело и теперь притворяется, что он ни при чем.

Мать кинулась к отцу. Я не люблю больных, сирых, калеченых, и какое-то время назад из-за отцовской немои, увечья, из-за его ссохшегося старицкого вида стал испытывать к нему некоторую брезгливость. Честно говоря, лишь только взглянув на отца, я его уже похоронил. В моем быстром, pragmatischem уме уже прошли картины похорон, и возникло вполне гуманное решение: свою часть отцовского наследства (как известно, недвижимость делится сначала в равных долях между супружескими, а потом часть умершего еще раз делится между наследниками; их у нас трое: мать, мы с сестрой) передать матери и посоветовать то же самое сделать сестре. Доля не велика, все равно все достанется нам, пусть мать бережет гнездо. Я уже даже прикинул: дня два на медицину — всегда делают вскрытие, когда человек умирает внезапно и не под надзором врача, на третий день можно и хоронить. Завтра с утра надо заниматься поминками — водка у родителей, кажется, есть на антресолях. Я мысленно поблагодарил администрацию, введенную талоны на водку и сахар, и запасливость родителей.

И в эту минуту мать, почти приникшая ухом к шторке на горле у отца, крикнула: он жив! Звони в неотложку!

Деликатно, стараясь не приближаться к дивану, я выключил телевизор, поднял и опустил на рычаг трубку. Отец действительно еще дышал, марлевая салфеточка на его горле чуть вздыпалась, колеблясь. Лицо отца осунулось, седые волосы лежали вокруг головы, как жалкие перья. Боже мой, что болезнь делает с человеком. И я тут мгновенно вспомнил, как приезжал после первого курса к нему на заставу на Памир. (Я прошу прощения за это воспоминание, ибо нынче оно носит идеологизированный характер: я описываю события конца августа, а Памир стал чужим государством после Пущинской встречи трех великих разрушителей не ими построенного — Ельцина, Шушкевича и Кравчука — в декабре; итак, Памир стал зарубежным государством.) Меня встретили ка-

кие-то военные на аэродроме в Хороге и много часов везли по заснеженным дорогам все выше и выше в горы. Это была одна из самых высокогорных застав, где была отменена уставная команда «бегом, ко мне» и человек чувствовал себя, как осенняя муха. Вот таким я и приехал на заставу, под самую ночь, когда наряды возвращались с охраны. Отец сграбастал меня и вместе со вконец замерзшими солдатами потащил куда-то, как мне казалось, в снежное поле. А это оказалась вырытая в земле яма, накрытая сверху огромной военной палаткой. Бассейн с горячей родниковой водой — подземный ключ. После университетского бассейна и комфорта мне было немножко диковато, но он потащил меня раздеваться, и вместе с ним и солдатами мы бултынулись в эту общую тесом изнутри горячую яму. Под брезентовым потолком с шуршащим по нему снегом на щесте горела электрическая лампочка, слабый, еле слышный стук движка проникал под теплый полог, и в ее свете я увидел, как мощен, белокож и широкоплеч был отец. Его плечистые и крепкие в форме солдаты рядом с ним казались цыплятами, бройлерами. И вот теперь болезнь разрушила это тело.

В кухне был другой, параллельный аппарат, и я по какой-то деликатности по отношению к отцу и матери, которая начала уже выть в голос, отправился звонить туда. Вот здесь-то мне все и стало ясно. В кухне так же слабо светился без звука экран телевизора. Для человека, лишенного возможности высказаться, очень важно хотя бы слышать и видеть. Я с ужасом думаю о том, чем люди заполняли свой душевный вакуум, когда не было телевизора. Но в кухне, собственно, были и иные следы гибели отца. Вот они, запасы дешевой талонной водки. Вот оно, стремление держать «жидкую» валюту под рукой. Отец умирает, как рядовой подзаборный пьяница. Антресоли на кухне распахнуты. У холодильника аккуратно составлены семь или восемь пустых бутылок. Он, видимо, начал пить с утра 19-го августа. «За начало», «за решимость», «за победу». А уж потом все покатилось вниз.

Я отчетливо представляю, как все произошло. Он наверняка утром, когда ТВ только сообщило о путче, выпил рюмочку за начало, с его, бывшего красивого командира, точки зрения, нужного и полезного дела. Он наверняка ожидал от своих сверстников, от цекистов такого решения. А когда после трансляции «Лебединого озера» дело пошло на коду, начал пить не переставая. Он пил синхронно телевизионным новостям. По лицу у него текли слезы, он видел, как рушится то, чему он отдал жизнь, и, может быть, он даже таким образом вел себя к добровольной смерти. Он не хотел жить в том мире, о котором рассказывали, захлебываясь, телевизионные дикторы. Он пошел в единственный бой, который могли позволить себе его силы.

— Ну, что же ты не звонишь? — крикнула из комнаты мать и вбежала в кухню.

Она сразу все увидела и сразу все поняла.

Глава четвертая

Этот осенний вечер в начале октября, когда еще полыхал огнем Белый дом, может быть, был последним мирным вечером в нашей со Стеллой семье. Сразу же после своего репортажа с Краснопреснен-

ской набережной я уехал в мастерскую, потому что каждый, кто занимается бизнесом, знает, что утром, вечером, днем и ночью свое, личное, кровное дело сосет душу, требует призыва и собственного, личного дгляда. А когда ты являешься одним из издателей журнала, а кроме этого еще и главным редактором, и просто редактором, и корректором, и распространителем, и придумываешь подписи к снимкам, и заголовки к статьям, дело всегда найдется. Естественно, я сразу позвонил, как приехал в мастерскую:

— Как Саша?

В тот момент, когда ты совершаешь какой-либо не очень тебе ясный поступок, ты всегда ждешь какого-то возмездия, бабушки говорили бы — Божьего наказания. Вот что это, некая атавистическая первобытная тревога перед завтрашним днем или то, что христиане называют совестью? Отчетливо сознавая, что такой психологический феномен, как совесть, наверное, существует, я тем не менее спрашиваю: где она? В каком органе тела помещается? Находил ли ее когда-либо патолога-анатом, как, впрочем, и душу? И даже если бы на суде Божьем спросили: есть у тебя, дескать, совесть или нет, я бы ответил: «Что это? Не знаю». Но может быть, это долг перед собою, своим ребенком, партнером по работе? Тогда есть.

Самое страшное для родителей, как я, кажется, уже говорил, это болезни маленьких детей. Кроха ничего не может сказать, а родители, как ни в каком другом возрасте, связаны с этими комочками жизни не только физиологически, но и каким-то мистическим началом. Чего там говорить о матери ребенка, когда даже я, бесчувственный отец, просыпаюсь не тогда, когда Сашок заплачет, а лишь только вздохнет или подумает заплакать. Я просыпаюсь, открываю глаза, напрягаюсь, готовый мгновенно откинуть одеяло и вскочить с постели в надежде, что Стелла не проснется; проходит секунда-другая, кажется, тревога миновала, и вот тебе, пожалуйста, Сашок вздыхает и... уже, голубчик, кричит. И сразу же обрывается что-то в груди. Вымок, неудобно лег, болит животик, закашлялся, что-нибудь приснилось страшное, детское? Но, к счастью, все эти ужасные болезни, стерегущие беззащитную малышню, тревожащие симптомы, не высказанные, а только прокашлянные признаки рассасываются и расплодаются, как тучки в летний день, оказываются плодом мнимости родителей и их всего страшящегося воображения. Так и тут, весь накат тревог этого дня к вечеру рассосался. Буквально за три часа мы с Димой в студии, когда я добрался, доделали все остатки по очередному номеру. Перо у меня просто зудело, и я очень легко и спокойно придумал заголовки, а потом написал последний маленький материал. Юная лесбиянка исповедуется в своем грехе: ее, молоденькую уборщицу, любят и довлетворяет директриса колледжа с религиозно-гуманитарным направлением, и они вдвоем счастливы на кожаных диванах директорского кабинета, но случается беда, и уборщицу, занимающуюся вечером мытьем кабинета античной истории, решительно и весело насиливут молодой и усатый охранник, и молоденькой, убежденной со слов директрисы в пошлости, грязи и риске отношений с мужчиной уборщице вдруг все это начинает до безумия нравиться, и она принимается искать новых встреч с усачом, и вдруг застает, также вечером, свою подругу, устроившую бешенную скачку, сидя на животе того же молодого стражника. Единство героев, места и

времени. Обычная, в одинаковой степени реальная и нереальная белиберда, с удовольствием читаемая нашей эмансирированной публикой. Здесь было много аспектов для трактовки, но я остановился на самом идеологически простом и демократическом, то есть понятном для публики. Можно было бы здесь закрутить ревность, чувство греха и другую гуманитарщину, но я внутренне перевоплотился в молоденькую девушку, замороженную старой интеллектуалкой, и отдался на бумаге течению страсти с молодым и уверенным самцом. Написано и с плеч долой!

И сразу же я, конечно, позвонил Стелле. Удача идет кучно. Доктор — вот чудо! — уже был, у них сегодня с патронажной сестрой обход, и ничего страшного не нашли, но горлышко смазали, он успокоился, спит. И я обрадовал Стеллу:

— Сейчас приеду, работу закончил.

— Хорошо, я буду чистить картошку. Приедешь — пожарю!

Одна сентенция, вернее, соображение из учебника истории: во время революций и беспорядков лавочники всегда закрывают свои лабазы — подтвердилось. Большинство палаток и металлических павильонов, так сильно украсивших город за последнее время огнем своих витрин, демонстрирующих иностранные напитки, продукты и самый расхожий ширпотреб, большинство этих железных ящиков с каким-либо инородцем внутри было закрыто. Но отчаянные люди все же попадались. Цены, конечно, в таких очагах предпринимательства и бытовой культуры были бешеными, но ведь для меня и многих других молодых граждан, выбравших пепси, время было праздничное. Конечно, жалко убитых людей, попорченное имущество, но это был день торжества демократии и нашего жизненного курса. Я-то вообще иногда думаю, что коммунисты проиграли, хотя при них кое-какие вещи, такие как путевки, жилищное строительство, социальная помощь для инвалидов и пенсионеров и были организованы не так уж плохо, — они проиграли потому, что, боясь такой чуши, как чуждая идеология, не хотели дать стране и особенно молодежи такой мелочи, как вволю пепси, жевательной резинки и видиков. Такая мелочь! Рвите на себе теперь волосы? Так вот, на Киевском вокзале, откуда я езжу домой, в однокомнатную квартиру, которую выхлопотал мне своеобразный друг, о котором я уже писал, все почти палатки были из-за близости военных событий закрыты, и лишь некоторые рисковые коммерсанты торговали по бешеным ценам. Чувствуя себя почти богатым человеком, я купил бутылку импортного шампанского (Стелла пока кормит мальца, конечно, не пьет), чтобы отметить наступление стабильности. Имел я право размышлять так: если президенту мешал раньше парламент, а теперь никто не будет мешать, значит, станет лучше. Также я купил какой-то ветчины в банке, овощей у частников, которых не остановит даже атомная тревога. В этом смысле ненавистный нам, демократам и свободным людям, Ленин, может быть, и прав, нехорошо говоря о мелкой буржуазии. Мы пытаемся называть ее сейчас средним классом. Жиреет классиков! Набил сумку хлебом, немецким — на всякий случай на сроки давности я никогда не смотрю, сроки давности не для современного человека, который привык питаться дрянью — печеньем, разными другими «второй свежести» продукта-

ми из разных стран Европы, Америки и Турции и, дождавшись электрички, машины домой по своему почти ежедневному маршруту. Боже мой, как скоро я стал примерным семьянином!

Я осторожно открыл квартиру своим ключом. Почти пропускаю ад нынешней электрички и трагическое, в предчувствии отмены расписания или нападения уголовников, ожидание автобуса на станции. Об электричке только замечу, мы за последнее время вырвали ощущение общего, «нашего», привитого большевиками. Интересной и неожиданной реакцией ответил на это народ: все диваны в электричке изрезаны. Итак, я открываю дверь... О, этот запах родного гнезда, убежища, своего дома!

Конечно, моя квартира — крошка по сравнению с нынешними квартирами богатых людей, дай Бог им здоровья. Одна моя комната, крошечная кухня, туалет, укороченная ванная и прихожая такого немыслимого размера, что для того, чтобы открыть дверь, надо отодвинуть детскую коляску. Тем не менее, я тихонько протискиваюсь со своим грузом в дверь.

Когда я иногда вижу, как Стелла спит на нашем диване возле кроватки Саши, я, задыхаясь от нежности к сыну и жене, думаю о том, что именно такие безмятежные картины навеяли и основной символ христианской религии — Богоматерь с младенцем. Здесь поклонение своему собственному, домашнему и вечному, переходящему из поколений в поколения. Сын небесный — он и появился из лона человеческих страстей. Он всегда залог прощения грехов родителей, их искупительная жертва, в нем отблеск земных греховых страстей и воли человека к очищению и бесспорочной жизни.

Вот так, склонившись над спящей женой и сыном, я могу бесконечно стоять, наблюдая, как сны перебирают жилочки и мелкие мускулы на их лицах. Но, видимо, и я магнетически, как некий сигнал, дистанционно управляющий чувствами моих близких, действую на них. Ресницы у Стеллы дрогнули, не открывая глаз, она, скорее инстинктивно, нежели осмысленно, поправила ворот халата и сказала:

— Ставь сковородку, я сейчас приду.

Не верю я в любовь с первого взгляда, в случайность встреч и вообще, как сказал какой-то писатель, возможна ли любовь с изобретением книгопечатания? Я от себя добавлю — и телевидения. Все варианты любовного поведения и повадок уже рассмотрены на экране, а все лирические реплики произносились в театре и на радио. И тем не менее, как бы это ни называть, но Бог не случайно сводит двух людей воедино, и пусть никого не смущает, что вроде даже с детства жили они на одной лестничной площадке. Значит, это было предопределено при их рождении. Бывает, что иногда промысел долго подталкивает двух людей друг к другу чуть ли не из разных частей света, а иногда, бродя друг возле друга, люди не могут распознать знак, который посыпает им судьба.

Кто же мог предположить, что Стелла, моя однокурсница, станет моей женой? Этому, казалось, противостояло все, в конце концов и на первом и на последнем курсах я чувствовал себя рядом с нею мальчишкой. Конечно, и я с первого почти курса вел плотную личную и сексуальную жизнь. За пределами наших университетских аудиторий с исписанными и изрезанными столами и у меня были разнообразные

романчики, которые не всегда были бескорыстны. Я вообще в отношении молодости и плоти считаю, что мужчина ничем не отличается от женщины и, как она, имеет право подторговывать собственным и — подчеркиваю — принадлежащим только ему имуществом, даже если это имущество его собственное тело и психика. Рынок он и есть рынок, значит, в принципе нет вещей, за которые не смогли бы тебе предложить подходящую цену. Кстати, и с Актрисой именно в это время у меня начался скаковой сезон, и первые наметки специфических отношений с моими по-юношескими очень обобщенным либидо сверстниками, отношения, которые так увлекательно реализовались в инциденте с будущим Отцом подмосковного города; все это тоже студенческая пора. Но Стелла, казалось, лишь забегавшая к нам в университет на курс, чтобы молниеносно сдать экзамены «на отлично», уже тогда казалась мне взрослой, живущей в таком плотном и интенсивном мире, до которого мне и не дотягнуть. Она была взрослой. Вообще, мне кажется, это сорт женщин, которые взрослье с десяти лет, в отличие от сорта мужчин, которые взрослеют к пятидесяти. Стелла была взрослой от рождения, и я делал над собой усилия, когда в студенческие годы называл ее на «ты».

На факультете о ней ходили разные слухи. Вообще слухи зависят от ракурса, взгляда на жизнь окружающих. Старое, боевое слово «б...» или дочь лексикона нашей замечательной перестройки — «путана» — были не из самых сильных выражений, которыми наши завистливые девочки и наши вожделевшие маленькие обменивались, характеризуя свою подругу. Нет, меня все-таки всегда восхищало раннее созревание лицемерия! О, этот зеленый виноград, свешивающийся из-за забора сада! Стелла, когда появилась на факультете, была ровна и дружелюбна со всеми. Она никогда не вынет в коридоре из сумочки пакетик жвачки или сигарету, не угостив всех. Она, не задумываясь, передаст шпаргалку на экзамене или даже сама напишет товарищу ответ. У нее без разговоров и чаще всего без отдачи можно было перехватить до стипухи. При этом она не укоряла, не унижала просящего, просто открывала сумочку и доставала бумажку. Казалось, она не занималась, потому что ее никто не видел ни в библиотеке с книжкой в руках, ни на консультациях. Она посещала лишь минимум занятий и лекций и тем не менее всегда легко и непринужденно, как высоких кровей скаковая лошадь, брала с первого захода любые препятствия. И самое важное, — девица откуда-то из Тмутаракани, из небогатой, по слухам, семьи; женившись на ней, я, естественно, кое-что уточнил: мать медсестра, отец шофер, живут в райцентре на Кубани, правда, родню — до смерти и похорон Стеллы, когда приезжал ее брат, не остался на поминки, — родню эту я не видел, здесь существовала какая-то, подозреваю, дикая семейная тайна, — так вот, девица из Тмутаракани в общежитии не проживала, а снимала квартиру. Служила в зарубежной фирме? Состояла у кого-то на содержании? Демонстрировала моды? Работала по гостиницам с иностранным контингентом? Сотрудничала с КГБ? По крайней мере, жила во взрослом, серьезном, опасном мире, но очень обеспеченной жизнью. Я один раз, подходя к факультету, увидел, метров за триста, — обернулся и увидел, как остановилась, вспыхнув на снегу отблесками фонарей, огромная лакированная машина, и из нее, из задней дверцы, вышла, кутаясь в мех, Стелла, и машина сразу рванула, проскочив мимо меня. Кто в ней был, в предутренней зимней

темноте я не разглядел, мелькнули лишь две зажженные сигареты. Охрана? Два, на сменку, любовника? Эта длинноногая студенточка, еле пахнущая дорогими духами, казалось, принадлежала к иному, недосыпаемому миру, и значит, к этому миру вожделеет?

А, собственно, как возникает любовь? Как образуются те немыслимые связи, которые начинают казаться дороже себя и всего мира и которые невозможно разорвать? Все это не укладывается ни в понятие физиологии, ни в смутный базис духовного, ни в их диалектические смеси. Это все-таки, по моему мнению, если не божественное, то иррациональное. По крайней мере, я не верю в любовь с первого взгляда, потому что ни ясноликий облик предмета, ни его походка, ни его голос не могут сразу взлелеять чувства, которые называют любовью. Всего этого мало, хотя, в порядке исключения, как говорили советские бюрократы, такое возможно. Любовь, как грибница ком почвы, пронизывает все существо человека. И я не открою тайны, если скажу: большинство людей умирают, так и не узнав любви, признавая за нее долг, семью, привычку, сообщничество или сексуальные волнения. Для меня всегда было загадкой, что есть Бог, ибо Он мог родиться только из любви. Значит, сначала была любовь?

Если кто-нибудь думает — эротический или порнобизнес делается без плана, тот глубоко заблуждается. У нас с Димой еще не выходило ни одного номера, а уже был готов план на три или четыре года вперед. Рынок, конечно, полагали мы, у нас скромный, но надо добиваться «своего», решили мы сразу, хоть и специфического читателя. Добиваться регулярной подписки. Втайне, не высказывая этого никому, мы нафантализировали, так как мы одни из первых пришли на этот рынок, организовать что-либо вроде империи сексуальной прессы. Некий «Плейбой». Русский отважный секс. И уже здесь, когда мы выходили лишь на скромный еженедельник, мы тщательнейшим образом должны были следить, чтобы в будущем не повторяться. Сегодня голая женщина, завтра, хоть и другая, голая женщина, сегодня хорошо аргументированный мальчик, завтра тоже славно аргументированный. Всего этого мало. Фотография должна соотноситься с приключением духа. С какой-нибудь увлекательной и жгучей историей, которую читатель мог бы прикинуть к себе и своему возрасту. Не надо отмечать и то, размышляли мы с Димой, что отдельные пожилые мудрецы где-нибудь за книжной полкой или под холодильником будут устраивать захоронки, куда начнут стопочкой складывать еженедельник. Для того, чтобы со временем оживлять свое эротическое чувство, держа себя в состоянии боевой готовности, либо вспоминать, вожделея, блаженные минуты молодости. И разве приятно будет молодым и старым джентльменам, если они найдут внутреннее однообразие и монотонность переживаний, самоповтор в наших материалах? Поэтому мы сначала вспомнили, естественно, заглядывая и в «женскую» и в «мужскую» секспатологию, в учебники судебной медицины, в гости к — тогда это только появлялось в прекрасных переводах Ивана Карабутенко — дядюшке маркизу де Саду и к дядюшке Мазоху с его приятельницей «Венерой в мехах» и к другим их родственникам и родственницам, отыскивая адреса не по каталогу в бывшей Государственной Ленинской, ныне Государственной Российской библиотеке, а скорее интуитивно, по запаху у любителей (руины

дореволюционных тиражей) или у предприимчивых молодых переводчиков, втихомолку и на свой страх и риск готовящихся к экспансии чувственной литературы; итак, сначала мы вспомнили все, что только из видового разнообразия можно было вспомнить, а уж потом составили твердый график центральных материалов на почти все будущие номера: садизм, нарциссизм, гомосексуализм, лесбийская любовь и тому подобная взрослуому нормальному человеку уже наскучившая чепуха. Но в свободном обществе нет чепухи, все, даже тайные интересы населения, должны быть обсуждены.

Мы готовили с Димой сразу несколько первых номеров. Мы полагали, что первое время, когда дело только пойдет, нам будет некогда заниматься текущей работой, а придется сосредоточиться на рекламе, распространении, даже взяточке, страховке от рэкета и т.д., а потому первые пять-шесть номеров должны быть полностью отработаны: снимки, тексты, заголовки, якобы объявления (все эти объявления о том, что молодая женщина ищет серьезного покровителя, естественно, тоже были придуманы вместе с адресами и номерами почтовых ящиков) и т.д. — бери пакет и неси в типографию. И вот в плане второго номера у нас и стоял репортаж с условной темой: современная садомазохистка.

Я не буду томить возможного читателя или даже своего врача организацией сюжета нашей со Стеллой встречи. Если кто-нибудь прочтет эти строки и они не останутся неким свидетельством в моей истории болезни, то этот читатель уж из двух-трех предыдущих страниц поймет, догадается, как эта встреча состоится. И здесь можно было бы петлять, пугать следы в соответствии с каноном беллетристики, но в жизни и в литературе все происходит проще и по сути случайнее. В мастерскую, где я сидел со своими бумажками и ждал Диму, который должен был привести какую-то свою знакомую фигурантку, какую-то самодеятельную фотомодель на роль молодой садомазохистки, пришел хозяин и мой компаньон Дима, а с ним пришла Стелла. Я, естественно, обомпал.

Она будто даже и не удивилась, увидев меня. Ни смущения, никаких восхищений, хотя после окончания университета она не видела меня уже года два. Будто мы только вчера писали с нею контрольную работу по стилистике.

— Здравствуй, Коля, — и подала руку.
— Здравствуй, Стелла! Как ты живешь?

— А как все, верчуясь.

Вспоминая это первое после перерыва наше со Стеллой свидание — пусть простят мне это нелепое, по мнению разных литературных снобов, сравнение — я постоянно вспоминаю Татьяну из «Евгения Онегина» и всякие слова и выражения из предпоследней, кажется, главы. «Она была нетороплива». Не помню дословно всей цитаты, но там было: «без притязания на успех», «не суетлива». Может быть, все настоящие женщины, которые нам нравятся, немножко одинаковы?

А потом быстро и по-деловому, совершенно не стесняясь друг друга, и в этом в первую очередь была заслуга Стеллы, договорились о том, что нам было нужно. Дима очень точно формулировал тематику «картинок», почти по-научному определяя позы и их характер, Стелла на таком же языке ему отвечала, не тушуясь, но и не ведя себя нагло. Решили и с оплатой. Стелла назвала сумму, Дима назвал свою. Сошлись на средней. Все это напоминало деловые переговоры, как я их видел в кино и по телевидению.

— Но у меня есть условие, — сказала Стелла.

— Что ты придумала на этот раз?

— Береженого и Бог бережет. — Стелла покопалась в своей довольно вместительной сумочке, как я потом узнал, это была целая костюмерная (из известной мере легко, быстро и малыми средствами менять внешность я научился у Стеллы), что-то там отыскала, потом несколько сначала не понятых мною жестов — и вот уже она сидит в белокуром, коротко стриженном, под панка, паричке и с выпяченной вперед нижней губой. Какая-то резинка у нее для этого была под губу или специальная подкладка. Но лицо от этих манипуляций у нее мгновенно изменилось. Уже не милая, достаточно мягкая и приветливая женщина сидела перед нами, а маленькая, злая и самоуверенная оса.

— Ну, ты даешь, Стелла!

— Даю только за деньги, — не выходя из роли, отрыгнулась моя университетская подруга. — Ты наезжаешь на меня?

Потом Дима вытащил ящик с нашим необходимым для работы реквизитом. Здесь были «сексуальные игрушки» — пластмассовые мужские половые члены разных размеров (изделия исключительно пока импортные), кожаные трусики, набедренные повязки, бюстгалтеры, ремешки с заклепками, резиновые дубинки, ошейники, декоративные цепи, имеющие вид настоящих, наручники, семихвостые плетки, стеки, пучок розог и тому подобное барабан для импотентов. Стелла покопалась в этом гнусном старье, отложила то, что ей показалось необходимым, и в этот момент внизу, на первом этаже, раздался звонок.

— Это твой партнер, — пояснил Дима, обращаясь к Стелле, — если тебе не понравится, вызовем другого.

— Я девка покладистая, — сказала Стелла.

Через минуту Дима ввел в мастерскую малого лет тридцати с покатыми плечами, полноватого, лысющего блондина в ковбойке. Некоторое выражение идиотизма светилось на его лице.

— Вот эта баба, что ли, меня бить будет? — сказал, входя, блондин.

— Эта, эта, — дружелюбно, как маленькому про конфетку, ответил Дима. Дима рядом с крепышом-блондином казался щепочкой. Блондин прищекнул языкком. Видимо, это означало у него выражение восторга.

— Иди, дружок, — продолжал Дима, — раздевайся вон там, за ширмочкой.

— Ну, хватит, мальчики, — сказала Стелла, проводив взглядом радостно затрусившего идиота, — пора начинать работать. Отвернитесь, я приведу себя в порядок.

Через пять минут Дима включил свет. Если кто-нибудь и остался разочарован, то это рыхлый голый блондин. Стелла работала безукоризненно, за каждым ее движением чувствовалась или огромная школа, или природная пластиность и выразительность. Диме удалось снимать почти без дублей. Я бы даже сказал, что я редко встречал такое понимание между фотографом и моделью. Они чувствовали друг друга без слов. Дима еще только начинал рассказывать, что он хочет, а Стелла уже принимала нужную позу. Она яростно взмахивала плеткой, на лице у блондина разливалась улыбка счастья, звучал щелчок затвора, но плетка почему-то фиксированно стопорила в одном миллиметре от жаждущей кожи. Бедный, так до конца и не вкусивший наслажденье блондин! Стелле, казалось, была доступна вся гамма чувств, особенно ценных в порносъемках: вульгарность, страсть,

ярость, похотливость, надменность, привлекательность, гадливость, бесстыдство и мечтательность. В одно мгновенье она превращалась из похотливой самки в надменную владычицу. Из яростной «хозяйки» в тихую покорную рабыню. Это был высший класс работы, за которым, в общем-то, стояли и культура, и знания, и природная пьянящая талантливость.

Мне совершенно не захотелось в тот момент Стеллу как женщину, и было ли у нее что-либо с Димой, я не знаю. Но как ни странно, после того, как я вроде бы узнал ее тайну, мы стали дружить. Будто в университете чего-то не договорили, не допили вместе кофе, не докурили, сидя где-нибудь в запрещенном для курения месте на подоконнике. Она где-то вела свою жизнь, но иногда выныривала в моей. Один раз она позвонила мне в конце рабочего дня в газету и сказала, что поздно приедет ко мне ночевать. Я догадался, что она будет где-то поблизости, но не хочет оставаться там на ночь.

— Ты не найдешь мою общагу. Ты ведь никогда у меня не была.

— Найду. Давай адрес.

Она приехала около двенадцати. Я уже спал, но уступил ей свой диван, а сам лег на матрац на полу. Утром она исчезла до того, как я проснулся.

Иногда Стелла заскакивала к нам с Димой в мастерскую. Интересовалась, как у нас идут дела, давала даже очень дальние советы, рассказывала всякие щупливые небылицы о себе, бывало, что и брала кое-какую мелочевку в работу: заметочку к какой-нибудь секс-истории, письмушко от имени девочки — любительницы девочек или мальчика — любителя мальчиков. Здесь я еще раз, конечно, убедился в том, что женщины талантливее мужчин. И каждый раз эти заметочки оказывались сделанными с нервом и пониманием фактуры.

— Откуда ты все это знаешь, моя птичка? — говорил я Стелле.

— Я пользуюсь основами нашего с тобой общего высшего образования, — отвечала она.

Конечно, у нас в еженедельнике мы пользовались довольно универсальной формулой: как, дескать, н а с т о я щ и й мужчина увидит женщину, так тут же весь взъеживается, бьет копытом землю. А когда этого взъеживания много, это называется чувством, это называется любовью.

Моя любовь к Стелле (я не отделяю ее от любви к сыну) возникла из каких-то мелких товарищеских разговоров, дружеских поцелуев при встрече, коварной мысли — а почему бы не самоутвердиться и не получить кайф от этой игрушки богатых людей, а главное — от привыкания. Когда мы с нею впервые трахнулись в мастерской у Димы после обильных посиделок, здесь был секс, взаимная услуга, немножко дружбы. А может быть, в любом возрасте каждому мужчине нужна мать рядом, а Стелла мне ее заменила?

А тем временем — я долго вносил специфический взнос на владение собственным жилищем, и мой приятель по общежитию Василий Иванович Голубец уже стал мэром, — и вот квартира подоспела. Но даже мэр не смог перешагнуть некоторые советские законы. Праздник уничтожения советов мы, как известно, отпраздновали 3 октября 93 года, а мэр был, видимо, в отличие от своих коллег в крупных городах, законник. В общем, депутатская комиссия все это не пропускала, и был выдвинут такой аргумент: если бы я был женат, а жена бы еще оказалась ко всему беременной, вот тогда...

Я со смехом рассказал об этом Стелле и Диме. Дима, как юноша, выросший в достатке Больших

Домов, снабжаемых хозяйственным управлением ЦК КПСС — писал ли я уже, что его родители и дед тоже были очень крупными комиссарами и фотомастерами, — итак, Дима, наивный, живущий с детских лет в достатке и на общественных сливках, обо всех этих бытовых сложностях и представления не имел, а вот Стелла встрепенулась и почему-то задумалась. Я принялся искать какие-то альтернативные решения, но через денек Стелла пришла к нам в мастерскую и, когда мы остались одни, сказала:

— Слушай, голубчик, а почему бы мне не стать твоей женой?

Я обомлел.

— Фиктивной?

— Это как получится.

В моей голове сразу засветился костерок. Здесь не только и не столько прописка, квартира, Нора, но и новый, весьма обнадеживающий, статус. Женатый человек всегда несколько иное положение имеет в обществе. Это сейчас время развратилось и взгляды на жизнь стали попрошее. А еще несколько лет до этого холостой, беспартийный или некомсомолец вызывали подозрение. А, дескать, чем ты, милок, занимаешься в свободное от работы и политзанятий время? На какой сорт человеческой плоти уставилась твой пытливый глаз? Сам факт женитьбы для молодого человека в заинтересованных глазах окружающих стабилизирует к нему доверие, это как бы гарант для банка, под который можно приобрести заем. С другой стороны, что это за Стеллино «как получится»? Но вообще-то «получится», как я уже догадывался, могло произойти только на излете молодых дней с их энергичным до неразборчивости брожением соков. Я уже начал отдавать себе отчет в том, что психика моя была избалована примыканием к разнообразным сторонам жизни, поиском в себе, в зависимости от необходимости, и мужского, и женского начала. А не сложилось ли из меня уже что-то среднее?

Я признаюсь честно, эта игривая мысль беспокоила меня и раньше. Собственно говоря, волновала перспектива увидеть себя одиноким в возрасте моих родителей. Проблема: кто подаст последний стакан воды? Жизнь, конечно, стоит того, чтобы ее весело и разнообразно просадить и растрепеть в конце концов за бесцельно якобы прожитые годы, но если впереди вдруг замаячит ситуация «ребенок», «очаг», «семейные радости», почему, не тратя никаких усилий на поиски объекта гнездования и ухаживания, надо от этого привалившего счастья отказываться?

...Ах, какая в ту ночь была румяная и аппетитная картошка. Как она хрюстела на зубах и как исходил я слюной, пока ее жарили!

Стелла, конечно, тогда обрадовалась, что я успел на последнюю электричку, а не остался, как часто бывало, в мастерской у Дмитрия. Конечно, она уже давно и не задумывалась над тем, с кем я провожу время в Москве и какие произвожу эксперименты. Женщина безошибочно чувствует, когда ей есть смысл волноваться за своего мужа, самца, отца ее ребенка и добытчика, и когда эти большие концерты ревности лишь некое пленительное шоу, приятно будоражащее нервы и ей и ее спутнику. Ничего не поделаешь, мы оба, начавшие, как одинокие охотники, отстреливающие приятную добычу, где бы и в каком обличье она ни обитала, превратились в серьезную и дружную пару волков, воспитывающих своего лобастого волчонка и потому влекущих в свою нору все, что только можно было добыть разбоем. Страсть к познанию резервов и возможностей человеческого тела и допустимых кренов его психики у меня про-

пала, отошли в сторону все эти опасные, хотя и приятные содрогания собственного похитивого тела! Еще какую-нибудь заразу и СПИД принесешь в свою семью. Время заячих утех закончилось, когда еще сначала через три дня ты прислушиваешься к работе своего организма, а потом через три недели оглядываешь — не выступило ли где коварное, как ссадинка, пятнышко, жесткое на ощупь. Насколько в целом приятнее и глубинно сладки тихие беседы со Стеллой, или вдруг туманящая глаза, поднимающаяся волна любви к себе и к своим возможностям, и в ответ твоей волне другой прилив нежности и ее вдруг влажно замерцающие, запульсировавшие глаза, и отмель отлива, обнажившая быстро сохнуший песок, на котором два, как при их создании Богом, нагих и невинных тела. И потом говорить, говорить, чувствуя, как переливаешься в чужую душу, и принимая ее вздохи и мысли в свою: совмещение судеб или два русла, слитые в одно?

Со сна Стелла потянулась ко мне, но вдруг, будто почувствовав, что мать отдаляется от него — инстинкт или некий датчик на постоянную материнского тепла как среде обитания и температуры пищи, — захныкал, закапризничал Саша, булочка, червячок!

— Наверное, его пора кормить?

— Я быстро, — потянувшись к сыну, сказала Стелла, и одна рука принялась щупать малыша: сухой ли, а другая взялась за ворот теплого халата. Куда же девались эти черные чулочки, кружевные лифчики, прозрачные, так кружася голову трусики? Все свело к простенькой и всепобеждающей функции материнства: чтобы не застудиться, не подхватить мастита, не заболеть, чтобы не заразить ребенка. — Я покормлю, а ты управляйся сам.

У меня, с юности жившего по интернатам, в полевых условиях, по общежитиям, есть навык к готовке. И вообще мужчины готовят лучше женщин, потому что занимаются этим редко. Для мужчины, особенно если черновая работа сделана чужими руками, готовка — это праздник, хотя ты и валишься с ног и устал как собака. Перемена деятельности, как считали физиолог Павлов и молодой Ленин, всегда отдых. А день сегодня был дикий: плохая и тревожная ночь, потому что накануне пришлось писать большой репортаж для патриотической газеты из Подмосковья. Репортаж я назвал «Как это начиналось» и, честно говоря, когда я его писал, я полагал, что режим уже заканчивает свои дни. Я очень хорошо тогда, в субботу, понимал революционеров в 17-м, их опьянение Победой, подъем чувств, ощущение, что жизнь-то наконец на переломе и дальше пойдет по-другому. О-ля-ля! В ночь с субботы на воскресенье я писал этот репортаж, утром отвозил (теперь уже ясно, что газета или не выйдет — это даже лучше, или разорится и гонорара не заплатят), в полдень испугался — появились новые телевизионные известия о текущих событиях — в полдень испугался того, что написал, и звонил, чтобы на всякий случай сменили псевдоним на еще более от меня далекий — «мы не уходим в подполье, и незачем охранке облегчать работу»; под вечер занимался журналом, хотя какое здесь воспарение и объемный порнохудожественный секс, когда телевизор все время взвинчивал нервы, и ум уже перестал срабатывать, распределяя свое бедное тело и его интеллектуальные способности то в один побеждающий лагерь, то в другой. Вечером, когда стало вырубаться телевидение и невзоровские «наши» уже совсем было овладели телестудией и радио, в недрах президентских руководящих структур, наверное, вспоминали и тряс-

ли хозяйственников — где спрятаны, дескать, негодники, былие портреты и красные флаги, когда эти хозяйственники, как крысы, заверещали, резервируя билеты на зарубежные, срочно вылетавшие рейсы, — в это время я уже было пожалел, что позвонил в патриотическую подмосковную газету. Наше берет верх, газетный гонорарчик мне, видимо, заплатят. В этот момент подлинные, президентские «наши» отбили все Останкино, засрав асфальт (сужу по последующим откликам патриотической прессы, доходящим и до густонаселенных палат медицинского учебного заведения) кровью и стрелямы гильзами, раздался в мастерской телефонный звонок от Стасика с предложением прийти завтра на прямой эфир на Краснопресненский мост. Вот так! Ура! — чуть не закричал я, ведь Стасик знает и чует своим маленьким, как у морской свинки, носиком лучше, чем любое информационное агентство, и уж лучше, чем так называемые политики вроде этих Жириновских и Зюгановых. Я сразу согласился прийти на эфир и уже плотно уселился у экрана, чтобы наблюдать, впитывая душой, — так, или схоже, наверное, виртуозокалист или премьер драматический артист настраивают перед представлением свой психический аппарат — чтобы впитывать, улавливать нюансы, весь комплекс современной политической проблемы. Смотрел всю ночь. Видел и выступление Гайдара, так мужественно призывавшего всех идти на защиту демократии, собственности, нажитого за время перестройки и хозяйственной разрухи богатства, и выступление богини современного интеллектуализма, тоже призывавшей, и других деятелей, прибывших на телевизионный пир — я-то уже это понимал — победителей. Впитывал, впитывал, впитывал. Потом очень насыщенное утро на мосту, сбор материалов, переживание — это каждый путь, которыми, как я уже сказал, выстлана вся наша жизнь — относительно уже появившейся у меня в виде эротического еженедельного журнала собственности, сам репортаж, завершение текущих дел по номеру — и вот я здесь, дома!

Я повторюсь в утверждении, что мужчины хорошо готовят, но репертуар еще более, чем у женщин, ограничен. Здесь, скорее, вкусные, нежели полезные блюда, если к полезным отнести основные блюда домашней готовки: каши, супы. У мужчин все более увлекательно и денежно емче: шашлык, плов, какая-нибудь грандиозная яичница с грудинкой, луком и помидорами. Основа мужской готовки проста: хорошее мясо и вообще хороший продукт трудно испортить, если вдоволь класть масло... и все в том же духе. Тезис «кашу маслом не испортишь» — это про нас. У меня в моем репертуаре, как говорят артисты, или в меню, как повара или официанты, два блюда: мясо «по-литаврински» — Литаврин, это, напоминаю, моя фамилия, и «Большая, королевская» — это мое название, на которое я претендую и которое только по недоразумению еще не охраняется законом, моя «яичница» — жареная картошка с яйцом и луком.

Картошка, в принципе, и есть картошка. Моя, «королевская», отличается немыслимым вкусом и особенностью технологии приготовления: она сразу жарилась на трех сковородках, и практически ее можно было даже назвать каким-нибудь «овошным омлетом», потому что одновременно со сковородками еще калилась духовка. В нее ставилось уже готовое блюдо на пять минут — для шлифовки.

Итак, на одной сковородке в обильном растительном масле, аккуратно нарезанная «шпалами», жарилась до коричневого блеска — но не сушилась — sic! — обычная картошка. На второй румянились ломти-

ки хорошего мясного шпига, на третьей томились две-три головки мелко нацинкованного лука. Все это, естественно, в соответствии со сроками готовки. Поспеть все три компонента должны были вместе. Все румяное, мягкое, с корочкой, но не пересушенное, обливается взбитыми в стакане двумя-тремя яйцами, перемешивается и помещается в духовку. Все. Сейчас я пишу, еще поикавая от казенной каши, и весы рот у меня полон слюны: безнаказанно нельзя вспомнить ничто!

Тогда — я вновь возвращаюсь в чудовищно памятный для меня октябрь, — нет, ничто тогда не предвещало новостей. Стояла густая, сладостная после всех трудов и чудовищного напряжения накануне ночь. Мария грудью кормила младенца, а Иосиф, в одних трусах, повязавшись, чтобы не ошпариться брызгами масла, фартуком, жарил картошку. Иосиф жарил, стоя как бы одной ногой в кухне, а другой в комнате. Вернее, я все время вбегал в комнату и, вспоминая, выкладывал Стелле какуюнибудь подробность из своей двухдневной московской одинокой жизни. Стелла была не только немножко старше меня, но и намного умнее. Взрослостью и серьезностью женского ума. Потом она не как я, на бегу, чтобы не запутаться, не называть одного политика чужим именем, чтобы быть в курсе конъюнктуры, а именно следила за политикой, основательно, прослеживая истоки и эволюцию, наблюдала наших политических вождей, депутатов, функционеров и прочих людей безмерных желаний и власти. «Откуда ты все знаешь?» — спрашивал я иногда у своей подруги. «Этому всему учили в университете». — «Чему же тогда, думаю, учился в университете я?» Я выкрикиваю подробности, особенно Стеллу интересует, «как это началось», потому что именно субботу, когда физически схватились «наши» и «ихи», телевидение почему-то почти не показало. Чего-то я быстро бормочу про субботу, не переставая на ходу крошить лук, Стелла отмахивается: потом, сядем за стол, все расскажешь по-человечески с самого начала. Стелла кормит Сашеньку. Я и заскакиваю-то в комнату, чтобы еще и еще раз увидеть эту потрясающую картину. Каждый раз, естественно, возникает мыслишка: произведение твоего собственного гения!

Ничего за Сашенькой я пока не записываю, но чувствую и знаю, что пора бы завести дневничок и в него вносить все смешное. Еще нет полутора (к моменту действия, а не написания этих строк), а уже немыслимый хитрюга.

Сосет у мамы сисю с закрытыми глазами, но каждый раз, когда я вбегаю в комнату, приоткрывает один и с укоризной, с неудовольствием на меня смотрит: зачем бегаешь, чего мечешься, отчего мешаешь?

Это была тайная вечеря, потому что после нее гибель? Или праздник преломления хлебов? Но я точно знаю, что отсюда-то, из недр своей семьи, я не чувствовал и не ожидал беды. И тем не менее, беда пришла: этот вечер после путча, когда телевизор на кухне раскалывался от новостей и политических известий, оказался для нас двоих последним. Сказать, что весь этот вечер живет у меня в памяти, значит лишь повторить литературную формулу. Он живее любых реальностей, которые окружают меня и которые не удосужились втесниться в мое воображение.

Все помню: и осеннюю ночь за окном, и запах картошки, и Стеллу, сидящую за столом в халате без лифчика. У нее после родов вдруг чудесно расцвела грудь. Ну что грудь, скажут, молочная железа. Но почему такое волнение испытываешь, рассматривая

совершенные формы этого органа? Почему, слушая ее вопросы и рассказы, все время работая вилкой, нанизывая картошку и жареные кусочки сала, я не могу отвести взгляда от распахнутого халата? Это секулярное чувство, любви или более сложная психологическая субстанция: орган, вскормивший и дающий силы моему — подчеркиваю эгоистическое «мое» — ребенку. Интровертное здесь начало или экстравертное? Вот в этом-то и фокус, я все время в первую очередь пытаю себя: эгоистическое, себялюбие или не чужое и стихии человеческого, альтруистическое начало? Что есть истина? Что есть человек? Властвует ли грубое и материальное, удобное и сладкое над его сегодняшней, закаленной в куплях и предательствах душой?

Забуду ли я теперь это ее чуть оплывшее лицо, лицо моей жены, моей подруги, женщины, заменившей мне мать, моего последнего прибывающего и матери моего ребенка? Встречу ли я еще более содержательного и так понимающего мои вопросы собеседника? И почему сейчас так бесконечна моя тоска?

Жизнь, литература, журналистика и любовь состоят только из одних вопросов. Плоские ответы штампует в шутовском порядке рок.

Я так и запомнил. Она сидит напротив меня, по-клевывая и подгребая со сковородки мне на тарелку, она, как служанка или японка-гейша, подливает мне в стакан из бутылки янтарное вино — сама не пьет, даже не омочила губы, кормит Сашеньку, — вылизывает из консервной банки ножом куски ветчины, пододвигает хлеб, зеленый лук — это прислуживание или ритуал старшинства, подчинения и любви? — и слушает меня. О, как необходимо мужчине, чтобы кто-то слушал его хвастливую, бесвязную хмельную болтовню. Герой, король репортажа, бесстрашный и предприимчивый гений информации!

Я говорю, Стелла слушает. Вдруг охнет и вздохнет Сашенька, мы останавливаемся; «Свобода» из Мюнхена чуть-чуть мурлычет в радиоприемнике; с выключенным звуком мерцает на холодильнике телек.

— А чему ты, собственно говоря, радуешься? — внезапно итожит Стелла.

— Но ведь ты демократка? — говорю я ей.

— Это все одно. Содержание власти определяет не название, а хлеб на столе, атмосфера на улице и нравственный императив правительства. Ты еще помнишь, что такое «императив»?

— «Удивляюсь звездам над головой и нравственному закону в сердце». Так?

— Не так, — поправляет меня Стелла. — Закон современной прессы — цитировать приблизительно.

И она произносит точно цитату из Канта:

— «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И то и другое мне нет надобности искать и только предполагать как нечто окутанное мраком или лежащее за пределом моего кругозора; я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования».

И как строгая учительница, дабы не смутить ученика категоричностью суждений, вдруг уже мягко, как бы оставляя его в разговоре за старшего, спрашивает: «Но все-таки, как это формально началось? Ты же там, говоришь, был. Сейчас вокруг этих событий нагромоздятся следствий и эпизодов и постараются забыть «малость», с чего это началось. Вот этого не надо забывать. Это ты обязательно должен записать». И я начинаю рассказывать ей о субботе 2-го

октября. Все правильно: 2-го утром я уехал из своего Подмосковья, со Стелой мы не виделись, а только перезванивались три дня. А как быстро нынче совершаются революции и происходят путчи!

Глава пятая

Мне в этот почти праздничный вечер, конечно, хотелось бы еще раз посмотреть на танки, выстрели, мост — на все то, что я сегодня видел в натуре, но что на видеопленке, записанное Стелой, хранилось в облагороженном, так сказать, для рафинированных коллег с телевидения, виде; но Стелла в своей якобы мягкой и нежной манере, как человек, следящий за политикой, требовала от меня другого рассказа — первый день, начало всей конфронтации, т.е. инцидента на Смоленской площади, свидетелем которого я невольно оказался. Я уже предвкушал, как, совсем убрав звук, чтобы не потревожить Сашеньку, я снова увижу эти увлекательные, похожие на съемки откуда-нибудь из Африки или Камбоджи или даже кадры из приключенческих лент, сюжеты со взрывами и дымом из окон, я даже — безуспешно, конечно, надеялся на то, что разгляжу и себя среди зрителей и болельщиков, но пришлося подчиниться жене. А может быть, все произошло и не так, наш ночной разговор, скоростной от опьянения друг другом, как мед, внезапно соскользнул на субботний день 2 октября и пошел, пошел... Я ведь тоже об этом дне еще никому не рассказывал и нигде не писал. Но разве мы, журналисты и душевые больные — мой, например, лечащий врач приветствует, чтобы я занимался творчеством, потому как он считает, что это разгружает и освобождает от «шлаков» психику, — итак, разве мы все, рассказывая разные истории, только информируем друг друга — нет, мы еще каемся, растворяем наш общий грех в разговорах. Человек не должен быть одинок и человек не должен быть молчалив. Может быть, я просто изложением этого эпизода открываю самые ужасные страшны своего повествования? И все равно, мне необходимо написать, замкнуть кольцо: так сказать, вписать начало и конец.

Тогда обозначим дату. Я вообще-то с трудом запоминаю даты, цифры, не гуманитария это дело — запоминать то, что следует знать назубок бухгалтеру, но тут все слишком вопиет, приобретает не только символический характер, но и царапает и скрущает мою собственную жизнь, поэтому дата: 2 октября. Вообще-то журналист, несмотря на всю свою нелюбовь к математике, обязан помнить цифры и быть хорошо скординированным во времени и в пространстве. До этой даты были детские шалости, крокетный матч между патриотами и демократами: указы, приказы, непослушание. Но в субботу все это, наконец, случилось: капнула первая кровь на асфальт. Очень алая, очень яркая. Я один из очень немногих это видел. И в этом смысле моя покойная жена Стелла права — я летописец и обязан записать свои мемуары, ибо журналист со временем всегда превращает мемуары в чистые, свободные от запахов деньги.

В обществе сложилось мнение, что журналисты — народ обеспеченный. По сравнению с кем? По сравнению с бомжем и дворником? В основном, мы нищие, которые мечтают стать богатыми. Или мы, может быть, пишем исключительно из-за стремления выразиться? Из-за желания прокукарекать свое слово? Дескать, откукареали, а потом получили. В этом смысле совершенно классик А.С.Пушкин не прав: «не продается вдохновенье». Каждый из нас сначала прикидывает, насколько потянет статья, ин-

формация или репортаж, а уж потом именно на эту сумму, столько сколько надо, и возникает вдохновение. Строго дозировано и строго оплачено. И, по возможности, деньги вперед.

Когда девочки приходят к нам с Димой в студию и с помощью своих нежных писек и трусиков вытв�ают нечто несусветное, что потом мы тиражируем и продаем во всех вокзальных подворотнях нашей бурно капитализирующейся России и ближнего зарубежья, включая цивилизованные страны Прибалтики, горячо темпераментные предгорья Кавказа и цивилизовавшиеся за годы проклятой советской власти и ныне так полюбившие «мерседесы» и импортную жвачку страны Средней Азии, так вот, когда девочки работают, а зачастую еще и с хорошенъими и крепенъими мальчиками, то ведь они испытывают не только неудобства, но иногда и некоторый сексуальный восторг. Иной раз уже и свет отключили, и пленки понесли в проявку, а парочка еще дергается. Но разве девочки при этом не взимают свой гонорар, не берут чистоганом за счастье быть обессмерченными в своей интимной части и еще получить порцию сладкого, как мороженое фирмы «Баскин-Робинс», кайфа.

А тогда спрашивается, почему журналист должен работать лишь за так называемую славу? За славу работают бездарные дилетанты. Но журналист еще и ниш, как собака. Он вечно ищет приработков, и, образно выражаясь, не переменяя трусики на свежие, и — это выражение наших девочек-моделей и манекенщиц — не подмывшись, скачет из койки с одной красавицей в другую.

Я в этом смысле, как уже говорил, не отличаюсь от всех, поэтому, погруженный в совершенно новое дело эротического бизнеса, я тем не менее сотрудничаю с патриотической прессой (под псевдонимом и без), с прессой демократической, работаю на так называемом деполитизированном государственном радио и считаю за честь, когда меня приглашают поработать на телевидение. Телевидение — как первая красавица, его печать на журналисте абсолютна, это знак качества. В конце концов легендарный пародист Александр Иванов стал тем, кто он есть, и ходит в смокинге не благодаря своему весьма вторичному, но прилежному таланту, а исключительно в силу неуемного отсвечивания на телевидении. Это я к тому, что когда совсем независимое ни от кого телевидение предложило мне вместе с их информационной программой провести репортаж с улицы Арбат, где мэр столицы Лужков, работая на контрастах к нашему суровому времени с его противостоянием парламента и пр. — жизнь все равно идет! — устроил развеселый праздник, посвященный 500-летию этой старинной улицы, — я, естественно, согласился.

Сейчас, конечно, никого по-настоящему не интересует, какая была погода, когда оторвали башку возмутителю спокойствия Стеньке Разину, и чего там случилось в природе 25 октября 1917 года. Только историки копаются в окаменелом деръме, переписывая в соответствии с требованиями времени эту самую историю с заду наперед. Я полагаю, что и наше время через какой-то период будет выглядеть неоднозначно, а в соответствии с заданием инстанций и свежей модой атакующей власти. Но тем не менее, варьируя главное, историки готовы глотку друг другу перегрызть из-за деталей. А какого фасона и качества исподнее было на Иване Грозном в день его свадьбы с Марией Темрюковной? Только реальные, точные и правдивые детали делают удобоваримой любую ложь. Так вот, исключительно для историков:

день 2 октября был холодный, ветреный, утро даже солнечное. За день не рукаешь, потому что когда к его середине перед баррикадой на Садовом — видел! видел! видел! — запылали костры со смерчающим пламенем, то тут ориентироваться в состоянии прозрачности и легучести облаков стало трудно.

Я люблю нашего Президента! Когда злые старушки и нетерпеливый, прокоммунистически настроенный молодняк начинают ругаться, обвиняя его в собственных неудачах, я говорю: а кто взамен? А назовете ли вы мне, как сейчас любят говорить, альтернативу? И почему, спрашивается, интеллигентно не любить власть и правительство? А если я люблю? Конечно, люблю с оговорками, с замечаниями. Разве я, свободный журналист и издатель, видел от него что-либо плохое? За свободу надо платить. В конце концов, за удовольствие изображать мир без штампов надо быть готовым чем-то поступиться. А за надежду наконец-то разбогатеть! И теперь скажите, разве предыдущий тоталитарный режим предоставлял свободному и молодому человеку такую возможность? И только не вешайте мне на уши спагетти в виде бесплатного образования, медицинской помощи, социальных гарантий. Мне, молодому, не нужно никаких гарантий быть похороненному за государственный счет, а уж на свежий банан своему сыну я заработаю и сам. Я выбрал пепси, и этим все сказано. Но к чему это я все?

А к тому, что я с радостью взялся за телевизионный репортаж с Арбата, согласился по первому же телефонному звонку. И от кого? От «детского» телевидения. От какого-то Хрюши или Степашки. Это потому, что я такой мобильный, улыбчивый и непосредственный. Одетый в какой-нибудь легкий пиджачок, какую-нибудь легкую косовороточку ложнонародно-русского стиля, я буду объяснять писункам и другим собирателям фантиков об этом самом Арбате, кто на нем жил и как и кто проживает ныне. Традиционная ложь для узкого детского круга. А будет там, знал я заранее, с десяток, никак не меньше, телевизионных групп, потому что, как стало заранее известно, на празднике обязательно будет Президент.

Зачем скрывать, настоящий мужчина не может не восхищать. Его грудь, плечи, мощная фигура, лицо с непробиваемым выражением упрямства и самоуверенности. Символ он и есть символ, и ему совсем не обязательно владеть всякими интеллектуальными дамскими штучками, вести тары-бары по поводу общих человеческих ценностей. Разговаривает, и слава Богу. Сталин, например, был, как говорят и пишут, интеллектуал, все книжки прочел, все выходящие кино смотрел, и даже Художественный театр посещал, а какой, несмотря на эту самообразованность, был изверг. Мне лично от моего Президента достаточно его либерально-демократической проникновенности и восхитительного здоровья. Я влюблен, как мальчик, пылкой страсти полный! А здесь представлялся случай зацеловать милое лицо объективом кинокамеры, моим «Бетакомом», овладеть дорогим человеком, сделать его таким же беззащитным в собственном всевластном воображении — хоть с кашей ешь, — как я сам в руках и в игривом воображении наших мощных санитаров. Один, кстати, из них очень мне напоминает Президента в дни его футбольно-волейбольной юности.

Как и обычно — это только любитель и дилетант надеется на свое вдохновение, профессионал изучает предмет и разрабатывает тезисы, заранее придумывает фразы — как и обычно, я приехал на место своего нового преступления (этот мой сленг, пол-

ный самоиронии, означает место репортажа) пораньше, и даже совсем рано. От Киевского вокзала, куда довезла меня электричка из дома, я прошелся пешком по Бородинскому мосту, бросив мельком взгляд на возвышающуюся от меня слева сахарную голову Белого дома: грызется, дорогие, ну и продолжайте! Ничто тогда, казалось, не предвещало столь стремительного разворота событий. И я еще раз должен отметить настояще мужское качество нашего Президента: смелость и изобретательность. Заманить противника на непослушание, а потом — прихлопнуть. Но это все еще через два дня. Пока я шел по мосту, представляющему собой памятник русскому оружию и победе в войне 1812 года, невинный и не ведающий своей судьбы, как овечка. Утром было холодное, но ясное, солнечное. Возле гостиниц, стоящих напротив МИДа, уже началась обычная благовоспитанная тусовка. Подъезжали «мерседесы» и «вольво», лица кавказской национальности, выставив свои небритые, но такие с виду мужественные рожи, присматривали за порядком, бродили милые девушки с лынями от перекиси водорода волосами и с очаровательными непорочными лицами. Походки у них были исключительные: будто каждая держала сзади по две половинки арбуза и, как клоунесса, все время жонглировала ими. Я полюбовался на все эти картинки и двинулся дальше. Клоунессы в то утро меня не привлекали, хотя погладить такой арбузик и испытать некое сладко-мучительное давление внизу живота приятно, особенно утром, так сказать, для разминки.

Арбат в его устье перегораживала огромная эстрада, сложенная из железных — металлические трубы и зажимы — конструкций с проложенными на них щитами и парусящей, прошнурованной матерью. От МИДа до «Гастронома». Я деловито отметил: здесь, на эстраде, во второй части празднества начнется концерт. Первая часть — это Президент и его концерт — проходил вдоль улицы. У МИДа небольшой кучкой копошатся с красными флагами представители народа. Я вспоминаю, что здесь вроде должна собраться патриотическая демонстрация — чем больше для этого простого народа выходных дней, тем больше возможностей нарушать порядок и потому мой совет правительству: как можно меньше праздничных дней, надо организовывать субботники, воскресники, увеличивать рабочий день, чем больше работы, тем меньше беспорядка, — но ее вроде запретили или, скажем деликатно, «не разрешили».

Подходить ближе к этим вечно недовольным отщепенцам общества я не стал. Собственно говоря, их портрет разработан нашей прогрессивной прессой и хорошо, до деталей, известен. Здесь будут немолодые лица с сероватым от специфического питания и недостатков свежего воздуха цветом кожи. Все, наверное, обратили внимание, какие эти старики и старушки держат в переходах метро и возле вокзалов, стадионов и других людных мест в своих руках для продажи продукты. Здесь и пищевые концентраты из гуманитарной помощи, и всякие крабовые палочки, и банки югославской ветчины и китайских сосисок, которыми в свое время, по талонам и через распределители, они затарили свои шкафы, кладовые и другие укромные места. И теперь вопрос: почему они сами все это не едят? Почему манипулируют чувством жалости к ним у состоятельной части общества? Никогда я не поверю, что, продавая в метро какое-нибудь овсянное печенье, можно получить значительную прибыль. Значит? Значит, у них нет своего духовного мира, своих забот, и они устроили это демонстративное торжество ради собственного инте-



реса, чтобы кучковаться и порочить строй.

Столь же традиционен наверняка и внешний вид масовки, собравшейся у МИДа. С закрытыми глазами я вижу и этот серый цвет кожи, и рты с не приведенными в порядок зубами, а, как известно, дантиста, в отличие от других врачей, надо посещать регулярно. Неопрятность, выдаваемая за бедность, во всем. Стоптанные каблуки, нечищенные туфли, вышедшие из моды болоньевые куртки, спортивные, не по возрасту, вязаные шапочки, а главное, застарелый дух старости и прокисшего тела. (Кстати, позже я с удивлением обнаружил, что среди этих демонстрантов, тоскующих по масонским знакам серпа и молота, довольно много людей молодых и даже привлекательных. Уже во время конфронтации демонстрантов и омоновцев я видел, как некоторые юноши выбегали из своих сплоченных рядов и, я бы сказал даже, с античной мощью и грацией метали в «черепаху», выстроенную из алюминиевых омоновских щитов, булыжники и бутылки с зажигательной смесью. Вот тебе и старики.) В общем, я не придал кучке народа у МИДа никакого значения.

Атмосфера у магазина «Руслан» и на другой стороне от Смоленской к Бородинскому мосту, у бывшего магазина «Обувь» была более привлекательная. Здесь толпились, как бы выжидая ситуацию, рыцари сегодняшнего порядка, ОМОН, все как один, как богатыри, вышедшие из недр жизни. Вот это настоящие люди будущего. В каждом столько силы и молодой неразмышающей безнаказанности, что можно только пожелать человечеству в своем генетическом развитии идти от них. Моя вторая профессия издателя и специалиста по эротической литературе за-

ставила меня внимательно рассмотреть это сытое собрание мужественности. Вот где отбирать персонажей для нашего эротического еженедельника! Мысленно я раздел нескольких ребят, устроенных повыразительнее: большой шик. Глазки у меня заблестели от творческого волнения, я мысленно уже как бы воссоединял льняноволосых девушек от гостиницы «Белград» с этими бычками с алюминиевыми щитами в эротических сценах, но тут, видя мое мечтательное выражение, один особо крутой паренек,

которого я только что довольно бесцеремонно обшарил глазами, спросил: «А ты чего здесь делаешь, пидар гнойный?» Ну, что я на это мог ответить? Повернулся и без особой обиды, правда, все время чувствуя на себе любопытствующий взгляд, пошел через переход к Арбату: изучать натуру. Между нами говоря, я полагаю, что соблазнительный и крутой парень, так неэлегантно меня называвший, не был чужд соблазнов греха: чуть обычно проявляют не валенки, а свои, просвещенные.

Ах, Арбат! Когда-то совершенно справедливо воскликал замечательный поэт, одновременно воспевавший и комиссаров в пыльных шлемах. Я бы не называл это двоемыслием. В сознании любого прогрессивно настроенного интеллигента есть некие вариации и колебания. Мы, как крысы: учимся очень быстро и уже в своей интеллектуальной сфере мастерски отыскиваем выходы. Почему двоемыслие? У каждого из нас, распространенного между «как надо» и «кушать хочется», есть десятки мысленных вариантов ситуации. А уж ситуацию мы моделируем в зависимости от запросов рынка и величины оплаты. И в моих собственных планах «Ах, Арбат» стоял не только как объект сиюминутного телевидения.

Я буквально пулей пролетел по улице. По крайней мере, четыре точки для камеры детского вещания имелось. Город постарался и насыпал историческое пространство ряжеными. В самом начале улицы стояла какая-то тележка, запряженная конятой, на которой ряженый Пушкин то ли отвозит, то ли привозит Натали. Потом нравоучительный эпизод с двумя актерами: один из Вологды в Кострому, другой из Костромы в Вологду. Актеры, когда я с ними говорил, были чуть подсиненными осенним холодом, но твердо обещали до президентского обхода интеллектуальных позиций не сдавать. А дальше, еще ближе к истоку улицы, к ресторану «Прага», находилось Кафе поэтов. И здесь было несколько ряженых, замаскированных под Маяковского, Есенина, Блока. Среди этих подделок топталось еще несколько участников современных тусовок, выдающих себя за современный поэтический авангард. Во-первых, некто Слава Смикулин — огромный детина в очках, который хоть вроде и писал стихи, но был трус, пьяница и заодно спекулировал привозной икрой и рыбой. Другой был некто Женя Мурин, знаменитый своими кутежами и уже десять лет подающий надежды. А третий вшинок и подпевала Стасик Ярославский, человек убогой психики и, полагаю, чистой воды извращенец, потому что и в своих стихах, и в разговорах мог говорить только о примерах из женской и мужской патологии и о недавно разрешенном Боге. Я вообще подозреваю, что все они состояли друг с другом в содомской связи. Со всеми с ними я, как стало положено в светских кругах, расцеловался и пошел дальше разыскивать свою телевизионную группу.

Прежде чем я напишу о том, почему я так подробно излагаю эти ничего не значащие эпизоды, к которым в своем повествовании я никогда больше не вернусь, позволю себе остановиться и на альтернативных рассуждениях.

Весь этот трахтарабах с актерами, инсценировками, ряжеными, завывающими поэтами, весь этот праздник, который за счет налогоплатильщика устроила мэрия (она еще не разгромлена и разнесет ее лишь завтра) и который как символ истории и преемственности культуры собираются не без моего участия показать по телевидению, превратив в праздник для всех и вкрутив всем мозги о собственной культурности, по сути дела происходит на современном торжище. Праздник на торжище! Вот об этом — для альтернативной же, патриотической прессы, пока ни с кем не договорившись, ориентировано, вприкидку — я на всякий случай и думал. Я обычно один и тот же факт осмысливаю с разных политических сторон: если заказчику понадобится, я уже готов. В этом смысле журналист, независимо от пола, похож на женщину, которой не обязательно особое вдохновение: всегда готова к соитию, если под последним понимать ее боевое искусство.

Собственно говоря, именно на Арбате современная жизнь впервые продемонстрировала свое полное бесстыдство и предала лары предков. Мы все, расхожие обыватели, приходили и ахали: вчера читали поэты «антисоветские стихи», а сегодня уже торговцы продают ордена! Настоящий законодатель был не Кремль, а Арбат. Здесь, а не в Кремле начиналась революция. Поколение, выбравшее пепси, совершило невероятное не когда в Кремле требовало отмены бой статьи Конституции, делавшей компартию хозяйствкой положения, а когда сначала исподтишка, а потом в открытую торговало за туристский доллар генеральскими мундирами и шапками с красноармейскими эмблемами!

И вот эта самая нехитрая мыслишка прекрасно накладывалась на то шоу с переодеваниями, которое еще не началось. Здесь, кажется, есть зацепочка и статейка. Я уже встретился со своей телевизионной группой, переоделся в желтую с голубыми васильками косоворотку, и мы ждали только обожаемого Президента.

Скажите мне, кто-нибудь умеет постоянно не думать? Чтобы в единицу времени ни одной мысли, мыслишки, вопросика к себе? У меня постоянно в голове роятся какие-то мыслительные букашки. Причем, обычно я делаю одно, а думаю о другом. И вот тут вместо того, чтобы придумывать какие-то репризы и готовиться к встрече с Президентом, я почему-то, глядя на славную московскую улицу, всю уставленную немецкими, как мыльные шары, светильниками, принялся размышлять о собственности. Чего это меня повело на этот предмет? Моя собственная квартирка, которая требует расширения и которая пока заложена, потому что мы с Димой реставрируем мастерскую, где наша основная издательская база? Беглый взгляд на арбатские дома, в которых разместились уютные магазинчики на первых этажах и, наверное, славные апартаментики на этажах повыше? Или постоянная мысль: не успею! Все уже расхватили все, что только можно. Газеты пестрят объявлениями о продаже квартир и особняков, а где, собственно, мое? Не расхватывают ли все, пока я собираюсь? А может быть, мне так и не удастся никогда разбогатеть? Тогда зачем такая суeta в мыслях? Зачем двойная, тройная, четверная жизнь, всякие фантазии и интеллектуальные усилия, когда где-нибудь в палатке, в рабстве у лица кавказской национальности я заработаю во много раз больше? Может быть, я пропустил время, занятый своими журналистско-эротическими поделками, когда надо было выхвачивать что-то у госжизни и созидать свое богатство! О, какая тоска! Как хочется маленький домик в центре, отдельный подъезд и медную табличку с надписью: «Н.К. Литаврин». А у подъезда скромная, но дорогая машина «БМВ».

С этими пустопорожними размышлением я чуть не проворонил явление Президента. В самом начале Арбата, на манер аэростата, была надута и поставлена на якоря какая-то огромная рекламная бутылка. То ли «Смирновская», то ли «Абсолют», темная, неоквашенная. Вот оттуда-то, из-за этой своеобразной кулисы, появилась сначала, клубясь, свита, а в центре, как матка среди пчел, наш дорогой гарант! Боже мой, это как-нибудь счастливец вроде Евгения Киселева может задавать вопросы, сидеть рядом, впиваться взглядом в лицо и тихо переживать эту счастливую близость, а мне достается лишь промелькнуть рядом, лишь взглянуть на человека, который сделал меня свободным и сделает счастливым и богатым. Мне только запечатлеть на сетчатке глаза это монументальное, как у римского императора, лицо с двумя бегущими от носа складками, упрямый наклон головы на мощной, хорошо снабженной кровью шее, и знаменитую, волосок к волоску, с ровным, как по линейке куфера, пробором, прическу. Я вообще подозревал, перебирая в памяти мировых вождей последних эпох от Маркса до Тэтчер, что именно прическа, неповторимость шевелюры, чубчики, зачески, челочки, проборчики, локончики, лысины и кудряшки творят политического гения.

И вот, собственно, я только приготовился начать перед камерой весь свой репортаж, созерцать великого человека, как повивальная бабка, пестовать и помогать родиться своеобразной телевизионной правде о нем, как вдруг — так иногда внезапным поры-

вом ветра начинается гроза — чудовищное известие: в другом конце Арбата вовсю идет драка и битва омоновцев и демонстрантов.

Собственно, здесь я ничего не написал такого, чего бы не рассказал Стелле в нашу последнюю ночь. Ну, может быть, только чуть притушил подробности и меньше рассуждал, но все это было необходимо, чтобы по закону контраста понять произошедшее на другом конце Арбата.

Иногда я думаю: несмотря на все мое шалопайничество на журфаке, меня недаром учили. Вдруг вместо одного, другого, третьего во мне просыпается некто принципиально иной. Или покойный папочка начинает разглядывать мир через мои глаза своими командирскими очами? А может быть, они устроились вдвоем в моем зрачке, как возле открытого окна, опираясь на подоконник, папочка и мамочка, и вместе выглядывают и комментируют происходящее? Как я боюсь у себя этих психологических и воображенных причуд. Но надо согласиться, что-то со мною в тот момент случилось. Я же два или три часа назад видел у МИДа и обувного магазина в тех и других. Одни в цвете молодости и силы, а другие старые и беззубые. Молодые бьют старых?

Ожидаемая парадная съемка как бы сама по себе прекратилась. Все поняли, что веселенькая, ярмарочная передача с Арбата ни сегодня, ни в ближайшие дни в эфир не прокоччит. Телевизионная группа испарилась, мне даже некому оказалось сдать мою желтую русскую рубашку с вышитыми по воротнику и общлагам васильками. Впрочем, так же быстро, мне показалось, испарился и крутящийся пчелиный рой с хорошо причесанным человеком в качестве пчелиной матки в середине.

А дальше я Стелле рассказывал о том, какое впечатление произвела на меня эта драка между молодыми и старыми. Папочка и мамочка наблюдали это. Во-первых, жуткий грохот, когда я подбежал к эстраде, перегородившей старый Арбат. Сотни людей разбирали металлические леса, выхватывали железные палки и стучали ими по конструкции... Но самое главное, Смоленская площадь была пуста. У ее правом углу, как римская «черепаха» легионеров, стоял ОМОН, а перед «черепахой» другая сотня людей бросала в «черепаху» камни и металлические палки. Раздавались выстрелы, игрушечные среди грохота металла. И «черепаха» отступала. Вот это было удивительно. А потом мимо меня пронесли какого-то старика с окровавленным лицом.

Кто наблюдал вместо меня всю эту картину? Почему на какую-то минуту я вдруг остался совсем один, без двойников в сознании? Десятиклассник, приехавший на заставу к отцу на границу.

Но если быть честным, это продолжалось довольно недолго. Возле меня, а я уже переместился к метро «Смоленская», где была построена баррикада и откуда в случае чего можно было быстро нырнуть, как ни в чем не бывало, в метро, итак, возле меня вдруг раздался голос:

— Он их все-таки выманил...

— Кто он?

Я повернулся. Такие встречи бывают лишь в жизни, а не в романе. Даже в эти записки, которые мой врач еженедельно просматривает, вставлять неудобно: врач не поверит. Это был старый преподаватель из университета Сергей Александрович Соколов. Он нам читал историю Отечества и еще что-то коммунистическое.

— Ах, Литаврин, — сказал Сергей Александрович, — неужели мне тебе, журналисту, надо объяснять? Теперь все это добром не кончится.

— А что будет дальше?

— Плохо будет. Всем.

А дальше я Стелле рассказывал детали. Ночь уже была на исходе. Я рассказывал о том, как на руках прикатили грузовик и поставили его поперек улицы, как из строительного мусора построили баррикады, как в сторону омоновцев летели бутылки с горючей смесью. Может быть, вот так же проходила и Октябрьская революция, которую мы изучали в школе, но, к счастью, забыли.

Но одного я Стелле не рассказал. Поболтавшись еще с блокнотом пару часов возле баррикад, я ушел, но по дороге забежал на Центральный телеграф и написал письмо без подписи на имя министра внутренних дел о том, что во время беспорядков на Смоленской площади мною, патриотически настроенным молодым демократом, среди бунтовщиков был замечен ведший себя предосудительно и занимавшийся коммунистической пропагандой преподаватель Госуниверситета Сергей Александрович Соколов. Написал и приkleил марку.

Конечно, время сейчас не такое, чтобы коммунику сразу взять за шкирку, но в компьютер занесут. А если вдруг ко мне появятся за мое обоюдное видение у власти какие-нибудь претензии, я всегда могу солаться, что сигнализировал. А в этом ведомстве, как известно, даже при всеобщем беспорядке ничего не пропадает.

Глава шестая

Прощай, Стелла, ты отплываешь в край мертвый и скорбный. Существует ли бессмертная душа? Есть ли встречи за границей жизни и смерти? Я молю, чтобы все состоялось, встреча произошла. Каждый день я, как угли, ворошу свои мысли и ищу в себе веру в эту бессмертную душу и веру в Него. Почему столь многим, стоящим в церкви со свечками, эта вера дана, а меня обнесли, не дали что-то, не вложили мне в грудь.

Даже к бывшим коммунистам, безбожникам и атеистам воинствующим, которые знали лишь один приход — обком партии, эта вера пришла, а ко мне — нет. Вот стоят они с копеечными свечками в мерцающем храме телеприемника, шевелят губами и, значит, лишены всех потерь, значит, им, раскаявшимся и, наверное, покаявшимся грешникам даны все встречи и все свидания в мертвом будущем. Что не довложили в меня родители, что недодала мне школа, что недообъяснило время? Почему суха моя душа? Почему я воздвигаю один логический пассаж на другой, причину соединяю со следствием и не остается места в мире для Бога и встречи с моей покойной женой?

Но хватит, мой врач, мой новый учитель литературного мастерства, собственно, заставивший меня написать эти воспоминания, все время говорит — не заводитесь, Литаврин, веселее, и без особых размышлений, чтобы слова лились, шли вольно и свободно, как песни. Все у вас, Литаврин, будет хорошо, мы сейчас все сумасшедшие, и я сумасшедший, и главврач, и наши министры, бизнесмены и парламентарии, только по-разному, и всем надо писать свои книжки и мемуары.

А может быть, из-за испорченной экологии взбесились на небе и божества со своим главным преподавателем и творцом? Может быть, пора им — Магомету, Будде и Христу — собраться между собой, переговорить и установить вечный мир, собрать Организацию Объединенных Богов. Подписать, как сей-

час наш президент, меморандум о согласии и всем подпавшим выдать большое денежное вознаграждение, равное министерскому, зарплату серафима, и произвести всех в чины ангелов? О, ангел с крыльями и сердцем!

Уже утром, внезапно, Стелла почувствовала в горле боль. Как и у любой женщины, у нее множество собственных приемов и навыков, укрощающих болезни. Как мне казалось раньше, женщины вообще слишком прислушиваются к своему здоровью и по каждому слуху объявляют недомогание. Переможется, пройдет. Стелла немедленно принялась заваривать какие-то травы, процеживать растворы, полоскать горло. Еще со времени беременности она перестала пить таблетки. Обычная суета при легком нездоровье. Но тут отчего-то принялся кипролизничать Сашенька. У меня сердце разрывалось, когда я видел, как текут у него по щекам слезки и, словно у старицы, обнажаются в крике, без единого зубика, десны. Стелла сразу же мне сказала: беги за врачом. И вот единственная моя в жизни удача — детская консультация в соседнем доме.

Время у нас уже такое, что каждый раз, когда встречаешься с властью ли, со сферой обслуживания, ждешь, что откажут, ничего не получится, надо упрашивать, получать очередную порцию оскорблений и обид. И здесь, пока бежал я в консультацию, все напряглось, я даже забыл кто я, какой сейчас у меня имидж — мужчины, парня, важного и влиятельного журналиста, склонника или скандалиста — кого я изображаю? Просто отец бежал хлопотать о своем ребенке, волк рыскал, чтобы защитить своего волчонка. Детеныши, кровное, родное. Здесь уже не до школы представления. И как, оказывается, важно быть всегда готовым к бою! Как важно иметь в жизни, как и в сексе, напор и внутреннюю решимость! Но еще Бог послал мне врача — старуху-еврейку, из тех комиссарш, партиек, с чувством так называемого долга, идеалами и той самой чепухой, которая довела до трагической гибели моего отца. Какое счастье, что она подвернулась мне в регистратуре! И когда я уже услышал традиционный ответ: «приедет дежурный врач, посетит ребенка в течение суток» — я, как клещ, вцепился в эту, с крашенными голубыми сединами, врачу. Разве мои слова все решили, разве я соображал что говорю? И вдруг внезапно эта бабка сказала: «Хорошо, я пойду с вами, посмотрю вашего ребенка». Я еще даже не успел сказать ей, что готов отблагодарить ее вонючими баксами, что куплю в любом киоске все, что она пожелает: бутылку, колготки, коробку конфет или упаковку «сникерсов», а она уже взяла свою сумку и сказала: «Идемте».

А дома Сашенька уже не плакал, он лежал в своей деревянной кроватке, агукал и пускал пузыри. Как же старуха, взбравшаяся по лестнице к нам на четвертый этаж панельной, без лифта, хрущобы, как же она взглянула на меня! Как умудряются эти старые интеллигентные бабы размазать нас взглядом по стене! Но все равно, она внимательно осмотрела Сашеньку, помяла ему животик, взяла чайную ложку, заглянула ему в горлышко — здоров! Но, оказывается, идет зубик. Зубик первый, молочный, идет! Радость-то какая! И вот она уже мыла в нашей заставленной и завешанной сохнувшим бельем ванной руки, а Стелла держала наготове чистое, свежее полотенце, как врачиша сама сказала Стелле: что-то вы мне не нравитесь. Не жалуетесь на что-либо? Только женщины способны на такое терпение, только они, оказывается, способны так перемогаться в этом своем состоянии. Стелла сказала: «Нет, все в порядке, может, чуть простудилась». И тут Бог меня спо-

двигнул: из-за ее плеча я сказал: «У нее, доктор, у моей жены, болит горло». А может быть, эта старая врачиша, эта Белла Абрамовна, была в прошлой жизни коршуном? Она с лету кинулась на Стеллу: «А что у вас, милочка, молодая мамаша, с горлом? А нет температуры? А ставили ли градусник? А давайте я вас, дорогая, посмотрю». Она, врачиша, потом все-таки заставила Стеллу подержать на кухне градусник. Температура была, в общем, небольшая — 37,8 — запомнил! — но эту жуткую болезнь Белла Абрамовна определила сразу, взглянув Стелле в горло. Слово «дифтерит» было сказано потом. Но уже сразу эта старуха приказала: к ребенку матери не подходить, а Стеллу необходимо немедленно госпитализировать. Немедленно!

Предчувствие человеческое не есть нечто иррациональное. Не знаю, существует ли кара Божия, но воздаяние есть. А причина этого воздаяния нам по-рою известна лучше, чем Господу Богу. Еще до того, как врачишой-еврейкой было произнесено роковое слово, я уже понял: моя счастливая жизнь закончилась. Чуть-чуть удалось окунуться во взрослую жизнь семьи, чуть-чуть дорога побежала по восходящей, замаячили перспективы обеспеченности, достатка и собственного дела, как судьба стрельнула в лет. Я уже знал, что со Стеллой мы прощаемся и расстаемся, старуха, сборщица мусора, встречаенная мною на мосту, оказалась ведьмой. О ее веретено укололась моя жена. Во мгновенье ока окружили меня эти злобные старые ведьмы в тесной ванной, в которой висели мокрые пеленки Сашеньки. Их смрадные рты с вываливающимися зубами задыхали на меня. Недаром покойник-отец говорил: из-за старух погибла Россия. Они, бездумно голосуя, утверждал он, привели к власти разгильдяев. Вот и стоят дуры возле метро со своими батончиками, колбасками, жареными курочками и крабовыми палочками. А теперь душат нашу молодую жизнь, устраивают бунты и пикетируют парламенты!

Накликала на меня беду ведьма за то, что я на какую-то минутку воспользовался ее душой, голосом и ржавыми, как старые замки, словами. Да подумаешь, что-то сказал немножко фантастическое и вольное. В конце концов, время такое: все врут, и за это должна умереть Стелла? Ты несправедлив, Бог. Вы несправедливы ко мне все — Отец, Сын и Дух святой. Я выполняю ваш приказ и ваши предназначения?

И сразу я увидел какую-то фантастическую картину: Марию, Младенца, Иосифа и осла. Но только Мария почему-то была с моим лицом, младенец с моим лицом, Иосиф с моим старым лицом и осел глядел моими грустными глазами. И это было знамение: мне надо было брать сына и уходить. Я осталася ему за мать, отца и вожатого.

Но вообще-то, Сашенька спасся потому, что еще сработала старая система советского здравоохранения: в три месяца ему сделали прививку от дифтерии. Но это было еще полгода назад. Недаром сегодня богатые люди отправляют своих жен и дочерей рожать за границу — в Англию или Швейцарию. И я понял, что Бог не счел меня отпетым, потому что я ясно понял, а не придумал сам, как все потом утверждали, ясно услышал, как Белла Абрамовна сказала мне: «Спрятчте и не отдавайте врачам ребенка. Они его замучают диагностикой. Спрятчте от врачей, от больницы и санитарно-эпидемиологической станции».

И Стелла сказала: «Бери Сашеньку и поезжай в мастерскую. Может быть, я выкарабкаюсь».

А может быть, в этот момент в меня переселилась хитрая женская душа? Я просто вспоминал жесты

и движения Стеллы, и это мне помогало быстро и умело пеленать Сашеньку. Он даже не пикнул.

— Возьми искусственное питание, посуду и пеленки, сколько сможешь унести, — сказала Стелла, — и сегодня же вызови свою мать, ей нужно сутки, чтобы приехать. Один ты больше двух-трех дней не продержишься.

Она говорила, перемогаясь, а Белла Абрамовна тем временем мучила телефон и комиссарские интонации в ее голосе крепли, переливались, выманивая на действия каких-то ее коллег-инфекционистов, медицинскую перевозку больных и экспресс-лабораторию.

— Не жди, когда меня заберут, езжай. Постарайся схватить машину, а не на электричке. Не простуди ребенка. Как разводить «Бебизан» знаешь. В консультации будут тоже знать, куда меня отвезут. Я постараюсь выкарабкаться. А если не повезет, — она подняла руку и ткнула вверх, в потолок, в квартиру над нами, — то встретимся там.

Она плакала, и я плакал. Нам обоим было жалко себя и нашего сына. Но мы оба прошли жесткую школу и знали оба, что никто нас не пожалеет, и в крайнем случае надеяться можно только друг на друга. Но каждому он сам был дороже.

— Прощай, Литаврин. Между делом я здесь придумала несколько сюжетов для твоего с Димой еженедельника: Когда все закончится, найдешь в столе. Кстати, из всей нашей истории можно сочинить хороший материал для патриотической прессы.

Но это было еще не все, чем меня «одарила» судьба. Несчастья, как молнии во время грозы, бывают одно за другим.

Я всегда думала: чего во мне больше — женственности воображения или легкомыслия души? А может быть, в естестве каждого человека живет крайний эгоизм и инстинкт: при размене жизнь за жизнь выбирать свою жизнь, а не чужую. Ну, допустим, есть моя любовь к сыну, существует моя любовь к жене, к моей спасительнице и водительнице. Но вот случилось несчастье, все рушится, моя жена почти погибает — я еще не знаю, что она погибнет, умрет, но мысленно я ее почему-то хороню, — и я вместо того, чтобы испытать душевную боль и отчаяние, будто ничего и не случилось, ищу выход: у меня умыры.

Еще когда я кутал Сашеньку, я уже мысленно представил себе дальнейшие свои действия. Главное спасти и сохранить Сашу. Вызвести его в Москву, в центр, ближе к связям, врачам и т.д. Это на случай, если он все же инфицирован. О встрече там я не думал. И я уже рассчитал и прикинул, как несколько дней прокантуюсь — до приезда матери: дать телеграмму ей надо по дороге на электричку. Встречать на вокзале и по возможности через два-три часа отправить ее с ребенком поездом или самолетом обратно. Вещи, питание, игрушки, детское белье — все приготовить и упаковать. Так вот, я прикинул и представил уже себя эдакой матерью-одиночкой в квартире, в Диминой мастерской. Последний, остаточный ремонт только что закончился, несколько дней до приезда матери-учительницы я здесь прокантуюсь, потому что в нашей со Стеллой квартире надо будет делать генеральную дезинфекцию. Здесь мне с ребенком еще помогут девки-натурщицы, которые толкуются постоянно, да и ребята с голубизной — наши натурщики — тоже очень хозяйственные и бойкие. А провожу мать с Сашенькой — она-то его спасет, она-то его выходит, она-то, по своей советской ишачьей привычке, все вынесет — вот тогда до победы, до упора, как говаривал покойный писатель

Трифонов, я займусь Стеллой. Буду спасать ее. Отделим приоритетное от всего остального и установим очередность.

Я уже увидел себя в джинсах и голубой джинсовой рубашке, порхавшим по квартире и мастерской с кастрюлькой с кипяченым молоком. Сашеньку, которого тетешают и убаюкивают во время съемок, девчонок и ребятишек, строящих над моим пузырем смешные умильные морды. Я даже подумал, что в их глазах приобрету некий дополнительный рейтинг: самоотверженный отец и вообще, парень, который замостили себе ребенка, не лыком шит! Эх, если бы не беда со Стеллой, какая бы яркая и роскошная была бы картиночка! Сколько здесь могло бы прозвучать аплодисментов и какие бы проблеснули восторженные взгляды!

Но все оказалось по-другому. Боги сразу спускают во время игры всю черную, пиковую масть. Они лепят одно к другому человеческие несчастья.

Ну, кто же мог подумать, что наш Дима, организатор, фотограф, бизнесмен и то ли внук, то ли правнук члена Политбюро ЦК КПСС, то есть человек, обладающий и по нынешним временам редкими связями и возможностями, окажется таким лопухом, легкомысленным человеком, мальчишкой!

Когда я подошел к «конюшне», то сразу поразился обилию возле нее черных «волг», «вольво», «мерседесов». Грязный двор в центре города, груды мусора — и сверкающие, лакированные машины. Я сам, наверное, тоже производил диковатое впечатление: на руках ребенок, за спиной рюкзак, на плече, все время хлопая по бедру, висит спортивная сумка.

В самой «конюшне» тоже бедлам: кашемировые красные и зеленые пиджаки, серые и темно-синие костюмы с жилетами и галстуками и кожаные желтые куртки: бизнес, власть и охрана. Что же, оказывается, наделал Дима, эта садовая голова?! Не буду я живописать подробности, крики, стоны, угрозы и выражения. Бумаги на «конюшню», эта аренда на 99 лет (как в опере «Мадам Баттерфляй» Пинкертон арендует домик для своей возлюбленной Чио-Чио-Сан именно на такой срок), бумаги эти оказались не вполне законными. Они подвергаются двойному толкованию. С такими связями все своевременно не проверить! А «конюшня» принадлежит еще одному собственнику. Можно судиться 99 лет и проиграть, а можно, убеждают Диму, получить отступного и деньги, потраченные на ремонт и реконструкцию. Зелень. И чтобы говорить и убеждать убедительнее, другой, «спорный» собственник привез с собой представителей Госкомимущества, закона и властей. Но какая пакость — специально ждали, чтобы мы закончили реконструкцию! Я посмотрел в этой суматохе на Димку и сразу же понял: наше дело слабое, мы пропали. Куда же делясь твой кураж, бывший внук? Сидит, сопли развесил.

«Бери зелень, — пишу ему и передаю записку, — иначе или убьют, или потеряют все». Дописываю, что после последних событий ему, с его коммунистическим происхождением, искать правду бесполезно. Мы эту правду с ним, моим дружком, подарили парнишкам с автоматами, танками и в камуфляже. Этим не нужны ни наши журналы, ни наши привлекательные мордашки, ни наша суeta под псевдонимами в патриотической и демократической прессе. Эти, придя к власти, скоро прихлопнут прессу любую!

На этих мимолетных соображениях я сказал себе тогда: хватит. Соображений, мерхелондий, даже сожалений, что твое дело, которое ты собирал, как муравей, пропало: у тебя ребенок и больная жена.

Через неделю мы с Димой хоронили Стеллу. Про-

клятая профессия не отпускает. Во время похорон, оформления документов, во время ее короткой болезни сколько раз я ловил себя на мысли, что «об этом» обязательно напишу, и прикидывал какой-нибудь правый листок. Или левый, здесь тоже последнее время заинтересовалась обидами населения.

Боже мой, еще две недели назад в солнечный осенний день я шел, вихляя задом, округлив брови, и жизнь казалась мне прекрасным, никогда не кончающимся приключением. Сколько бродило внутри соков! К какой увлекательной казалась мне любовь! Все сузилось до узкой щели, до каменного колодца, на дне которого потонула звезда.

Ладно, в конце концов, через все надо пройти. Страдания закаливают, надо все перенести, сжав зубы. Жизнь продолжается даже в морге.

Описывать ли последние часы Стеллы? Она, как и большинство взрослых больных дифтеритом, умерла от миокардита. Там целый букет: почки, сердце, а легкие, горло изнутри покрывает серая пленка. Вот эта пленочка — блюдо из бактерий и другой гадости — и душит жизнь. Поздно ввели какую-то сыворотку с антителами. Можно было бы, конечно, наварить целую картину не спрятавшейся, не пришедшей вовремя на помощь нашей то ли страховкой, то ли неизвестно какой медицины. Но разве все не определяет что-то другое, нежели человеческие усилия? Через человеческие усилия еще можно прорваться. Прорвался же я через всех гробовщиков, гробокопателей, выписывателей справок. О, Стелла, душа и любовь моя! Ты оставила слабого, незащищенного мальчика, своего мужа, мальчика-отца с разбалансированной психикой, без якоря в душе, с размазанной сексуальностью. А может быть, я интеллектуальный гермафронт? Не по покойницам мы льем слезы на кладбищах, а по себе. Потому что судьба открывает нас в качестве мишней. Теперь все надо самому: и плакать, и жить, и любить. Кто возьмет мальчика за руку и выведет из лабиринта? И что поразительно — этот гадкий мальчик-мужчина во время болезни жены, метания по вокзалам, разговоров с клерками похоронщика Харона, упорненько, краешком сознания размышлял, как бы ему продать подороже эти самые свои переживания и по поводу гибели жены, и сиротства сына, и по поводу взяток врачам, могильщикам и шоферам. Воистину, крапивное семя журналисты! Размышлял, в какой аранжировке и куда бы эти переживания пристроить.

Теперь последнее. Ясный осенний день, пальп лист, подмосковное кладбище. Двое могильщиков за бешеные деньги выкопали яму. Нас человек десять. Опять интересное наблюдение: эти снимающиеся без лифчиков и штанов мальчики и девочки, оказываются, хорошие товарищи. А вот наши газетчики, ребята и девицы с курса, почти никто не пришел. У нас все скромно. Но через один или два квадрата от могилы Стеллы все значительно роскошнее. Играет оркестр, изредка раздаются залпы из карабинов. Это хоронят, рассортировав и отдав, наконец, родным, защитников Белого дома. А может быть, и штурмовавших его, но здесь жертв вроде немногого. Параллельные похороны.

Минута прощания. Стелла лежит в каком-то газовом платье. Рукава и сборки на груди будто дышат. На бал? На смерть? Почему-то слез у меня уже нет. Я целую ее в лоб. Хватит. Пора заканчивать. Не буду врать и клеветать на себя: мысли о том, что надо бы еще сделать репортаж о похоронах защитников Белого дома для какого-нибудь патриотического издания, у меня нет.

Могильщики подходят к гробу, один из них достает из кармана два гвоздя, другой вынимает молоток.

Накидывают крышку. Будто железный дятел колотит. Могильщики аккуратно забивают гвозди, потом почему-то отходят, собирают воткнутые в землю лопаты и собираются уходить.

— Ребята, а гроб опускать?

— Это уже не наше дело. Мы подрядились выкопать могилу, а опускать гроб и закапывать покойника — это не наша работа, мы на это не рдились.

— Да как же так?..

— Это так, — отвечает тот, который с гвоздями, продолжая очищать лопату, — еще двести тысяч рублей.

— А если торговаться, то дороже, — добавляет, который с молотком.

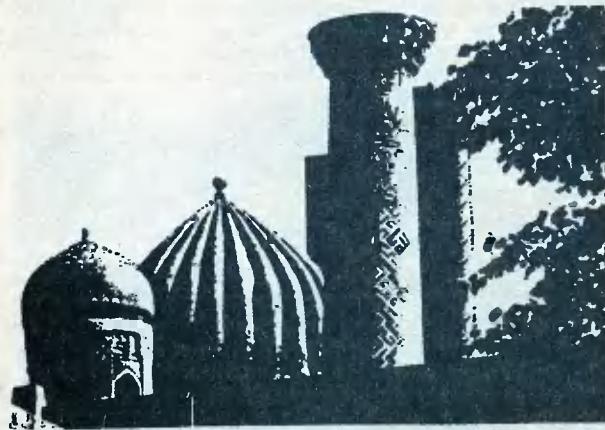
— Никак не меньше, — в тон добавляет первый.

Может, тут, от этой жуткой несправедливости, у меня поехала крыша. Я ведь хорошо помню, как на кануне договаривался с этими двумя, что за двести тысяч они все «по закону и обычно сделают». У меня с собой уже почти ничего нет, кроме двух поллитровок. От несправедливости, от стыда, от безысходности я начинаю кричать. Что я кричу? Что кричат наши друзья? У гроба, у открытой могилы начинается свалка. Могильщик машет лопатой. И тут появляются, привлеченные криками, люди с соседнего участка. Мое лицо уже залито кровью. Теперь уже вся толпа, притшедшая от патриотических могил, почему-то бьет могильщиков. За них заступаются. Раздаются милиционские свистки, но милиция не подходит. Могильщиков уже нет, но их лопаты и веревки остаются. Какие-то посторонние люди опускают гроб со Стеллой в могилу. Гроб качается, едва не соскальзывает с веревок. В это время Дима льет мне на рожу, на голову из бутылки водку. Я чуть ли не теряю сознание. Гроб уже стоит в яме. Я первым бросаю глину на крышку, потом свой окровавленный носовой платок. Все. Больше ничего не помню. Моя память сгорела, как свеча...

* * *

На этом, собственно, обрываются записки Николая Литаврина, пациента одной из столичных психиатрических клиник. Его состояние скорее удовлетворительное, нежели хорошее. Хандру и чувство подавленности, которые у него регулярно возникают, таблетки и даже уколы аминазина не берут. Он не буйничит, но на лице у него возникает опасная мечтательность. Случайно врачи заметили, что лучше всего помогает ему... телевизор в кабинете заведующего отделением. Он смотрит там мультики и передачу по кулинарии, которую ведет бард Макаревич. У него под подушкой хранится видеокассета с записью передач Си-Эн-Эн о бомбардировке и штурме Белого дома. Видеомагнитофон для этой кассеты ему не требуется. Ночами он лежит с открытыми глазами и, как говорит, просматривает эту пленку. Он мечтает увидеть эту запись на такой аппаратуре, чтобы, замедляя движение, было видно, как снаряд вылетает из дула орудия, летит, влетает в окно, сначала прогибается, а потом летит вниз стекло, и из окна начинает валить дым...

В коллажах использованы фотографии Игоря Курашова и Владислава Парадни и фотоработы из альбома "1/2".



В ЧАЙХАНЕ У ДЕРВИША

БАЗАР

Дервиш Ходжа Зульфикар бродил с пыльным возлюбленным сыном своим Касымджоном-Стеблем по осеннему тучному самаркандскому базару златых разлившихся томящихся благоуханных плодов плодов.

И сын сказал:

— Отец, как прекрасен сладок томителен златотекущ златотягущ зрел базар душных парчовых плодов... Базар златых шелковых урожаев!..

Но Ходжа Зульфикар сказал:

— Базар — это кладбище мазар плодов текучих падучих снятых пальх уж налившимися.

Сад — это жизнь зреющих живых наливающихся ликующих плодов! грядущих томящихся урожаев...

Сад — это молодость, базар — старость...

Иди в сады, сын мой...

СТРЕЛА. ПУЛЯ

Стрела летела и пела вольная в вешнем веселом небе небе

Человек шел и пел в вешних травах младенческих колыбельных лепетных

А потом они встретились

А теперь оба лежат недвижно в травах безвинно втуне веющих веющих веющих

Господь зачем была эта встреча? стрелы и человека? пули и человека?..

Господь кому теперь травы веют? невеселые...

КОЛОДЕЗЬ И ГОРА

— Дервиш Ходжа Зульфикар Девона Афанди Блаженный ты много странствовал. Дервиш ты пил из многих рек родников и колодцев.

Дервиш какой колодезь самый глубокий?

— Самый глубокий колодезь — это человеческий глаз. Око безвинного человека. Око младенца. Око мудреца.

— Дервиш какая гора самая высокая?

— Та гора, с которой учат пророки и мудрецы.

КОЛЕСО И КРЫЛО

Дервиши Ходжа Зульфикар взмолился в ночи августа, когда были обильные звездопады текучие:

— Господь мой что будет в Последние Времена?

Тогда Господь сказал ему:

— Я дал человеку две ноги чтобы шел по земле к смерти своей.

Тогда Господь сказал:

— Но человек двуногий сотворил колесо бегучее и крыло летучее взял от птицы. И ныне путь его к смерти стал быстрий и короче. И реки и ветры мои не ускорили бега теченья своего, а человек торопится в мятеже своем.

И еще сказал Господь:

— Гляди дервиш на мои звездопады августа! И они текут, грядут в небесах как текли тысячи лет назад... да...

А куда спешит грядет человек мой?..

Но!.. Но пожалей да останови нас Господь наш...

ОДЕЖДЫ

Дервиш сказал:

— Одежды — это листья вокруг плода. И зачем женщины стремятся к богатым одеждам, когда их тайна-сила — в ночной наготе их?..

И кто ест листья, оставляя нетронутым плод?..

СТРАНСТВИЯ

— Ходжа Зульфикар, святой дервиш, зачем ты так много странствуешь по миру?

Сказал:

— Чтобы узнать, что издревле таится томится находится во мне, в душе спящей колодезной бездонной моей...

СМЕРТЬ ПОЭТА

Касымджон-Стебель спросил у Ходжи Зульфикара:

— Отец, как должен жить и умирать поэт?

Дервиш сказал:

— Поэт Тимур Акбар Абдураззак Азъя Уаль всю жизнь ходил со свежей ширазской розой в руках

Никто не знал откуда он доставал ширазские розы зимой
Когда пришли к нему шесть палачей чтобы убить его
Он поднял розу высоко в руках и сказал
Стреляйте в меня но не попадите не разбейте не разведите розу

Чтобы как я несыпалась не расплескалась до срока своего

Дервиш сказал:

— Так должны жить и умирать поэты...

Если они должны умирать...



Фотография Леонида Шимановика

Я видел, как Анжела рисует. Линия, извиваясь, струйкой вытекает из пальцев, из руки. Можно предположить, что в руку таинственно перетекает душа. А что в душе? В душе — смятение чувств. Вихревые потоки линий. Из десятков и сотен их удостаивается внимания одна. Эту однажды-единственную запечатлевает на странице Анжела. Мне понадобилось много слов, чтобы выразить то мгновенное действие, которое совершается у тебя на глазах.

Как выбрать эту, именно эту, а не другую линию? Это дело прежде всего таланта, умения, вкуса, такта, опыта, воли и всего, что невозможно здесь перечислить и учить. Да и все ли подвержено перечислению и учению?

В конце концов, что такое линия?

Умелая рука или наметанный глаз? Как бы не так!

Линия — легкий сон дитяти, пошевеливающего в ритме сна своей пухлой ручкой, тянувшейся к материнской груди.

Линия — выющийся над избой и уходящий в даросветное небо дымок, — значит, люди проснулись, рабочий день начинается.

Линия — мы рвемся навстречу прилетающим журавлям, заставляющим нас, глядящих в землю и на землю, поднять голову вверх и глядеть, глядеть...

Линия — взмах дирижерской палочки Тосканини, взмах, зарывающий оркестрантов и окодызывающий слушателей.

Линия — белоснежный пенный след, остающийся в утреннем осеннем небе от пролетевшего самолета.

Линия — раскованный, свободный взмах пушкинской руки, записывающей новые строфы и отвлекающейся на зарисовки женских ножек и профиля Чаадаева.

Линия — песнь или кантилены трепетной, взлетевшей к итальянским небесам руки Джульетты-Улановой.

Линия, наконец, это все то, что осталось за пределами моих размышлений и является скорее областью твоих, читатель, раздумий, впечатлений.

Для Анжелы, как я понимаю, линия начинается с момента прикосновения пера или кисти к бумаге. Я спросил Анжелу, верно ли это мое простое наблюдение. И Анжела мне ответила:

— Иногда, начиная линию, я как будто чувствую, что лист бумаги наполнен неким ветерком, путающим линии, он сплетает их, разносит в разные стороны, и в конце концов этим порывом достигается то, что было задумано в самом начале — фигура, цветок, волосы, движение...

Спросил я у Анжелы о характере ее линии, каковы отношения линии и художника. И Анжела ответила:

— Послушана ли мне линия? Нет, скорее я послушна линии. Не я учу линию движению, а она — меня... Я не учитель, я ученик линии. И я свобода от правил и установлений, мне трудно сформулировать основы моего творчества. Я не веду линию, так как прежде всего линия ведет меня. Речь идет не о покорности, а о порыве...

Обрадовалася я, услышав это слово «порыв» из уст Анжелы. Да, конечно, ее творчество — литературное и живописное — это, конечно, порывы. Надеюсь, что мы не будем искать научного определения того, что является порывом. Благо, у порывов столько синонимов, столько классических определений в поэзии всех веков.

Говорить и писать мне об Анжеле Головенко легко и — одновременно — трудно.

Легко — чувствую родственную связь между ее линией, ее пластикой, ее стихом и моей линией, моей пластикой, моим стихом, хотя не умею писать так, как рисует Анжела.

Трудно — в ее искусстве есть тайна, рожденная с появлением этого человека на свет, ее жизнью, ее душевным строем.

Люблюсь, радуюсь, хочу понять, размышляю над тем следом, который оставляет во мне искусство Анжелы. Это искусство описать, тем более проанализировать невозможно, как невозможно на весах взвесить лунный свет. В этом искусстве есть что-то невесомое, ускользающее, дымчатое.

Анжела берет в левую руку карандаш или фломастер, или тушевое перо и в считанные минуты, если не секунды, на белом листе появляется женская фигура (чаще всего балерины), или несколько фигур, или сцена, скажем, — в мастерской художника.

С легкостью окрыленный рисунок летит, «как пух из уст Эола», по-

пушкински. Именно летит. Слово «полет» здесь уместно. И оно, естественно, встречается с другим уже приведенным здесь словом Анжелы — «порыв». Порыв и полет. Они не могут друг без друга.

В семье, в которой росла Анжела, художников нет и не было. С пяти лет и до двенадцати она занималася в балетной студии. По жгучему сибирскому морозу шла в подвал, где размещалась студия, глядела в огромное губернаторское зеркало, в котором тонула, как в озере, ее фигура. Холодный купальник, пунты с розовыми ленточками, полные водой доски пола (его доставалось поливать именно Анжелике, как самой непослушной из учениц). Все забылось: позиции, движения, выступления. На остановке трамвая после занятий чертила ногами на снегу различные позиции и па. Снова: ли-ни-я. В конце концов врачи запретили девочке заниматься балетом. И все нажитое ушло, как говорится, в подкорку. Писались стихи и эссе. Между балетом и стихом утвердилась связь, которая вскоре утвердится между балетом и рисунком. Пластика, музыкальный жест, полет, порыв, непринужденность, непреднамеренность, грация. Да, грация, это старинное слово хочется добавить к ранее найденным: порыв, полет, грация.

До 19 лет Анжела никогда не рисовала и не пыталась рисовать. Это пришло вдруг, негданно-незданно. Момента начала не помнит. «Но осталось ощущение, — говорит Анжела, — что все это как-то очень тесно связано с поэтическим творчеством, с поэтическим горением и вообще с настроем на что-то солнечное, юное, волнное».

На белом листе бумаги рождается линия, а сдается — вместе с ней или опережая ее рождается строка. Мы говорим себе же в

назидание: ни дня без строчки. В действительности же первоначальное значение: ни дня без линии. Вот у Анжелы оба эти значения слились.

В стихах любит Анжела либо календарную точность («Я родилась в сентябре»), либо тайну. Больше всего — вторую, ту, которую Борис Пастернак называл «точностью тайн» (в «Слекторском» — «Храны живую точность, точность тайн»). «Вот и все о моей судьбе» — это строка, следующая за уже приведенной — о рождении в сентябре.

А зачем на свет родилась, —
Эту тайну хранят мой князь
Кареглазый... А я только знаю,
Что на свете есть боль неземная...

Собственно на земле — неземная боль.

Стихотворные образы Анжелы можно легко перенести на бумагу или на полотно.

Беру перо, как щепоть соли
На хлеб...

Выразительный жест, за которым серьезный смысл. Собственно это не жест, а поступок.

Ощущение свежести, чистоты, белизны мира. «Белый голубь на белом снегу». Белая ночь. Жасмин. Белое облако. Светизна. Прозрачность. И хочется повторять: «Невесомость». «Я — невесом! Любимый мой на флейте так играет».

Я слышу звук флейты в стихотворении и вижу (!) этот же звук в облике линии. Поющая линия. Более того: я физически чувствую руку, записывающую стих и небрасывающую линию. Вес руки обозначен самой Анжелой:

Я писала... и кисть руки
Тяжелела, как кисть винограда...

Рука весома и вместе с тем она, именно она добивается невесомости того лунного света, о котором уже было сказано выше. Впрочем, на мой недоуменный вопрос Анжела отвечает с завидной определенностью: «Считаю, что линия должна звучать, я всегда явственно слышу эту музыку линии, когда начинаю рисовать... У меня это что-то длительное, похожее на протяжный звук органа или на звук человеческого голоса».

Итак, мы присутствуем при счастливом сочетании поэзии, рисunka, мелодии. Есть работа для глаз и ушей. Главная работа — для души. Она-то и ликует, убеждаясь, что и в наше, выполненное катастроф, время продолжается чудо искусства, творимого самими молодыми.

Прощай, АМЕРИКА!

Виктор ДОС

Редакция открывает читателям журнала нового писателя, Виктора Доса.

Виктору Досу (это псевдоним) 37 лет. Он талантливый физик-теоретик, автор 30 научных трудов. Его лекции слушали студенты многих стран мира (кстати, сейчас он читает курс в Сорбоне). И как раз эти поездки раскрыли в нем еще и дар художника.

Нью-Йорк

В Нью-Йорке можно найти все. То же самое, впрочем, можно сделать и в Москве, но в Нью-Йорке это намного легче, хотя и не так легко, как многие думают.

Мне предстояло жить в Нью-Йорке неделю без денег и без крыши над головой. Таких там много, и я даже слышал, что их там кормят бесплатным супом, но где и когда, я так и не узнал. Участи бездомного мне удалось избежать, потому что я принадлежу к великому Братству Ветеранов Китая. Мы, много лет назад сумевшие выжить в Китае, теперь, если нужно,бросаем все свои дела и спасаем друг друга. Нас осталось мало — четыре-пять человек на всю планету, но и этого достаточно.

Спасать меня примчался Аллан из Монреаля. Он привел накануне вечером, среди своих друзей в Бруклине нашел мне жилье, утром встретил в аэропорту, в обед мы с ним выпили бутылку грузинского вина в Центральном парке Манхэттена, потом он снабдил меня небольшим количеством денег и умчался обратно в Монреаль. Между прочим, все мы, члены Братства, отличаемся одним общим свойством — у нас все время туту с деньгами.

Таксист, который нас вез из аэропорта им. Кеннеди в Бруклин, сделал огромный крюк, наверное, чтобы проверить, хорошо ли работает счетчик. Он говорил с тяжелым нью-йоркским акцентом и делал вид, что не понимает, что Аллан прекрасно понимает, как нужно ехать. Это я просто к тому, что можно обнаружить в Нью-Йорке, даже если ничего не искать.

Грузинское вино мы пили, засунув бутылку в бумажный пакет. Пить спиртное на улице в Америке запрещено. Но так как пить хочется не только в России, то люди здесь прячут бутылки в бумажные пакеты и пьют из горла. Если пить из бумажного пакета, то это уже легально, ибо полицейский не имеет права делать обыск в вашем пакете без санкции прокурора. Между прочим, к этому относятся очень серьезно как полицейские, так и те, кто пьет из горла.

Простишись с Алланом, я отправился бродить по Нью-Йорку. Про этот город сказано уже достаточно, и ничего

нового я добавить не в состоянии. Зато в мое мировосприятие Нью-Йорк кое-что добавил. Раньше я считал, что самый гнусный город на свете — это Москва, самый паршивый городишко — это Ногинск, а все остальные города — это различные их сочетания и вариации. Оказавшись в Нью-Йорке, я понял, что бывает намного хуже. Я не могу сказать, что Нью-Йорк еще более гнусный город, чем Москва — это было бы неправдой. Нет, Нью-Йорк — это что-то совсем другое. Нью-Йорк — это ужасающий город, и подобное восприятие города было для меня совершенно новым.

Я брел по Бродвею. Поперек шли стриты, вдоль — авеню. Бродвей пересекает их все под углом, и поэтому не называется ни стритом, ни авеню. Я пересек знаменитую 42-ю стрит там, где она пересекает не менее знаменитую 5-ю авеню, и от этого образуется еще более знаменитая Таймс Сквер. Двигаясь на юг, или, как говорят в Нью-Йорке, вниз, я вскоре пересек 41-ю стрит, а потом и 40-ю стрит. Я прошел еще немного и пересек 39-ю, 38-ю, а затем и 37-ю стрит. После этого я задумался, ибо вдруг осознал, что если я буду столь же настойчиво двигаться дальше, то ничего кроме 36-й, 35-й и т.д. стрит я не пересеку. А если я пойду по одной из этих стрит налево или направо, то начну с той же фатальной неизбежностью пересекать авеню. Ничем, кроме номеров, все эти улицы не отличаются. Впрочем, не совсем так — они отличаются небоскребами, ибо небоскребы очень индивидуальны. Но они скребут небо где-то очень высоко, а я был внизу на земле. И вообще, все эти небоскребы похожи на динозавров: такие же огромные и такие же безумно сильные, только динозавры были глупыми, а эти, очевидно, очень умные — и это еще хуже.

Прогулка среди динозавров мне быстро опроверглась. Я вернулся в свое пристанище в Бруклине и стал разыскивать по телефону остальных ветеранов Китая. Мне удалось найти Андрея — она оказалась в городке по имени Дерм в Северной Каролине.

— Привет, — сказала Андрея, — ты где?
Я сказал, что на этот раз судьба занесла меня в Нью-Йорк.
— Какой ужас! — сказала Андрея. — Ну и как ты там?
— Мне не нравится этот город, — сказал я затравленно.
— Это хорошо, — радостно ответила Андрея, — значит, с тобой все в порядке. Езжай сюда.
— Слушай, Андрея, какой бы ни был этот город, но мне кажется более естественным съехать из Северной Каролины в Нью-Йорк, чем из Нью-Йорка в далекий городок Дерм.



— Это правда, — согласилась Андрея, — но у меня нет денег.

— Надо же, какое совпадение — у меня тоже.

На это Андрея сказала «гм...» и задумалась.

— Ладно, — через минуту сказала она, — ты сиди там, я сейчас что-нибудь придумаю.

Она позвонила через два часа и сказала, что придумала и уже все уладила. Там, в Дерме, в университете Дьюк есть кафедра славистики. На этой кафедре есть люди, которые сделали своей профессией изучение того, что происходит в Советской России. Сейчас они боятся как рыба об лед, пытаясь понять, что же происходило на съезде народных депутатов России. У них есть пачка газет «Советская Россия» со стенограммой. Если я им помогу, они мне оплатят дорогу в Дерм и обратно, правда, только на автобусе.

Я сказал, что восемь часов на автобусе меня не пугают, а то, что они ничего не могут понять, — это хорошо, значит, с ними пока еще все в порядке.

Андрея сказала, что завтра к вечеру на главной автобусной станции Нью-Йорка Порт Осорити меня будет ждать заказанный на мое имя билет, и мне остается только сесть в автобус и ехать.

Вот ведь, черт возьми, все-таки цивилизация! — подумал я и пошел пить пиво. Мне даже в голову не пришло, какую оплошность я допустил, сказав про себя пустую легкомысленную фразу.

Я сидел на берегу пролива, который отделяет Бруклин от Манхэттена, рядом с Бруклинским мостом в кафе, которое называлось «Кафе-на-Реке». Мне его показал Аллан, сообщив при этом, что из-за вида на Манхэттен здесь все безумно дорого, кроме пива. Пиво от сочетания с Манхэттеном почему-то не дорожает. Поэтому, когда ко мне подошла симпатичная официантка и игриво спросила, чего я хочу, я с достоинством сказал, что сегодня вечером я бы хотел только пива. Это симпатичную официантку нисколько не смущило, и она не менее игриво назвала мне штук пятнадцать сортов. Я сделал задумчивый вид и спросил ее, не обидится ли она, если я задам ей, возможно, не совсем вежливый вопрос. Официантка сделала еще более игривой заявление, что она уже привыкла ко всему. Тогда я спросил ее, какое у них есть не американское пиво. С виноватым видом она ответила, что только «Ханикен». Таким образом, проблема выбора была решена.

Мне бы хотелось, чтобы это замечание хоть немного порадовало моего милого читателя, счастливо добывшего неамериканского пива где-то в недрах гнусного города: американское пиво просто ужасно.

На другом берегу тысячами огней сиял Манхэттен. Я видел перед собой эту мерцающую громадину и всем своим нутром ощущал ужасающую силу, которую она излучает. Да, это намного хуже динозавров. Боюсь, что это даже хуже, чем коммунизм, — эта колоссальная холодная мощь, прежде чем разрушиться под собственным весом, способна раздавить все на свете. А разрушится она еще не скоро, ибо в отличие от динозавров и коммунизма она организована значительно умнее.

Хотя и эта мощь уязвима. Я не сразу заметил, а когда заметил, то не придал этому большого значения, но на гигантском мерцающем теле Манхэттена было крупное черное пятно, покрывающее целый район. Только много позже, когда большие и малые катастрофы стали непрерывно сопровождать меня по Америке, я вспомнил этот первый увиденный мною знак. Как сообщил мне потом Аллан, в тот час, когда я ступил на американскую землю в аэропорту им. Кеннеди, в одной из линий подземки крысы (коих там, кстати, не счесть) перегрызли изоляцию кабеля. Получилось

короткое замыкание, сгорела станция метро, и целый район Манхэттена на несколько дней остался без энергии.

Хотя, честное слово, разрушать Америку не входило в мои планы.

Несолидная Америка

1.

Солидные люди в Америке автобусами не ездят. Это я понял сразу, ибо на центральной автостанции Нью-Йорка Порт Осорити я увидел вполне советские очереди. Далее я понял, что несолидных людей в Америке тоже много, ибо даже к окошечку «Информация» я стоял с полчаса. Там, в этом окошечке, мне сказали, что заказанными билетами ведают именно они, но о моем билете никакой информации не имеется, и появиться она может не раньше чем за час до отхода автобуса.

Я пришел за полтора часа до отъезда и через полчаса узнал, что билета по-прежнему нет. Тогда же я впервые услышал магическую фразу, которая затем стала всюду сопровождать меня по Америке:

— Донт ворри — не волнуйся, — ласково сказал мне солнечный негр, — это бывает.

Перед моими глазами стали явственно вырисовываться контуры Щелковского автовокзала. Поэтому от окошечка я не ушел, а стал возле него как столб, вежливо пропуская мимо себя очередь со всеми накопившимися в ней недоумениями несолидных американцев.

Мой билет появился за двадцать минут до отхода автобуса. Сообщив об этом, солнечный негр флегматично предложил мне стать в очередь, теперь уже в билетную кассу. На мое отчаянное замечание, что я же не успею, ничего кроме нового «донт ворри» он мне посоветовать не смог.

За пять минут до отхода автобуса я добрался до кассы, показал затребованный паспорт, в чем-то расписался и получил свой билет, который почему-то представлял собой целую книжечку разных бумажек. До отхода автобуса оставалось две минуты, я окончательно вжался в атмосферу Щелковского автовокзала и побежал сломя голову.

К месту посадки в автобус я примчался в тот момент, когда автобус должен был уже уходить. Однако вместо автобуса с поглядывающим на часы водителем я обнаружил закрытые ворота и упирающуюся в них толстую очередь с огромными сумками, чемоданами и рюкзаками. Здесь было человек шестьдесят, и все они были совершенно несолидными. Кто-то сонно сидел на чемоданах, а кое-кто — про-

сто на полу среди окурков. Сквозь густой табачный дым можно было рассмотреть большое объявление на стене «Курить запрещается». Вдоль очереди лениво бродил какой-то оборванец и клянчил деньги, называя себя вьетнамским ветераном. Денег ему никто не дал, и он ушел.

Минут через двадцать, когда очередь выросла человек до ста, ворота отворились, и за ними обнаружился автобус. Человек в униформе стал проверять билеты и медленно-медленно, по одному пропускать людей.

Я в своей жизни достаточно поездил экспрессом «Москва—Черноголовка» и автобусную арифметику знаю неплохо. Никакие чудеса американской цивилизации столько людей в один автобус не поместят. Поэтому, когда человек за двадцать до меня ворота со словами «мест больше нет» закрылись, я это воспринял как просто еще одно багажное подтверждение универсальности законов природы. Автобус ушел с опозданием минут на сорок, но меня это уже не волновало, ибо он ушел без меня.

Стоявший возле меня толстый мужик стал громко материться. Отсевая с некоторым трудом из его речи нехорошие слова, я по немногим оставшимся понял, что мужик призывает начать бойкотировать компанию «Грейхаунд», и получил еще одно подтверждение универсальности законов природы. Немного отличается лишь форма их проявления, ибо у нас принято грозить жалобами «наверх». Причем призыв к бойкоту хотя и звучит солидней, столь же бессмыслен, как и наша жалоба, ибо в Америке компания «Грейхаунд» такой же монополист, как у нас «Аэрофлот».

К этому времени я уже достаточно потерялся в очереди, чтобы не задавать глупых вопросов о расписании автобусов — оно не имело никакого смысла — люди просто стояли и ждали. Я окончательно успокоился и стал листать свою книжечку билетов. В результате я сделал немаловажное для себя открытие. Оказалось, что мне предстоит ехать с двумя пересадками, и именно поэтому у меня было так много билетов — три туда и три обратно. Причем все эти билеты — это не более чем символы уплаченных денег, а что касается автобусов и мест, то это уж как повезет в данных конкретных обстоятельствах.

Ворота открылись минут через сорок, и еще минут через двадцать я поехал. Автобус намеревался ехать ни много ни мало аж в Майами, на самый юг страны, и моя главная проблема состояла теперь в том, чтобы не проспать Ричмонд. Поэтому при посадке я спросил у водителя, сколько, по его мнению, мне предстоит ехать. Он взглянул на меня, как на наивного мальчика, дальше он молча обвел рукой окружающее пространство, чтобы я проснулся и осознал, где нахожусь, а потом поднял глаза кверху, чтобы я понял, что вопрос не по адресу. Мне стало стыдно своей глупости, и в оправдание я сказал, что боюсь проспать. На это водитель мне ласково улыбнулся и сказал «донт ворри».

Водитель оказался мудрым человеком — Ричмонд пропасть было невозможно, так же, впрочем, как и все остальные остановки, которые он делал по дороге. На каждой остановке включался свет, начинались галдеж и толкотня. Все это выглядело крайне несолидно, и чтобы хоть как-то развеять атмосферу Щелковского автовокзала, я выходил и через трубочку тянул кока-колу.

Я сидел на переднем сиденье справа от водителя и маялся от того, что некуда протянуть ноги. Слева через проход сразу за водителем сидел мужик и тоже маялся, но, в отличие от меня, он не молчал, а говорил, причем говорил очень громко, адресуя все это водителю. Водитель изредка лениво огрызался. На одной из остановок этот мужик подсел ко мне и поделился своими претензиями. По-русски их можно пересказать только устно и только в кругу крепких мужчин, а в письменном, сильно адаптированном варианте они выглядят примерно так: «Тра-та-та, чтоб его тра-та-та! Этот [некоторый] человек, тра-та-та, меня совершенно за[мучил]. Я, тра-та-та, замерз как тра-та-та, а он, тра-та-та, чтоб его тра-та-та, не хочет выключить свой [некоторый] кондиционер!» После этого мужик стал смотреть на меня вопросительно, ожидая моральной поддержки. Я не силен в беседах такого стиля, но одну фразу я знал, и чтобы

не раскрывать свое сильно иностранное происхождение, которое могло перевести беседу в русло «перестройки-Горбачева», я ему сказал: «Хоули-флайн-факин-ши!», причем сказал это очень искренне. Мужик остался мною доволен. Почему-то в подобных сентенциях, произносимых искренне, акцент почти незаметен.

Автобус объехал стороной Филадельфию и Вашингтон, и в Ричмонд прибыл около трех часов ночи. Остановившись, водитель, прежде чем открыть дверь, счел нужным обратиться к пассажирам с краткой речью. Его выступление сводилось к тому, что он поздравляет всех пассажиров и радуется вместе с ними, ибо, начиная с этого пункта, бардак кончается. «Это уже не Нью-Йорк — вы приехали в Вирджинию!» — заключил он. Его последняя фразаозвучала так убедительно, что я чуть было ему не поверил. К счастью, глубоко въевшаяся советская жизнь научила меня не верить словам.

Выходя из автобуса, я немедленно обратился к стоявшему рядом служителю автовокзала, который объяснял выходившим пассажирам, куда кому следует идти. Проглядев мои билеты, он посмотрел в потолок и сказал: «Шесть сорок». Я спросил его — это номер автобуса, номер рейса или время? Он снова посмотрел мои билеты и снова сказал: «Шесть сорок!». Я повторил свой вопрос, и тогда он, глядя мне в глаза, медленно и с расстановкой опять произнес: «Шесть сорок!!!» И я ушел, ибо дальнейшие расспросы могли спровоцировать беседу в терминах непереводимого американского фольклора, в котором я был не силен.

То, что он повторял, было очень похоже на время отправления моего автобуса, но я отказывался в это верить. Было только начало четвертого, и я просто не мог себе представить, что в этой дыре мне предстоит болтаться больше трех часов, тем более, что и присесть здесь, как водится на Щелковском автовокзале, было негде. Поэтому я обратился в окошечко «Информация». Там, изучив мои билеты, долго рылся в каких-то книгах и в конце концов сообщили мне исчерпывающую информацию: ближайший автобус, следующий в нужном мне направлении, будет отправляться в 5 часов 20 минут, и посадка будет происходить через выход №11.

Это было уже намного лучше. Можно было спокойно покурить и даже побродить по окрестностям. Однако советская привычка сомневаться во всем не давала мне расслабиться. Я взялся изучать расписание и осматриваться по сторонам. В расписании я так ничего и не понял, осмотр окружающего мира лишь подтвердил мои подозрения, что я нахожусь в еще одном здании Щелковского автовокзала, но время я потратил не зря, ибо в какой-то момент включились динамики и сообщили, что автобус в сторону Рали будет через час, и пригласили на посадку к воротам №12.

Это была уже третья полученная мною здесь информация, и она никак не согласовывалась с предыдущими двумя. Поэтому, стоя в очереди к воротам №12, я был убежден, что на этом поступление информации не закончится. И я оказался прав. Минут через десять на середину зала вышел человек в униформе, сложил ладони лодочкой и громко прокричал, что автобус в сторону Рали отправляется через пять минут, и все желающие могут идти к воротам №14. Очередь послушно перебежала к другим воротам, и я вместе с ней.

Посадка шла как обычно, и, как это всегда со мной случается, за три человека до меня места в автобусе кончились. Ворота закрылись, и оставшиеся люди стали уныло расплазаться. И вот тут я, наконец, обнаружил, что пройдя советскую школу жизни, я имею некоторые преимущества перед наивными американцами, ибо, в отличие от них, я от ворот не ушел. Тот, кто много ездил экспрессом «Москва—Черноголовка», знает, что информация, которую говорит водитель, заключается не в словах «мест нет», а в интонации голоса и в выражении его глаз. Поэтому я нисколько не удивился, когда минут через пять ворота приоткрылись, и водитель велел мне заходить. Я даже потянулся в карман за рублем. Однако рубля у меня с собой не было, а доллар мне было жалко, да и водитель, казалось,

вполне удовлетворился моим билетом, поэтому я прошел просто так.

Я прошел автобус из конца в конец, не нашел ни одного свободного места, вернулся к водителю и вопросительно на него посмотрел. «Я же говорил, что мест нет», — спокойно сказал он, и я, удовлетворенный его правдивостью и неортодоксальным отношением к жизни, сел в проходе рядом с ним.

В Рали я уже не стал ходить по автовокзалу и приставать с дурацкими вопросами к его служителям, а просто обошел водителей стоявших там автобусов, и один из них меня взял.

В Дерм я приехал в восемь утра, когда тихая американская провинция только начинала просыпаться.

2.

В Дерме растут пальмы. В Дерме улицы расчерчены крест-накрест в стиле стрит-авеню, и жители садятся в машину, даже если им нужно просто перейти улицу. В Дерме, как и во всей Америке, люди любят пиццу и бегают трусцой, даже если им это совсем не нужно. В Дерме тихо и скучно. И может быть, из-за этой провинциальной тишины, а может, по каким-то другим причинам, здесь есть люди, которые читают газету «Советская Россия» и пытаются понять, что же говорилось на съезде народных депутатов России. Мне было их искренне жаль. И народных депутатов, которые так хотят что-то сказать, но не могут, и тех специалистов из университета Дьюк, которые так хотят понять, что же хотели сказать народные депутаты, и не смогли. Впрочем, народных депутатов мне было жаль только там, под пальмами, в тихом городке Дерм, потому что в России они вызывают у меня совсем другие чувства.

Не думаю, чтобы подобные советологические исследования приносили пользу Америке, но если это так, то я своей помощью, несомненно, нанес ей вред. Возможно, что люди, занимающиеся под сенью пальм Россией, уже дошли до мысли, что чужая душа — потемки, тем более русская, и особенно если она — народный депутат. Во всяком случае, к тому времени, когда я на их деньги приехал предлагать им помочь, они уже не пытались выяснить тонкие структуры этих душ. Они хотели хотя бы расклассифицировать их на левых (хороших), правых (некоторых) и тех, которые ни то, ни се, т.е. поддерживают Горбачева. Для этого каждому выступавшему нужно было давать очки: очень хороший человек получает +2, просто хороший — +1, ни то ни се — 0, некорректный — -1 и совсем некорректный — -2. В результате должна получиться адаптированная к американскому стилю мышления картина русских душ. Тонкости душевных структур выражались дробностью очков, которая возникала после усреднения по времени, ибо от выступления к выступлению степень хорошести-некорректности у многих душ варьировалась.

Я думаю, американские специалисты получили то, что хотели получить, а именно — чрезвычайно сложную цифровую картину душевных структур народных вожаков России. Хочется лишь надеяться, что среди них нет математиков. Иначе они заметили бы, что подобные сложные структуры лучше всего получаются на компьютере с помощью генератора случайных чисел. Ведь компьютер умеет генерировать случайные числа значительно лучше человека. Даже если этот человек приехал из России.

3.

Говорят, что каждый человек сходит с ума по-своему. После того, как я походил по Нью-Йорку и поездил по Америке, я увидел, что это не всегда так. Однако есть в Америке удивительное место, Западная Вирджиния, в котором произрастают действительно своеобразные сумасшедшие. Я там никогда не был, но я знаю двух человек, которые выросли в Западной Вирджинии.

Одного звали Игер, он был пилотом-испытателем первых гиперзвуковых самолетов в 50-е годы. Он обогатил американский язык знаменитой ныне фразой: «Listen guys, I've got a little problem up here...» (Знаете, ребята, у меня здесь возникла небольшая проблема...). Игер произнес эту

фразу всего несколько раз в жизни. Каждый раз он произносил ее с ленивой неохотой, и каждый раз это означало, что где-то там, в стратосфере, его аппарат горит, разваливается на части и падает, как кувыркающийся бульжник. Ныне эта фраза в ходу среди американских пилотов — она устанавливает своего рода кодекс чести, не позволяющий беспокоить окружающих по пустякам.

Другого человека, с которым мне посчастливилось быть знакомым лично, зовут Андрея. Она выросла в респектабельной, обеспеченной семье, и ей, казалось, было уготовано соответствующее будущее. Предполагалось, что она будет изучать компьютеры или, может, даже сделает карьеру адвоката. Однако уже в юных годах Андрея стала давать отклонения и спрашивать окружающих: «А вы счастливы в своей жизни?». Ее респектабельное окружение становилось в тупик. К компьютерам Андрея потеряла интерес, потому что их, как она быстро осознала, этот вопрос не касался. Потом она потеряла интерес и к Америке, потому что где-то в глубине почувствовала, что и к ней этот вопрос почему-то тоже никакого отношения не имеет.

Андрея стала искать, где, по крайней мере, сам вопрос мог бы иметь смысл, и нисколько не удивительно, что в конце концов, она вышла на Достоевского. В результате она стала изучать русский язык. Респектабельная семья пришла в ужас, но было уже поздно.

В отличие от окружавшего ее мира там, где пахло Русью, все было настолько таинственно и непонятно, что, казалось, можно было найти все что угодно, даже Истину. Увлекшись таинственным и непонятным, она, на всякий случай, стала изучать еще и китайский язык.

Потом, оставив свою семью в полуబорочном состоянии, она отправилась изучать таинственные недра кириллицы непосредственно в Ленинград.

Там на ее вопрос «Счастливы ли здесь люди?», произносимый уже по-русски, встречаемые ею русские ребята мурлыкали что-то таинственное о долларах и о том, что они были бы просто счастливы изучать этот великий вопрос вместе с ней, но только глядя на эту страну со стороны — из Америки. Измученная окружавшей ее тайной, там, в Ленинграде, Андрея и произнесла свою, ставшую впоследствии знаменитой, фразу, открывшую ей значительную долю советской истины. Сидя в своей комнате в общежитии для иностранных студентов, обращаясь к потолку, она сказала: «СССР — такая могучая социалистическая страна, а у нас даже нет телевизора!» Вечером к ней поступал сияющий вахтер и принес телевизор. Он даже сказал что-то вроде того, что у них как раз сейчас происходит улучшение жизни иностранных студентов.

Сделанное открытие не особенно воодушевило Андрею, но все-таки она еще раз попытала счастья и, обратившись к всемогущему потолку своей комнаты, спросила у него, счастливы ли здесь люди. На следующий день на уроке ей посоветовали более внимательно смотреть программу «Время». В эту пору в Советской России гас закат эпохи позднего застоя. К чести Андреи надо сказать, что хоть она и была сумасшедшей, но не до такой степени, чтобы более внимательно смотреть программу «Время».

И тогда она не нашла ничего лучшего, как отправиться немного поизучать еще и иерогlyphы — в Китай. Там все оказалось столь же таинственно и столь же похоже. Только письма она теперь получала вскрытыми более грубо и перепачканные коричневым китайским клеем. Поэтому ей не понадобилось много времени, чтобы обратиться к потолку своей комнаты в общежитии иностранных студентов. Дело было в декабре в городе Нанкине на южном берегу великой реки Янцзы. Андрея печально посмотрела вверх и сказала: «Китай — такая могучая социалистическая страна, а у нас в комнате собачий холод!». Вечером ей принесли электроплитку.

Андрея вернулась в Америку и, к восторгу семьи, согласилась учиться на адвоката. В недрах юриспруденции никто не интересовался категорией счастья, но зато и потолки больше не реагировали ни на какие ее просьбы.

Тем не менее, запавший в душу вопрос о счастье не прошел для Андреи даром. К тому времени, когда я приехал навестить ее в Дерм, она уже закончила школу адвокатов и

смогла устроиться работать лишь водителем университетского автобуса, да и то временно. Счастье — капризная штука.

4.

Андрея отвезла меня на своей машине в Рали. Она хотела хоть частично сократить мое общение с автобусами «Грейхаунд». Андрея прошла хорошую школу жизни и со свойственной ей проницательностью чувствовала, что дело тут не только в том бардаке, которым, без сомнения, славится «Грейхаунд», но и во мне самом. Поэтому на прощанье она мне посоветовала поменьше возмущать окружающую среду.

Возвращение обещало быть гладким, ибо на том автобусе, на который я сел в Рали, было написано «Нью-Йорк», и мне как будто не грозили никакие пересадки. Тем не менее, я все-таки спросил водителя, действительно ли он собирается ехать туда, куда обещал добраться его автобус. Водитель мне твердо пообещал доехать до Ричмонда, где он живет, а затем он собирался идти домой. Он сказал, что устал и хочет спать. В намерениях следующего водителя не было твердо уверен, но тем не менее, полагал, что в конец концов все будет ОК, и, разумеется, добавил, чтобы я «донт ворри».

По дороге в Нью-Йорк водители менялись три раза, и каждого я тщательно высматривал о его намерениях. Каждый мне говорил, что он устал и хочет идти домой спать, но, тем не менее, автобус все-таки доставил меня на центральную станцию Порт Осорити в Нью-Йорке, причем с опозданием всего на два часа.

Справа от меня сидел молодой человек, чем-то похожий на нашего слесаря-водопроводчика, и эмоционально обсуждал кризис в Персидском заливе с другим человеком, сидевшим позади меня. Своего соседа сзади мне рассмотреть не удалось, но манера его речи сильно напоминала нашего премьера Рыжкова, когда тот по телевизору исполнял плач Ярославны. Мой слесарь горячился и предлагал немедленно разбомбить Багдад, а «Рыжков» его жалобно успокаивал, в том смысле, что, может быть, еще как-нибудь и обойдется.

В конце концов их дискуссия вышла на тот удивительный факт, что в этот раз русские как будто на их, американской стороне. Мой сосед справа сразу же заметил, что завтра эти коварные русские могут запрошь передумать, и все пойдет как обычно, только намного хуже.

— Я знаю этих русских, — добавил он. — Я не верю им. Они опасны.

Моим первым эмоциональным порывом было сказать ему, что я не опасен. Я подумал, что, может, стоит с ним поговорить, постараться быть обаятельным и улыбчивым, и тогда, возможно, мне удалось бы устраниТЬ хотя бы одну из множества тех опасностей, которые делают его жизнь такой трудной. Однако я пропустил момент, когда можно было вклиниваться в разговор, и очень правильно сделал.

— Они очень опасны! — снова заговорил мой сосед справа. — Дерьмо!

Он забыл о Персидском кризисе. Он перекинулся на русских, и его эпитеты, которыми он награждал моих бедных соотечественников, стали совершенно непереводимыми. «Рыжков» нас защищал очень вяло, а потом совсем скис и замолк.

Завершил русскую тему мой сосед-слесарь так:

— О! Тра-та-та! Они страшно опасны, эти русские! Я бы их всех перестрелял!

Я больше не хотел начинать разговор. Я не был уверен, что у меня будет время доказать ему, что я очень обаятельный и не опасный. Поэтому я сделал вид, что сплю.

В действительности, конечно, трудно сказать, насколько его намерения были серьезны. Через некоторое время, например, он пообещал убить водителя (когда тот вместо обещанных десяти минут стоял на остановке полчаса) и не сделал этого.

5.

В нью-йоркском аэропорту Ла Гвардия, откуда мне предстояло лететь на конференцию в Колорадо, билет, зака-

занный на мое имя, мне вручили немедленно.

Наконец, подумал я, приключения кончились. И это опять было большой неосторожностью с моей стороны. Многие люди в Америке мне говорили, что, в отличие от автобусов, авиационный сервис здесь работает идеально. Увы, они не учитывают «русский фактор»: все, что так или иначе имеет дело с русским духом, просто не может работать нормально. В этот раз носителем русского духа в аэропорту Ла Гвардия, видимо, оказался я сам.

Зад ожидания был укрыт мягкими ковровыми дорожками. По этим дорожкам чинно прохаживались взад-вперед респектабельные американцы. Другие не менее солидные американцы с достоинством утапали в мягких креслах, благородно потягивали пиво в баре, снисходительно перебирали цветастые фингифлюшки в сувенирных киосках. В отдельном уголке зала, в своего рода гетто, заклейменном значками сигарет, виновато ютились курильщики. По всему было видно, что и они сами и все окружающие понимают — курить недостойно солидного человека, и только безгранична терпимость Америки к разного рода человеческим странностям не позволяет им, солидным американцам, смотреть на курильщиков совсем уж с презрением.

Через огромное, на всю стену, стекло было видно, как красивые авиалайнеры гуськом, один за другим, ползут к взлетной полосе. Между посадочными терминалами деловито сутились сияющие красками транспортеры и одетые в яркие одежды люди. Все было очень солидно и, все функционировало как хорошо смазанный механизм.

Поддался этому деловому настрою и я. Выкурил сигарету среди потакающих своим несолидным слабостям американцев, я, подражая окружающим, с чувством собственного достоинства пошел садиться в красивый авиалайнер.

В традициях американского авиаасервиса считается вполне естественным, что пилот сам общается со своими пассажирами. Во время полета он сам делает некоторые объявления и даже дает шутливые комментарии к некоторым иногда возникающим проблемам. Если, к примеру, у самолета не выпускаются шасси или загорелся мотор, пилот сам берет микрофон и говорит знаменитую фразу Игера: «Знаете, ребята, тут у нас возникла небольшая проблема... Тут наши лампочки пытаются нам сообщить, что мы горим и падаем, но, я думаю, они, как всегда, все сильно преувеличивают. Тем не менее, знаете, вы на всякий случай пристегнитесь, уберите колющие и режущие предметы и наклонитесь вперед...»

Поэтому, когда минут за пятнадцать до посадки в самолет к чинно сидевшим в терминале пассажирам вышел пилот и взял микрофон, этому никто не удивился. Пилот обаятельно улынулся и сказал:

— Меня зовут Том Мэйс, я — пилот. Знаете, ребята, у меня такое впечатление, что горючего на нашем самолете не хватит, чтобы дотянуть до Дэнвера. Не хотелось бы вас огорчать, но, я думаю, нам придется сделать промежуточную посадку в Канзас-Сити. Уверяю вас, это не будет очень обременительно.

В подобном объявлении чувствовалось что-то очень несолидное, но пилот проявил столько обаяния, что пассажиры просто снисходительно поулыбались и успокоились.

Во мне же что-то екнуло. В Дэнвере у меня было два с половиной часа до моего следующего самолета в Аспен. Тем не менее, я отправился за объяснениями к симпатичной представительнице компании «Юнайтед Эрлайнз».

— Донт ворри, — сказала она мне, — промежуточная посадка займет не больше получаса.

Услышав знакомое «донт ворри», я вздрогнул и приготовился к наихудшему. Через пять минут симпатичная представительница компании «Юнайтед Эрлайнз» взяла микрофон и сказала, что у них там в самолете что-то не так, пока они сами не могут понять что, но во всяком случае в ближайшие полчаса самолет взлетать не будет.

Я снова проявил слабонервность и пошел за объяснениями.

— Донт ворри, — сказала она мне, — у вас еще будет достаточно времени в Дэнвере.

Увы, в казалось хорошо смазанном механизме что-то сильно заклинило. Через полчаса представительница «Юнайтед Эарлайнз» с виноватой, но все еще обаятельной улыбкой сообщила, что теперь они уже выяснили, что именно сломалось в самолете. В настоящее время они изо всех сил его чинят, но в ближайший час самолет едва ли сможет взлететь. В качестве оправдания она сказала, что хотя они чрезвычайно «сорри», пассажиры должны осознавать, что значительно удобнее починить самолет здесь, на земле, чем заниматься этим потом в воздухе.

Теперь желающие поговорить с очаровательной представительницей «Юнайтед Эарлайнз» образовали целую очередь. Солидные американцы проявили совершенно несолидную склонность. Они почему-то очень хотели избежать полета на сломанном самолете и желали добраться до своих мест назначения другими путями. Моя судьба, однако, была предопределена — другого пути в Аспен, кроме как через Дэнвер, не существовало.

Очаровательная женщина, теперь уже устало, снова сказала «донт ворри» и пообещала зарезервировать мне место на следующий рейс из Дэнвера в Аспен. Потом она добавила, что я, тем не менее, еще могу успеть на свой предыдущий самолет, если буду достаточно быстро бежать через Дэнверский аэропорт от секции компании «Юнайтед Эарлайнз» к секции компании «Юнайтед Экспресс», которая осуществляет полеты в Аспен. Я спросил ее, каким образом мой багаж будет знать о моих спринтерских способностях. Она ответила, что это ей не вполне ясно, но, по ее мнению, свой багаж я все равно в конечном счете получу.

Потом она прочитала мою фамилию и узнала во мне русского. Очаровательная женщина пришла в восторг и просияла. Она призналась мне, что она тоже русского происхождения. Я почувствовал некоторое облегчение — возможно, не я один был виноват в происходящем.

Через час было объявлено, что шансы взлететь через полчаса увеличиваются. Правда, тут же очаровательная женщина мило добавила, что тем пассажирам, которые собирались лететь этим самолетом дальше на Западное побережье, следует оставить подобную затею. Она сказала, что число пассажиров так уменьшилось, что теперь у самолета нет никакого резона лететь дальше Дэнвера. Я стал ждать объявления, что по тем же причинам у самолета вообще отпада необходимость куда-либо лететь, однако через полчаса оставшиеся самых смелых пассажиров пригласили в самолет.

Служащие «Юнайтед Эарлайнз» изо всех сил делали вид, что с самолетом уже все в порядке, но, тем не менее, мы стояли на месте еще с полчаса, и мне все время явственно слышалось лязганье гаечных ключей и глухая ругань где-то там в его брюхе.

В полете милье замученные стюардессы бегали от пассажира к пассажиру и виновато заглядывали им в глаза, как провинившиеся собачонки. Когда я согласился выпить пива «Ханикен», мне показалось, что эта симпатичная девочка готова заплакать от счастья. Они добились своего. Мы, оставшиеся пассажиры, оказались не только самыми смелыми, но и великолдушными. Мы их простили.

Спустя полтора часа включился пилот. По его голосу чувствовалось, что он тоже готов на все, чтобы заслужить прощение. Он сказал, что изменил свое мнение о способностях этого самолета и теперь почти уверен, что сможет долететь до Дэнвера без промежуточной посадки.

Он оказался молодец, этот пилот. Когда мы садились в Дэнвере, двигатели еще работали.

Аспен, штат Колорадо

1.

В сумеречной комнате устало горел камин. Рядом лежал аккуратно сложенный штабель сухих дров и большое звернутое в полиэтилен полено с биркой местного магазина «горит 1 час. \$3.». На стенах висели картины с изображением цветов и Скалистых гор, веселых лиц горнолыжников и цветущих женщин. Телевизор я заставил молчать, ибо ни

о чем, кроме Персидского кризиса и вреда холестерина, он сейчас рассуждать не мог, а я предпочитаю слышать потрескивание огня и печальный голос Стинга с кассеты «Nothing Like the Sun».

Была ночь и великое одиночество. Вечное звездное небо, немые синеватые очертания скалистых вершин, вымершие улицы... Такое одиночество бывает только в горах или только в Америке. А здесь я был не только в горах, но и в Америке.

Аспен, штат Колорадо. «Аспен» означает всего-навсего осину. У названия Колорадо более сложное происхождение, но у меня оно прочно ассоциируется с названием того знаменитого жука, который прославился тем, что эмигрировал из Америки в Россию, а не наоборот. Про жука здесь давным-давно забыли, а вот нашей осиной на склонах гор действительно много, и вообще, все это сильно напоминало бы предгорье Кавказа, если бы не поселок Аспен, который странным образом смахивает на незамысловатую декорацию.

Строго под линеечку расчерченные крест-накрест просторные улицы, аккуратно расставленные коттеджики и гостиницы для заезжих исключительно респектабельных американцев, солидные автомобили и не менее солидные велосипеды, предельно вежливые резиновые улыбки и вымирающие с наступлением сумерек улицы — все это на фоне живых настоящих гор кажется призраком. Похоже, чтобы появился город, недостаточно поставить дома — нужно, чтобы под ними отложились кости многих поколений, и только после этого, как продолжение этих ушедших жизней, город начинает жить своей собственной жизнью и становится городом.

А пока в Аспене, как, впрочем, и во всей Америке, живут младенцы, хотя некоторые из них и очень солидные. Приехать из умирающей России и смотреть на этих уверенных в себе детей без умиления просто невозможно. Боже мой, они серьезно думают, что этот праздник будет вечен!...

Но в августе 90-го года больше всего на свете они были озабочены распространностью коварного холестерина в продуктах и прописками Саддама. О том, что на планете, кроме Америки, существует еще и Ирак, они с некоторым удивлением узнали месяц назад, зато о существовании России стали уже забывать. Может, это и к лучшему.

Кроме того, эти дети совершенно уверены в полезности бега трусцой, презирают курильщиков и вообще полагают, что для солидного разумного человека просто неприлично иметь слабое здоровье и уж тем более относиться к нему пренебрежительно. Поэтому, когда в первый же день мой сосед по коттеджу Пол увидел меня с сигаретой на зеленой лужайке посреди насыщенной горным кислородом атмосферы, он сразу же мне заявил: «Если вы будете курить, вас никто не будет принимать всерьез!» Я думаю, он сказал правду-матку, которую мне стеснялись сообщить многие другие знакомые и незнакомые люди в Америке, настоятельно советовавшие бросить это дело немедленно и навсегда. К курению здесь относятся так же серьезно, как и к наличию бодрого уверенного вида и ослепительной улыбки. Однако там, на детском празднике в Аспене, в отличие от многих других его участников, у меня было несравненное преимущество. Я приехал из умирающей обреченной России, я был приговорен умереть вместе с ней, и мне было в высшей степени наплевать на расположение ко мне Америки. Хотя, признаюсь, иногда мне было забавно ее подразнить.

Что касается Пола, то я на него не обиделся. Этот молодой человек знал толк в жизни и никогда не стеснялся высказывать своего отношения к чему бы то ни было. Он был уверен, и не без оснований, что имеет на это право. Некоторое время назад он отвлекся на несколько лет от теоретической физики, сам, своей головой, сделал себе миллион и после этого снова вернулся в теоретическую физику. Он был живым олицетворением одного из тех чудес, которые возможны только в Америке. Правда, во время деланья миллиона он сильно испортил себе характер, и теперь сам стал жертвой общественного мнения, ибо из-за

своей прямоты он приобрел репутацию «анфан террибл». В результате ни один солидный университет не берет его на работу, хотя, говорят, теоретик он неплохой. Так что общественное мнение в Америке сильнее миллиона, что уж тогда говорить о тех опустившихся личностях, которые, не имея миллиона, еще и курят. Так или иначе, но в Аспене моим соседом был безработный миллионер. Это, конечно, можно назвать причудой, но мне показалось, что безработное состояние его всерьез угнетало. Хотя внешне он вел себя вполне респектабельно: по утрам съедал кукурузные хлопья с молоком, по вечерам два-три раза взбегал на гору Аспен высотой метров триста, раз в неделю отправлялся на восхождения в горы, женщинами и вином не увлекался.

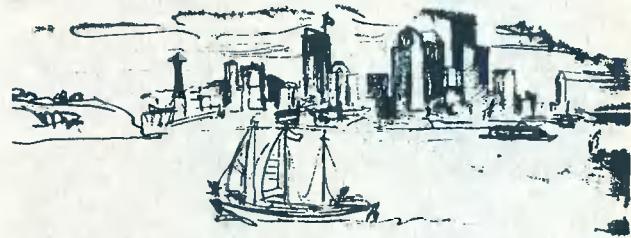
Однажды мне пришлось понаблюдать Пола, так сказать, в действии, во время восхождения. Это была красивая гора с романтическим названием Замок. Она стоила того, чтобы на нее взойти, но у нее был один недостаток — на вершину вела простая утоптанная тропа. Поэтому Пол, чтобы разбавить восхождение хоть крохой острых ощущений, прямо по Высоцкому, решил выбрать по возможности трудный путь. Вместо того, чтобы пойти по утоптанному «брод-вею» прямо на перемычку, с которой до вершины десять минут, мы подошли к горе сбоку и оказались перед крутым скальным гребнем.

Нас, горовосходителей из научного сорища в Аспенском центре теоретической физики, было семеро, из них

длинном уютном кулуаре. Здесь не было острых ощущений, не было высоты, а было тихое спокойное «черепашье» лазанье.

Через час неторопливого подъема мы оказались на перемычке под вершиной. Вопреки ожиданиям, ни здесь, ни на вершине не было видно никаких следов пребывания наших козликов. Я посмотрел туда, откуда они должны были появиться, и увидел там такое, что, я уверен, ужаснуло бы любого горовосходителя — там был длинющий, безумно крутой, покрытый грязью и щебенкой «мусоропровод». Я себя знаю хорошо и «мусоропроводы» тоже знаю неплохо — я бы в таком умер. Нет, разумеется, я бы некоторое время сопротивлялся, греб под себя, но, в конце концов, я бы все равно улетел вниз вместе со всей этой щебенкой. Подобные «мусоропроводы» тем и отличаются, что даже только для того, чтобы оставаться на месте, нужно непрерывно гресть под себя, а черепахам это совершенно не свойственно. Нужно быть козлом, чтобы соваться в такие места, и нужно быть вдвойне козлом, чтобы из подобного места суметь выбраться.

Минут через сорок из «мусоропровода» послышался шум, потом появились вытаращенные безумные глаза, торчащая во все стороны черная борода, и, наконец, выполз весь Пол. Некоторое время он стоял на месте, тяжело дышал и продолжал загребать под себя воздух. На вопрос, где остальные, он молча показал вниз, потом огляделся по сторонам и побежал к вершине. Как ни печально, но при



Скалы
17. 11. 91.

Евгений Дацко — участник экспедиции, которая на трех деревянных пакетботах, отправилась к берегам Аляски, а затем — в Канаду, на Алеутские острова и далее вдоль всего западного побережья Америки — Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. А результат этих странствий — наброски, этюды, картины... Сегодня представлена лишь малая часть из них. Но уверены, "русская Америка" Евгения Дацко и Виктора Доса достойно дополняют друг друга на страницах вашего журнала.

ходивших по горам было двое — Пол и я. Лидером, разумеется, был Пол. На подходе он бегал, как молодой горный козлик, скакал туда-сюда и вообще брызгал здоровьем. Я, наоборот, двигался медленно, как старая мудрая черепаха, не делая никаких лишних движений, что позволяло, в общем, от него не отставать. Мы с Полом были представителями противоположных школ. Было очевидно, что ему незнакомы многодневные переходы под сорока-килограммовым рюкзаком, а мне казалось противоестественным подъехать к горе на машине, сбегать на вершину, а потом вернуться, попытаться в душе, сесть в кресло и выпить кофе. Пока Пол скакал, как козлик, я, как это свойственно всем старым черепахам, про себя злопыхательствовал, что, дескать, его бы к нам на Кавказ, а еще лучше на Памир — он бы там быстро присмирел.

Мы поднимались все выше, и у меня уже созревало умозаключение, что у нас на Колыме вот такие вот попрыгунчики и вымирали в первую очередь, но тут мы оказались перед гребнем и остановились. Прямо по макушке гребня идти оказалось невозможно даже для Пола, и поэтому нужно было обходить либо слева, либо справа. Пол пошел налево, и я поэтому пошел направо. Шедшие сзади тоже разделились: здоровый, как сибирский дровосек, болгарин Иван и маленький прыткий американец Дэвид пошли за Полом, а за мной пошли два тихих немца и соотечественник Володя, который хотя и имел небольшой кавказский опыт «черепашьих» восхождений, теперь, после года жизни в Париже, был несколько отягощен появившимся брюшком. Мне показалось, что такое спонтанное разделение группы было естественным.

Козлики во главе с Полом ускакали и скрылись за наромождением скал, а мы, черепахи, оказались в длинном-

любых обстоятельствах он должен был на вершину подниматься непременно первым. Эх, Пол, Пол...

Мы подождали еще некоторое время, потом наша «черепашья» группа поднялась на вершину и обнаружила там совершенно счастливого и успокоившегося Пола. Потом я спустился обратно на перемычку и с ужасом стал заглядывать в эту омерзительную дыру.

Все это вполне могло кончиться очень грустно, но положение спас Иван. У этого болгарского сибирского дровосека оказалась такая безумная сила, такой запас здоровья, что он сумел вытащить из этой дыры не только себя, но и уже совершенно невменяемого Дэвида. Иван стоял на перемычке, широко расставив свои богатырские ноги, и очумело оглядывался по сторонам. Я им любовался. У него был вид таежного жителя, который только что голыми руками свалил неожиданно напавшего на него медведя и теперь, приговаривая «ну, ни хрена себе, прогулялся...», чешет затылок и осматривает тушу.

«Такому можно и на Колыму», — почему-то подумал я, но вслух этого не сказал. Иван к Сибири относился с предубеждением.

2.

Было, наверное, что-то противоестественное в моем приезде в Америку. Чем-то я нарушил нормальное развитие американского порядка. В результате этот порядок возмутился и превратился вокруг меня в сплошной беспорядок, что, как меня уверяли, для него совершенно не свойственно.

Пересечь полипланеты, забраться в прекрасные Скалистые горы для того, чтобы рисовать формулы и глубоко-мысленно морщить лоб... Пожалуй, было в этом что-то

возмутительное. Правда, не я один такой, но почему-то в моем случае американское мироздание возмутилось. Может, у него просто лопнуло терпение.

Все на свете когда-нибудь кончается, закончилось и мое научное пребывание в Аспенском центре. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что закончилось оно ровно в тот день, когда я прилетел в Аспен. Кто-то из бюрократов в суматохе спутал бумаги, даты (что поделаешь, бывает, случаются ошибки) и, тем самым, начисто лишил меня необходимости глубокомысленно морщить лоб. Дальше там намечалось совершенно другое научное сбощие, на котором такой перекос моего лица никого бы ни в чем не убедил.

Я мог бы, конечно, возмутиться, затопать ногами, сказать всем им «хамы!», но даже при условии самого искреннего раскаяния организаторов никто машину времени мне бы предоставить все равно не смог. И вот, таким образом, облетев полпланеты, я оказался у камина, в котором мирно потрескивал огонь, а вокруг призываю стояли старые Скалистые горы. Самая высокая из них носит краснавое имя Эльберт.

...Было солнце и было утро. По широкой утоптанной тропе, волна за волной, шла русская эмиграция. Здесь шли те, кто уехал в начале разрядки, в разгар разрядки и под занавес разрядки. Здесь двигались те из новейших волн, кто выскочил на заре перестройки, те, кто отбыл в разгар перестройки, те, кто умотал в закат перестройки и даже те,

и прочие увлекательные вещи. Молодые эмигранты заинтересованно слушали эмигрантов со стажем и задавали уточняющие вопросы.

Визы бывают «би-1», «би-2», «джей-1», «джей-2», «эйч», а может, и еще какие-то — я не успел запомнить. Обладатель визы «би-1» не имеет права получать зарплату на территории Соединенных Штатов, но, тем не менее, он имеет право получать суточные, размер которых устанавливается федеральным законом... Зато обладатель визы «джей-1» имеет право получать заработную плату, однако лишен возможности... Однако для получения визы «джей-1» требуется, чтобы в Госдепартамент были представлены документы, удостоверяющие... Что касается визы «эйч», то онадается только в тех исключительных случаях...

Что-то зашевелилось в глубинных слоях моей памяти. Боже мой! Опять, в который раз... Приемная Ногинского исполнкома, комиссия по прописке, квадратные метры на душу семьи... В случае, если жена беременна... Письмо с предприятия за подписью треугольника... С учетом проживания иждивенцев... Полезная площадь санузла... Ванная... Побелка... Купорос...

Кто бы мог подумать, что все это еще раз настигнет меня под небом Колорадо в Скалистых горах! Правда, там, в Ногинском исполнкоме, было гнусно и мрачно из-за понимания маразматичной непробиваемости Советской власти как единственного источника идиотизма. И это внушило оптимизм, ибо глубинные причины, казалось, всем



кто сваливал Прямо сейчас, во время смуты.

Дорога была спокойная, мы топали по-черепашьи медленно и, разумеется, вели кухонные разговоры о жизни. О чём можно разговориться на склонах Скалистых гор в штате Колорадо, где синее небо вперемежку с комочками белых облаков и еще далекой синей грозовой тучей у горизонта, вместе с пятнистыми зелеными лоскутками долины и двумя голубыми блюдцами озер образуют пестрый объемный ковер девственной Природы? О чём? Конечно же, об измученной коммунистами России, о перестройке и Горбачеве. Не жди, читатель, от меня сенсаций — даже там, под красивым небом Колорадо, мы не смогли установить Истину. Она ускольззала, превращаясь в занудно-уверенный треп тех, кто уехал в эпоху позднего застоя и теперь, как и вся Западная Демократия, был твердо убежден, что Горбачев имел в виду что-то хорошее. И даже горькие замечания тех, кто видел жизнь, кто застал начало новой великой Русской Смуты, не несли в себе ничего кроме печали.

А Истина шептала: «Ребята, это такая муть...», но, как это всегда бывает, ее никто не слышал.

Мы поднимались все выше, все дальше удалялись от России и от укрытой легкой дымкой бархатной долины. Вот уже и кувшинки облаков слились в сплошной ватный ковер, а тяжелая грозовая туча проглотила горизонт и закрыла полнеба.

Россия была временно забыта, и тогда я узнал много нового, хотя и не скажу, что интересного, об Америке. Пока зловещие зарницы и раскаты далеких катастроф окружали нас со всех сторон, я услышал настоящую многоголосую лекцию о том, какие в Америке бывают визы, статусы проживания, страховки, позиции в университетах



понятны, а следствия воспринимаются как неизбежное, но, тем не менее, не безусловное зло. А здесь, в Американском исполнкоме, среди сидевших в приемной царил такой душевный подъем, что у меня возникло ощущение полной безнадежности.

Что касается Истины, то там, на склоне горы Эльберт, она, в конце концов, нам все-таки открылась и оказалась как никогда конкретной. Только-только начали вырисовываться те удивительные права, которые приобретает владелец «грин кард», как над горой полыхнуло и хрыснуло так, что всем сразу стало не до американских законов. Истина состояла в том, что с горы нужно было сматываться, или, как говорят в горах, линять что было сил.

С неба повалил густой крупный снег и быстро поглотил поваливших вниз русских восходителей. Мнение гор я привык уважать, но тут мне показалось, что отказ Горы нас принять похож на простой каприз. Мне не показалось, что Она настроена очень серьезно, да и вообще, все это американское законопослушничество стало раздражать. В концах концов, мне приходилось бывать и не в таких переделках.

Короче, я решил идти вверх. Спустя некоторое время я обнаружил еще одного психа, принявшего такое же решение. Разумеется, это был богатырь Иван.

Лупило сверху, лупило снизу, лупило со всех сторон. Это было неприятно. Мой рост в те минуты мне совершенно не нравился. Потом я стал слышать явственное жужжение моей мокрой ветровки, и это было совсем неприятно. Даже на Кавказе, когда я однажды всю ночь просидел в грозовой туче, мне почти не приходилось жужжать. И Иван стал на меня посматривать с укоризной — он, между прочим, почему-то совсем не жужжал, и такое мое соседство его не могло сильно радовать.

Ближе к вершине звук стал исходить еще и из вставших дыбом волос на голове. А это было уже крайне неприятно. Хотелось прилечь и передвигаться ползком, но не позволяла непонятная гордость, и к тому же я по-прежнему был убежден, что у Горы нет серьезных намерений — она с нами просто играет. Но что было обидно: Иван оказался идеальным дизлектиком. Я был единственным, кто труился и разряжал атмосферу, пропуская через себя небесное электричество в землю.

Так, со вставшими дыбом волосами, под звуки электрического блюза я и поднялся на вершину. Несколько секунд я даже постоял на самой макушке, выпрямившись во весь свой гигантский рост. И хотя, возможно, было бы очень романтично сказать: «Я умер от электричества в Скалистых горах Колорадо», однако небеса не разверзлись, и гром не грянул. Гора впитала в себя часть небесной энергии и отпустила нас с миром.

В Калифорнию

1.

На этой планете не так уж мало хороших людей, и все они — мои добрые знакомые. С американцем Стивом мы познакомились много лет назад на конференции по красивым формулам. Это было в Швеции, мы играли в футбол. Я там старательно морщил лоб, изо дня в день рисовал умопомрачительные формулы, и в конце концов мой слабый разум до того помутился, что я не выдержал, подошел к главе американской делегации профессору Лютеру и заявил ему, что у меня складывается впечатление, что американцы совершенно не умеют играть в футбол. Профессор Лютер оказался человеком выдержаным. Он подождал начала очередного заседания, потом взял слово и сказал, что должен сделать важное сообщение. Он сказал, что получил оскорбительное заявление от одного из членов советской делегации, утверждавшего, что никто в Западном мире не умеет играть в футбол. Он умышленно слегка перевернул мои слова, имея в виду, как это тогда было принято, сколотить антисоветскую коалицию.

В зале послышался ропот, а из дальнего угла раздалось громкое «ва-ва-ва-ва!», которое получается, если кричать «а-а-а-а!», периодически закрывая рот ладошкой. Эти безобразные звуки издавал крепкий, похожий на Гарринчу молодой человек по имени Стив.

Столкновение двух миров, казалось, было предрешено. Было выбрано место, назначено время, и с обеих сторон слышались воинственные заявления. Однако жизнь оказалась намного сложнее. Дело в том, что в столовой, куда имели обыкновение заходить рисователи красивых формул, был кранник, наподобие водопроводного, из которого совершенно неограниченно текло пиво. Это было время, когда в Советской России пиво исчезло еще не окончательно, однако вид этого кранника в стене, который можно было поворачивать в любое время, был нестерпим. Поэтому, несмотря на все воинственные заявления, к последебенному времени, когда должна была состояться схватка, способных передвигаться бегом с советской стороны с большим трудом набралось только три человека. Более удивительно, однако, что несмотря на все свое хваленое изобилие, весь Западный мир едва-едва сумел наскрести шестерых бойцов. К тому же все эти девять к моменту решительного противоборства были настроены исключительно миролюбиво. Дружеские переговоры на зеленом газоне быстро завершились формированием единой команды. Оставалось лишь найти достойного противника, и таковой, к плохо скрываемому горечнику многих, нашелся. Это были молодые, крепкие, длинноногие шведские аспиранты, которые прибыли на конференцию учиться рисовать формулы.

Мы явили пример стойкости и веры в победу несмотря ни на что. Мы сражались мужественно и отчаянно. Ослабевшие становились отдыхать в ворота. К концу игры по площадке бегали только мы со Стивом, подбадривая друг друга возгласами типа: «Мы сильны как никогда!» Потом,

обессиленный, упал и я, а вслед за мной — Стив. Молодость оказалась сильнее, но мы проиграли с достоинством.

Потом мы со Стивом встречались еще несколько раз в разных местах планеты. Мы больше не играли в футбол, а вместо этого строили теорию фазовых переходов в неупорядоченных иерархических социалистических системах. Мы полагали, что если в социалистической системе поднять температуру, то она просто расплывется и мирно перейдет в капитализм, а всякие перестройки а-ля Горбачев могут привести лишь к переходу из одного замерзшего состояния в другое, такое же замерзшее и иерархическое. Между прочим, Горбачев к нам потом прислушался и поднял температуру, однако этот эксперимент показал, что наша теория не совсем верна, ибо в системе происходит фазовый переход не второго, а первого рода, характеризующийся колоссальной нестабильностью и выделением ужасающей энергии. Мы даже начали было переделывать нашу теорию, но потом поняли, что уже все равно поздно.

Тем временем, несмотря на страшную занятость рисованием формул и построением нашей теории, Стив решил жениться. Его невеста была художницей и звали ее Пэм. Она была маленькой, изящной, симпатичной и обаятельной. Кроме того она была сумасшедшей, так же, впрочем, как и все мы, рисователи формул, только немного по-своему. Мы, рисователи, сдвигнулись более-менее одинаково и поэтому кажемся друг другу нормальными.

Я первый раз встретил Пэм в Триесте, на Адриатике, куда она приехала вместе со Стивом покупать свадебное платье и посмотреть на приехавших туда же патриархов советской школы рисования формул. У Пэм была слабость к физикам — она их обожала. Там, в Триесте, Пэм носилась со своей очередной сумасшедшей идеей устроить выставку под названием «Искусство физики». Она брала интервью у советских патриархов, рисовала их портреты перед доской, изрисованной формулами, она расставляла стулья в виде иерархической пирамиды; она наколола на пятиметровый металлический шест стопку физических журналов, вместе со Стивом склеила гигантскую картонную модель квазикристалла. Еще раньше, в Америке, она заставила профессора Ричарда Палмера танцевать и сняла это на видео, еще кого-то вдохновила петь песню про суперструны... Как сказал бы Высоцкий, ну сумасшедшая — что возьмешь?

После встречи с советской теоретической школой ее крен еще больше усилился, и теперь Пэм загорелась идеей не только устроить выставку, но и привезти ее в Москву. Даже предстоящая свадьба отодвинулась на задний план. Хотя именно в связи со свадьбой у них со Стивом возникли серьезные разногласия. Стив хотел устроить пышный праздник и пригласить как можно больше народа, хоть... тридцать человек. А Пэм хотела, чтобы это было скромное семейное торжество и чтобы людей там было как можно меньше, только самые близкие, во всяком случае, никак не больше трехсот.

Я не знаю, как они разрешили это противоречие. На свадьбе я не был, хотя на несколько дней до этого торжественного события ко мне в Черноголовку пришло красивое приглашение с золотыми тысячными буквами, в котором меня просили уведомить, в какого типа гостинице я бы предпочел остановиться, и вежливо рекомендовали прийти во фраке. Пришлось написать, что я очень польщен, но, к сожалению, все билеты на поезд «Черноголовка — Лос-Анджелес» уже проданы, да и вообще, тут жена как раз стирку затеяла...

Пэм оказалась не из тех, кто быстро расстается со своими бредовыми затеями. Через некоторое время на очередной праздник рисования формул, который проводился в Москве, вместе со Стивом приехала и она. Это совпало с очень трудным для меня временем, когда я как раз преображался в побитую трехсотлетнюю черепаху и на некоторое время потерял ту легкость восприятия, которая так необходима при общении с сумасшедшими. К тому же мне тогда до зарезу нужно было где-то достать детское мыло.

Я встретил Пэм и Стива на Пушкинской площади. Был ноябрь, шел мерзкий моросящий дождь, под ногами хлю-

пала грязь, было холодно и противно. Пэм сразу же предложила зайти погреться в ближайший бар и выпить кофе, а я вместо того, чтобы расхохотаться, огорчился. Я попытался ей что-то объяснить, зачем-то приплел проблему детского мыла (мыло тогда еще различали по видам), а получилось тяжеловесно и неубедительно.

Вместо бара мы пошли снимать зал для будущей выставки. Это было одно из тех странных получастных заведений, которые как грибы множились в расцвет перестройки, и, естественно, там проходила выставка фотографий обнаженной женской натуры.

Пэм набросилась на владелицу выставочного зала, замученную, хотя и богемного вида женщину, и стала показывать ей слайды художественных полотен, на которых знаменитые физики рисовали еще более знаменитые формулы. Захлебываясь, она рассказывала, как замечательно будет танцевать профессор Палмер, демонстрировала изображение наколотых на жердь физических журналов, что-то объясняла про взаимопонимание, про соприкосновение науки и искусства...

Владелица зала ошарашенно слушала. Потом, когда Пэм выдохлась, эта женщина устало вздохнула и обратилась за помощью ко мне. Она попросила объяснить этим сумасшедшим американцам, что хотя она, конечно, страшно польщена, но ей сейчас трудно дать какой-либо ответ. Их тут как раз приравняли к торгово-посредническим кооперативам, обложили налогом и, может, через неделю всех арестуют, хотя, может, только через месяц. Поэтому говорить о том, что будет через год, ей как-то немного трудно — как о жизни в третьем тысячелетии... Я попробовал объяснить все это Пэм, и она меня опять не поняла...

2.

Прошел год, но даже живя в уютном домике на берегу Тихого океана в Лос-Анджелесе, Пэм не могла рассстаться со своей затеей устроить выставку «Искусство Физики» в Москве. Так тоже бывает: человеку, который живет в солнечной Калифорнии, не хватает изюминки в жизни. А ее никто не понимал, ни в Калифорнии, ни в Госдепе, ни в Москве.

Тем временем я прилетел в Скалистые горы и устроил сидеть у камина, слушая печальные песни Стинга про то, какие хрупкие человеческие души. Я был совсем не против повидать своих друзей, но все хорошие люди, мои друзья, отличаются тем общим свойством, что у них всегда тут с деньгами. Стив был большим ценителем красивых формул, он был совсем не против, чтобы я нарисовал ему что-нибудь новенькое на доске, но его университетских денег хватало лишь для оплаты моего путешествия только на автобусе и только в один конец. Кормить же меня в Калифорнии весь остаток моей жизни он тоже был не в силах. И я уже совсем было настроился скоротать оставшееся время в Скалистых горах, сидя у камина, когда мне неожиданно позвонила Пэм.

— Приезжай, — сказала она. — Мы тебя ждем. Езжай немедленно.

— Но... — сказал я.

— И не говори, пожалуйста, что у тебя нет денег. У Стива тоже нет денег — экая невидаль.

— Да, но... — сказал я.

— Слушай, ну что ты ноешь! Здесь такой же бардак, как и у вас в России. Возьми велосипед, поезжай в аэропорт, стань у стойки, сделай жалобный вид, пусти слезу, скажи, что ты русский, скажи, что у тебя умерла бабушка (у тебя есть бабушка? — нет? — очень хорошо), скажи, что ты первый и последний раз в Америке и повидать Калифорнию — это мечта всей твоей жизни, скажи, что по возвращении в Россию тебя отправят на всю жизнь в Сибирь, скули, упрашивай, рыдай! Это же Америка! Здесь все возможно! Нужен только напор, выдумка.

— Это-то конечно, но... — сказал я.

— Слушай, Вик, я тебя не узнаю. Какой ты, к черту, путешественник! Лежи на диване и хочешь, чтобы тебе все принесли на блюдечке? Думай, действуй, изобретай!

— Пэм, я бы... — сказал я.

— Вик, ты старая ленивая русская свинья. Тебя в Калифорнии ждут твои друзья, а ты лежишь на диване и скучишь. Как тебе не стыдно?

Эта «старая ленивая русская свинья» меня окончательно сломила.

— Ладно, Пэм, я приеду, — сказал я.

— О.К. Мы ждем. Пока.

Я не стал ездить в аэропорт. После тридцати трех лет жизни в Советской России меня тошнит от упрощиваний. Вместо этого я пошел к рисователям формул. Как я и ожидал, там нашелся человек, который через несколько дней собирался ехать на машине в Калифорнию, правда, не в Лос-Анджелес, а в Сан-Франциско, но для меня это было почти одно и то же. Это был тот Володя из Парижа, с которым мы ходили на вершину Замок. После двух месяцев в Америке он с женой Наташей и сынишкой Сережей возвращался обратно в свой родной Париж.

3.

Между Колорадо и Калифорнией лежит великая пустыня Невада. Грандиозные желтые блюда долин, оранжевые цепи гор и синее небо. Девственно чистые краски. Миряжи пустынных озер, яркий кровавый пустынный закат, сияющее россыпями изумрудов черное ночное небо и голубые призраки гор на горизонте. В отличие от аляповатых декораций американских городов, это было что-то действительно настояще.

Мы ехали по вызывающе ровным пустынным дорогам, часами не встречая машин, и, разумеется, мы просто не могли не превышать скорость. Ехать по таким прямым взлетно-посадочным полосам в пределах установленных 90 миль было просто оскорбительно.

Полицейская машина материализовалась впереди просто из ничего. Несколько секунд назад дорога, казалось, на десятки километров была идеально пустой, и вдруг в сотне метров перед собой мы увидели это едущее навстречу размалеванное черно-белое страшилище. Володя нажал на тормоза, но было уже поздно. Полицейские промелькнули мимо, развернулись, включили все свои мигалки и начали преследование. Хотя русская привычка требует, что если тебя догоняют, нужно убегать, Володя поступил так, как того требовал разум и немедленно остановился.

Полицейская машина остановилась в пяти метрах. В машине было двое, и я видел, как один что-то сказал по радио и вышел из машины, а второй взялся за приклад карабина, пристроенного вертикально возле переднего стекла.

К нашей машине вразвалочку, не торопясь, приближался колоссальных размеров шкаф в полицейской форме. Это был великолепный, просто фантастический мужчина. В умопомрачительных черных сапогах выше колен, туто стянутый широким кожаным ремнем, на котором зловеще позывали наручники, висели дубинка, пистолет, рация и еще какие-то предметы, на груди шириной с автомобиль — большой металлический жетон шерифа, еще выше — бывшая шея, на голове — великолепная ковбойская шляпа, и все это высотой никак не меньше 2.10. Казалось, он вышел прямо из старых вестернов. Если бы я был женщиной, то при виде этого великолепия я бы немедленно растаял, а так, в своей нынешней инкарнации, мне сразу же захотелось поднять руки.

Володя, похоже, был тоже впечатлен сверх всякой меры, потому что, забывши все на свете, по старой русской привычке кинулся было вылезать из машины, чтобы бежать оправдываться. Хладнокровнее всех оказалась Наташа. С воплем «Сидеть!» она резко пригвоздила мужа к креслу. В Америке ни в коем случае нельзя выходить из машины навстречу полицейскому. Выход из машины рассматривается как попытка нападения, и в этом случае полицейский вправе продемонстрировать все, что он умеет делать с клиентом, который ему угрожает.

Полицейский шкаф остановился у окошка водителя, и в машине сразу стало темнее.

— Права, пожалуйста, — пророкотало откуда-то сверху тем редким басом, который находится на самом низкочастотном краю воспринимаемого спектра.

— Я... Мы... Немножко торопились... — Голос у Волода, и так не содержащий басовых гармоник, от волнения теперь съехал на писк.

— Да, сто десять миль, — пророкотал полицейский.

— Мы... Больше не будем... — пропищал Володя.

— Французы? — пророкотал полицейский, просматривая права.

— Нет, что вы! Мы русские! — пропищал Володя. — То есть мы из Парижа, но... Вы знаете... Мы русские... Мы больше не будем, правда.

Полицейский где-то там вверху задумался.

— Честное слово... Мы на самолет... Самолет улетает... Мы больше... Никогда-никогда... Правда...

Посреди пустыни Невада, где на десятки километров вокруг — ни одной живой души, стоял американский полисмен и держал в своей власти горстку попискивающих русских. Мне кажется, от осознания этой ситуации он получил полное удовлетворение и смягчился.

— О'кэй, — снисходительно пророкотало сверху, — не делайте так больше.

Он отдал права и вразвалочку удалился. На фоне величественного пейзажа пустыни он был великолепен.

4.

Сан-Франциско в Америке называют просто Фриско. В этом удивительном городе есть что-то от нормальных европейских городов, и, наверное, поэтому в Америке он считается совершенно ненормальным. Город расположен на крутых холмах, и из-за этого его не удалось расчертить под линеечку прямоугольной сеткой стрит-авеню, в нем есть много узких кривых уочек, дома стоят вразнобой, а по вечерам все это заполняется праздношатающейся публикой, которая ходит в обнимку и целуется. Несколько лет назад, просто для забавы, здесь снова пустили трамвай. Поскольку это была лишь причуда, то проводить сверху контактный провод не стали, и этот очаровательный вагончик, увешанный гроздьями как бы пассажиров, на всем протяжении своего маршрута просто таскает за собой кабель, проложенный под рельсами.

Во Фриско есть самый настоящий Чайна-таун, а не его неуклюжая нью-йоркская имитация. Целый квартал уютных узеньких уочек, напичканный китайскими ресторанчиками и магазинчиками, где английской речи почти и не слышно. От Шанхая он отличается только отсутствием столь характерного для настоящего Китая мусора на улицах.

Самое высокое место во Фриско называется Русский холм. Здесь когда-то действительно было русское поселение, и прояви русские больше упрямства, здесь сейчас мог бы быть Раши-таун. Однако много лет назад они не устояли перед большими деньгами, которые им предлагали за их дома, и теперь от поселения осталось одно название. Между прочим, точно таким же способом пытались выжить и китайцев, но те выдержали. Китайцы всегда отличались умением считать на три хода вперед.

Есть во Фриско великолепный мост «Голден Гейт» — главные «ворота», ведущие в город, расположенный на полуострове. Есть фантастические туманы, почти всегда укутывающие весь город и залив в первой половине дня. Если подъезжать к Фриско в этот час, то вместо города, можно увидеть большое белое облако, клубящееся в лучах утреннего солнца среди невысоких гор, торчащие из белой ваты высокие опоры «Золотых ворот», макушки небоскребов Даун-тауна и верхушку Русского холма.

А еще Фриско отличается большим гостеприимством. Я это сразу понял, когда пришел на автобусную станцию «Грейхаунд». Там в окочечке «Информация» я попросил объяснить мне, каким образом я смогу уехать из Лос-Анджелеса к себе в Колорадо, и милая девушка ответила, что у меня нет другого пути, как вернуться обратно к ним во Фриско. Я проявил бес tactность и позволил себе усомниться. Тогда она взялась рыться в каких-то толстых книгах, но в конце концов развернула руками и сказала: «Вот видите, я же вам говорила, в Колорадо можно уехать только из Фриско». Поэтому она предложила мне сразу взять билет до Лос-Анджелеса и обратно. Я был очень тронут, но, тем

не менее, я подло обманул эту милую девушку. Я пообещал ей, что так и сделаю, но билет взял только туда.

5.

На побережье Тихого океана я добирался к восходу солнца. Я проехал поперек этот кошмарный супергород, это страшилище, называемое Лос-Анджелес, и выбрался на берег у станции Санта-Моника.

На зеленом газоне вдоль идущей берегом улицы начинали шевелиться нищие. Десятки этих укрытых лохмотьями тел валялись на красивой зеленой полосе между дорогой и пляжем как естественное продолжение города, который остался по другую сторону дороги. Некоторые флегматично рылись в мусорных баках, составляя себе меню на завтрак, но большинство лишь только просыпалось, выставляя под утреннее солнце свои опухшие рожи и нежась покоем изумительного калифорнийского утра. Рядом по тротуару пробегали трусцой красивые мужчины и прекрасные женщины в белых маечках, белых шортиках и белых пружинящих кроссовках. Рядом заканчивали свою утреннюю работу красиво одетые дворники, рядом проносились сияющие машины, рядом начинался новый день...

Ровные редкие океанские волны уверенно шли из сероголубой бесконечности и неторопливо облизывали песчаный пляж. Океан дышал уверенностью и спокойствием. Океан вел свой собственный счет времени. Он видел и знал так много; что мог прикасаться к этому серому громадному чудовищу на берегу со спокойной уверенностью в своей силе, без сожаления и упрека.

Океан меня принял в себя ласково и мягко. Океан был настоящий.

6.

Я добил, я уничтожил эту прекрасную идею. Я сказал:

— Пэм, не делай этого.

Пэм с отчаянием посмотрела мне в глаза, сказала:

— И ты Вик, против меня... — отрешенно оглядела окружающий мир, и идея умерла. Никогда, никогда несчастная Россия не увидит стопку физических журналов, наколотых на пятиметровую жердь, не замрет ее сердце при виде гигантского квазикристалла. Пройдет много лет, растанут ледники и встанут новые горы, будут гаснуть и зажигаться звезды, но никогда ни в Москве, ни на рязанщине не прозвучит щемящая песня про суперструны — ее нежные аккорды затихнут в Вечности, не коснувшись русского сердца. Все это из-за меня.

Пэм безучастно бродила из комнаты в комнату, ее погасший взор рассеянно скользил по окружавшим ее предметам, не задерживаясь ни на чем. Ее не радовал больше этот милый домик на берегу океана, этот уютный внутренний дворик, весь усаженный розами, этот очаровательный голубой бассейн. Ее не влекла больше даже любимая пропахшая красками мастерская... Угасла путеводная звезда, жизнь потеряла всякий смысл.

Все это продолжалось ровно четыре минуты. Четыре минуты своей жизни Пэм прожила, не имея никакой цели. Это состояние было для нее совершенно противоестественно, и поэтому естественно, что в начале пятой минуты она вздрогнула и вдруг осознала, что именно ей предначертано совершить в своей жизни.

Должен сознаться, что только там, в Калифорнии, я понял одну очень простую вещь. Общение с Россией никому не проходит даром. Я сейчас говорю не о тех, кто прожил там всю жизнь, — о нас, клейменых, разговор особый, — я о тех, кто к ней просто прикасался. Мягкосердечный Стив и милая Пэм, с ее легко сдвигаемой психикой, яркий тому пример. После невинного посещения конференции в Москве они наивно полагали, что будут спокойно продолжать жить в Калифорнии на другом конце планеты. Как бы не так.

С тех пор не проходит и недели, чтобы не звонил телефон, и кто-нибудь малознакомый, а чаще просто незнакомый, на ломаном английском не заводил разговор о визах и приглашениях. Письма-просьбы приходят со всех кон-

цов планеты, не только из России или Америки. Стив безостановочно пишет рекомендации, обзванивает университеты, расспрашивает о возможности устроить на работу этих замечательных ребят — он полагает неэтичным подозревать, что они, может быть, не такие уж и замечательные. Пэм тоже трудится, звонит, узнает о чьих-то близких и дальних родственниках, устраивает детей в школы, организует нужные контакты, встречи...

Это когда-то давно русскую эмиграцию можно было разделить на волны и потоки. Теперь на эмигрантском море сильнейший шторм. А шторм жесток ко всем, кто в него попал. Когда выяснилось, что я решительно ни о чем не собираюсь просить, Пэм мне честно созналась:

— Знаешь, Вик, мы так устали от всего этого...

Поэтому нет ничего удивительного, что новая идея, овладевшая на моих глазах Пэм, снова относилась к советской физике и ее людям. Теперь Пэм загорелась мечтой устроить где-нибудь в Америке или в Европе что-то вроде усыпальницы советской физической школы, или как она предпочтала говорить, «архива-музея». Советская школа теоретической физики умерла — Пэм знала это лучше многих, ибо ощущала последствия этого печального факта на себе. С другой стороны, советская школа теоретической физики была замечательным и совершенно уникальным явлением, рассуждала Пэм, поэтому было бы непростительно не сохранить для человечества память об этом удивительном феномене.



— Ты только посмотри, — говорила Пэм, — посмотри, что у меня здесь есть!

У Пэм хранились удивительные документы. Десятки часов видеозаписей-интервью со старыми и молодыми советскими физиками, которые она брала в России и Америке (Боже! — что они там несли!). Сотни, может быть, тысячи слайдов и фотографий этих физиков (некоторые при весьма специфических обстоятельствах). Письма, личный опыт...

Ушла в прошлое четырехминутная слабость — Пэм начала действовать. Она быстро составила список влиятельных людей в Америке и Европе, которые могли бы помочь в реализации идеи. Она тут же, не сходя с места, набросала письмо в Госдеп, где объяснила, почему ей, мисс Дэвис, совершенно необходимо срочно предоставить грант. Потом она немного подумала и сочинила обращение от имени известного академика, дочь которого она вывезла в Калифорнию, адресованное влиятельным людям на Западе. В этом письме известный академик объяснял, почему так важно устроить усыпальницу, то бишь «архив-музей», советской физической школы. Пэм еще раз перечитала обращение, задумалась и сказала:

— Он должен его подписать. — Потом еще немного подумала и добавила: — Он ведь не дурак, он должен сообразить, какая масса компромата содержится в этих материалах.

Я про себя охнул и подумал, что все эти сумасшедшие временами не такие уж сумасшедшие.

На милую Пэм было радостно смотреть — она снова вошла в свое нормальное состояние. Пэм опять была полна энергии и творческих замыслов — теперь снова надолго. Поэтому я покидал этот смешной гостеприимный дом в Санта-Монике на берегу океана с легким сердцем.

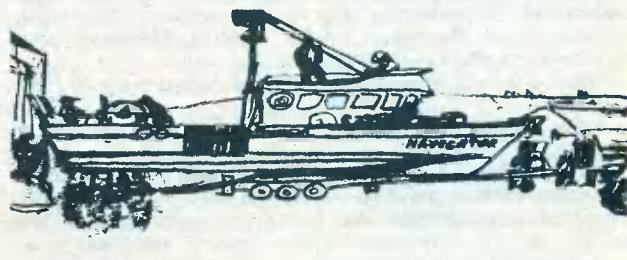
Прощай, Америка!

1.

На калифорнийском берегу в городке Санта Барбара живет старенькая, но еще довольно крепкая женщина по имени Татьяна Никитична. Она живет одна в милом уютном доме с верандой и маленьким садиком, густо заросшим виноградом и цветами. Она ведет свое небольшое швейное дело и руководит несколькими наемными работницами, тоже русскими.

Татьяна Никитична говорит на том чистом русском языке, на котором разговаривали в Курской губернии в начале 21-го года, когда она там родилась. Этот язык отличается от нынешнего тем, что в нем нет «большевизмов», ныне уже прочно в нас въевшихся. По-английски она говорит с едва заметным акцентом, а по-русски чисто и правильно, но что такое «положить конец» или «положительное развитие событий», понимать отказывается.

Спасаясь от большевиков, ее родители пересекли в свое время всю разоренную Россию и бежали в Китай. Там, в Шанхае, они и жили до сорока пятого года. Потом большевики добрались и туда. Многие жившие в Китае русские поверили тогда, что победа в войне — это победа России, а не коммунистов, и решили вернуться в лоно Отчизны. Татьяна Никитична и ее муж, потомственный русский двоюродный, были не столь сентиментальны и поэтому не



сложили свои кости в могильном лоне Отчизны на Индигирке и Колыме. Они бежали в Аргентину. Потом, через несколько лет, уехали в Мексику и, в конце концов, осели на калифорнийском берегу в Санта Барбаре. Сначала бедствовали, потом завели дело, купили дом. Несколько лет назад муж умер. Такая вот судьба.

Там, в Санта Барбаре, живет еще несколько стариков — осколков старой России. Один такой крепкий усатый старики Иван Петрович, член-то похожий на генерала Деникина, часто навещает Татьяну Никитичну. В отличие от Татьяны Никитичны, его семья большевистская революция вытолкнула не на восток, а на запад. В Белграде он закончил русский кадетский корпус, потом — война, скитания по Европе, и уже после этого — Аргентина, Мексика, Калифорния.

Поздно вечером мы сидели на заросшей виноградом террасе и пили водку. Из всех напитков эти старики признавали только водку и чай. Из водки предпочитали «Смирновку» и «Камчатку».

О том, что творится в России сейчас, меня спрашивали не много — они и так все прекрасно знали. Удивительное дело, они ведь там совсем не жили, но понимали и чувствовали все так, как будто какими-то параллельными жизнями отрубили там все эти семьдесят лет.

О том, чтобы увидеть Россию, Иван Петрович говорил так: «Туристом туда я не поеду!» Татьяна Никитична хотела — мы к этому времени уже хорошо выпили, — и говорила, что поедет туда открывать дело. Не ради денег — рубли это не деньги — а просто, чтобы показать, как нужно жить. «Разве не нужны русским хозяйствам такие вот вещи?» — говорила она, демонстрируя мне десяток нехитрых приспособлений для обработки овощей. «Нужны, — говорил я, — очень нужны, а еще очень нужны сами овощи, чтобы

было что обрабатывать». «А что, — говорил Иван Петрович, — разрешил бы ваш Горбачев устроить мне там свою ферму — я бы поехал. Нас тут в Калифорнии еще набрасывалось бы с десяток крепких стариков — мы бы, пожалуй, накормили всю Россию. Так ведь не разрешит». «Не разрешит, — соглашался я, — именно поэтому и не разрешит». Тут Иван Петрович сделал мне комплимент. Он выразился в том духе, как приятно пообщаться с умным человеком. Потом они с Татьяной Никитичной вспомнили какого-то своего общего знакомого, тоже бывшего выпускника кадетского корпуса, живущего во Фриско. «Такой милый славный старик, такой интересный собеседник, — говорили они, — но, к сожалению, дурак — он считает, что Горбачев умный».

На прощание Иван Петрович дал мне наказ по возвращении в Россию гнать в шею большевиков. «Теперь надежда на вас, молодых, — сказал он, — а не выйдет, приезжай сюда, в Калифорнию, мы найдем тебе дело».

2.

Утром я начинал длинный трудный путь на восток. Автобус до Санта-Моники уходил в семь часов, до станции в Лос-Анджелес городским транспортом ехать около часа, поэтому я поставил свой будильник на половину шестого. Казалось, все было так славно: мы хорошо выпили, душевно поговорили, у меня уже были билеты на весь маршрут до Колорадо, однако я допустил одну маленькую оплошность. Углубившись в размышления о том, куда бы выгнать большевиков, я поставил будильник наручных часов не на 5.30 утра, а на 5.30 вечера. Право же, от большевиков одни неприятности!

Утром я проснулся оттого, что меня трясла Татьяна Никитична.

— Виктор, да проснитесь же, — причитала она, — вы с ума сошли!

На часах было 6.20. Татьяна Никитична проявила максимум самообладания. Она запихнула меня в свой, как она говорила, разваливающийся драндуплет — здоровенный стиринный (десятилетней давности) «форд» — как была в хлатае и шлепанцах, вскочила за руль, и мы поехали.

На автостанцию мы прибыли за пять минут до предполагавшегося отправления автобуса. Автобус уже стоял, пассажиры были, но водитель, как я и ожидал, задерживался. Он пришел через сорок минут, сонный и злой. Потом он долго и уныло проверял билеты, что-то выяснял на автостанции. Выехали мы с опозданием на час.

В Санта-Монике у меня должна была быть пересадка на другой автобус, шедший до центральной станции Лос-Анджелеса. Интервал между автобусами был пятнадцать минут, поэтому мне оставалось надеяться только на чудо.

В Санта-Монике, в надежде на это чудо, я как сумасшедший рванулся в здание станции узнавать, не опоздали ли случайно нужный мне автобус. Мне сказали, что да, он как раз опоздал на сорок пять минут и показали на автобус, на котором я приехал.

На центральной станции Лос-Анджелеса у меня было два с половиной часа до моего следующего автобуса, который ехал через Колорадо ни много ни мало аж в Нью-Йорк. Мой опыт подсказывал мне, что лучше не расслабляться, поэтому я просто стал в очередь у нужных мне ворот и простоял в ней как столб все два часа. И только поэтому я и смог уехать — через три человека после меня места в автобусе кончились (ибо очереди имеют обыкновение со временем разбухать не только в России).

Мне предстоял фантастический суточный переход из Калифорнии через пустыню Невада и Лас-Вегас в Колорадо. За бортом были оранжевые горы и желтые блюдца долин. За бортом было около сорока градусов, но кондиционеры в автобусе работали — этим он существенно отличался от своих российских собратьев.

Рядом со мной через проход сидела симпатичная девушка, которая робко, даже немного затравленно, осматривалась по сторонам, как будто силясь понять, куда она попала. Наконец она не выдержала и, заметно стесняясь, спросила меня, разрешается ли здесь в автобусах кушать.

Не смейся, милый читатель, — это очень печально, ибо для человека, который только что окунулся в эту страну, подобный вопрос выглядит вполне естественным. Я сразу понял, что девушка недавно из Европы и первый раз в Америке. Валери, так ее звали, была парижанкой и ехала учиться в Денверский университет. Она всю жизнь прожила во Франции, бывала в Италии и Испании, и наивно полагала, что жизнь — это праздник и что все, что естественно — не безобразно.

Первое, что она увидела в Америке, что люди прячут бутылки в бумажные пакеты, ибо, как ей сразу же объяснили, пить спиртное на улице запрещено. Дальше она обнаружила, что целоваться на улицах и в публичных местах считается предосудительным. Потом ей дали понять, что не иметь бодрого сияющего вида — это признак дурного тона. В довершение ко всему она любила иногда выкурить сигарету, а это в Америке — совсем тяжелый случай.

Я сказал Валери, что по каким-то неясным для меня причинам кушать в автобусе считается нормальным — по крайней мере, в этом несолидном слое американского общества, который обслуживает «Грейхаунд». Она расслабилась, улыбнулась, почему-то сказала мне «спасибо» и стала жевать свой бутерброд.

Издали город Лас-Вегас похож на призрак. Посреди ничего, посреди пыльного желтого неродящего пустыря стоит небольшая сияющая куча коробок-домов. Вокруг нет никакой воды, здесь решительно нечего делать людям. Здесь, в пустыне, хоть и красиво, но ужасно скучно. Именно поэтому, наверное, и было искусственно выращено это странное нелепое поселение.

На подъезде к городу водитель взял микрофон и попросил пассажиров указать ему, возле каких казино сделать остановки. Педантично обхевав все названные ими места, водитель остановился на центральной станции, снова взял микрофон и сказал, что если кто-то передумает ехать дальше, можно взять обратно свои билеты. Еще он сказал, что дает пассажирам час на размышление.

Напротив станции на огромном щите было написано «Крайзи Герлз Бэнд», и одна из этих «герлз» была нарисована хотя и не со всеми подробностями, но все равно очень привлекательно. В Неваде Америка демонстрирует обратную сторону своего консерватизма. Здесь она сломя голову бросается на все то, что «низ-зя» во всех остальных штатах. Здесь разрешены и процветают азартные игры. Здесь игровые автоматы стоят везде, даже в сортирах.

Здесь, в Неваде, открыт первый и пока единственный в Америке официальный публичный дом. Сидя у камина в Скалистых горах, я однажды видел, как телевизор в промежутке между Саддамом и вредом холестерина передавал теледебаты, посвященные этому вызывающему факту. Ведущий сдержанно (что поделаешь — он журналист) беседовал с владельцем этого публичного дома, высматривая его, как он дошел до жизни такой, а в студию звонили взвужденные граждане и говорили что-то до боли знакомое о нравственности и растлении молодежи. Какой-то профессор-сексолог сказал, что хотя его наука говорит, что это вроде бы в некотором смысле как бы и ничего, но как гражданин он против. Ведущий иногда разводил руками, дескать, что поделаешь — у нас демократия. Нашлась только одна женщина, которая позвонила и сказала, что если бы так получилось, что ее мужу пришлось бы ей изменить, она бы предпочла, чтобы он это сделал в безопасном культурном месте. После этого, как говорится, что тут началось! Репспектабельная Америка очень переживала по поводу нравов, царящих в Неваде.

Бедный, бедный Гэрри Харт! Не в той стране он собирался стать президентом. В то время, когда его застукали с красоткой на яхте, я был в Италии. Италия тогда как раз выбрала в свой парламент секс-бомбу Чичолину и просто визжала от восторга. А эта история с Гэрри Хартом Большое Сердце дала итальянцам еще один веский довод в пользу того, что Америка — это совершенно безнадежное место. У нас, говорили итальянцы, такой претендент получил бы сразу сто очков вперед.

Лас-Вегас, впрочем, — это тоже не Италия. Это даже не Семипалатинск — это что-то совсем другое. Казино: колоссальных размеров зал, метров сто в длину и столько же в ширину; стройными рядами стоят тысячи и тысячи цветастых игральных автоматов; у этих автоматов сидят тысячи и тысячи мужчин и женщин и как автоматы раз за разом сосредоточенно дергают рукоятки; все это звякает, мякует мелодиями, искрится и переливается разноцветными огнями. Ниже, в подвале, еще один такой же зал. Сверху — еще несколько таких этажей. Рядом — такие же коробки-казино. Десятки тысяч людей сидят стройными рядами и дергают рукоятки. Утром и вечером, днем и ночью, день за днем, год за годом. Все это звякает и искрится. А вокруг — желтая пустыня и яркое синее небо.

Есть в этой картине что-то эсхатологическое.

3.

Ужасающая жара к вечеру разрешилась великолепным ураганом. Грандиозная булгаковская черная туча, пришедшая с далекого Океана, накрыла пустыню. Исчезли далекие цепи гор, растворились в густой пелене дождя потускневшие блюда долин, пропала великая пустыня Невада, как будто и не было ее на свете. Осталась мокрая горная дорога и автобус, бесстрашно прорывающийся сквозь упругие потоки воды. Ехесундно яркие взрывы небесного огня летели в землю, озаряя весь этот мутный мир короткими фиолетовыми вспышками.

Автобус упрямо полз вверх на перевал. Вместе с дорогой он закладывал крутые виражи, жался к скальным стенам, уворачивался от черных провалов в небытие. Автобус натужно гудел, заглушая даже грохот небесного гнева.

Потом он выполз на перевал и стал, как будто хотел отдохнуться. Водитель долго возился на своем капитанском месте, дергал какие-то ручки, изучал показания приборов, кряхтел, снова дергал ручки, нажимал на педали. Потом он открыл дверь и ушел в дождь. Где-то там он вскрыл брюхо автобуса, снова что-то дергал, чем-то лязгал. Вернулся он совершенно мокрый, сел на свое капитанское место и задумался.

Была буря и была ночь. Весь мир грохотал огнем и пылали. Из черноты ночи, как призраки, мгновенно вспыхивали и пропадали строгие очертания близких скал. Посреди пустыни Невада на макушке горного перевала стоял автобус с тремя десятками жителей этого греческого мира, а их совершенно мокрый капитан сидел на своем капитанском месте и молча думал.

Потом он взял микрофон и сказал: «Listen guys, we've got a little problem up here...»

Он был великолепен, этот пилот-испытатель фирмы «Грейхаунд». Он прекрасно выдержал интонацию, он сделал точную паузу после «Лисн гайз». Я им любовался.

Затем, так же не торопясь, он дал краткое пояснение. У нашего корабля больше нет тормозов. Тем не менее, мы попробуем приземлиться в ближайшую долину. Поэтому, пожалуйста, уберите колющие и режущие предметы, наклонитесь вперед, упритесь руками во впереди стоящее кресло и крепко держите детей.

И мы пошли на посадку. Медленно-медленно, тормозя мотором, наш пилот повел автобус сквозь грохот мировой катастрофы по крутой извилистой горной дороге вниз, на землю. Никто не сидел, наклонившись вперед. Теперь мы, пассажиры поврежденного корабля, были одной командой. Мы сидели гордо и прямо, готовые в любой момент бежать рубить мачту, крепить канаты, задевать пробоины. Мы смотрели на нашего капитана и верили в его силу.

Лишь двое не участвовали в этом прекрасном единении. Валери и подсевший к ней после Лас-Вегаса длинный усатый молодой человек проявляли свой восторг по-другому: они совершенно захватывающие целовались. Молодой человек тоже был европеецем, и он сумел быстро объяснять Валери, что здесь, в автобусе, можно не только жевать бутерброды. Особенно, когда вокруг ночь, пустыня и великолепная гроза, а автобус спускается по крутой горной дороге без тормозов.

Мы приземлились благополучно, и романтика сразу же

кончилась. Водитель-капитан остановился на ближайшей автобусной станции, кинулся к телефону и, ругаясь некорректными словами, стал кому-то объяснять, что на этом драндулете он никуда дальше не поедет, и вообще, что он устал и хочет спать. Часа через полтора пригнали другой автобус, но его водитель, сонный и злой, сумел осилить лишь один переезд до следующей станции. Там он тоже кинулся к телефону и, ругаясь некорректными словами, стал кому-то объяснять, что они так не договаривались, что сейчас три часа ночи, что он устал, как собака, что он хочет спать и никуда дальше не поедет.

Через час подъехал попутный автобус, следовавший до Дэнвера. Тех из нашей команды, кто ехал дальше Дэнвера, увили спать в гостиницу, а остальных, и меня в том числе, повезли дальше. Мы простились, как прощаются ветераны. Мы пообещали друг другу, что когда в этом мире грянет новая катастрофа, мы опять соберем нашу команду на один корабль, и тогда уже будем стоять до конца.

Я вышел в местечко Глинвуд Спрингс, откуда до Аспена было еще тридцать миль. На автобусной станции мне сказали, что, в принципе, отсюда в Аспен ходят автобусы. Вчера, например, был автобус, и завтра обязательно будет, но вот сегодня, как это ни печально, не будет. На мой вопрос, что же мне делать, эта классическая бесполая американка ослепительно-белозубо улыбнулась и развернула руками. Было ясно, что она советует мне держаться молодцом и не унывать.

Я решил последовать ее совету, вышел на шоссе и поднял руку. Голосование в Америке — это хороший социологический эксперимент. Этот эксперимент четко разделяет сидящих за рулем на две категории — тех, у кого слабые нервы, и тех, у кого нервы покрепче. При виде человека с поднятой рукой те, у кого нервы послабее, не отрывая взгляда от голосующего, переезжают на левую полосу и добавляют скорость, а те, у кого нервы покрепче, твердо смотрят вдаль и проезжают мимо, не увеличивая скорости.

Через час мне самому стало казаться, что на поясе у меня висит нож, карман оттягивает многозарядный кольт, а на шее болтается автомат «Узи». Еще через полчаса мне захотелось всем этим оружием воспользоваться. Еще через два часа я устал и стал мечтать о рязанском бездорожье.

Поодаль две женщины в ободраных джинсах и кедах грузили в свой обшарпанный, покожий на «жигуль», драндулете полинялые рюкзаки, расстрапанные веревки и прочую туристскую сбрую. Когда они закончили грузить, одна из них подошла ко мне, ослепительно-белозубо улыбнулась и сказала, что, похоже, мое голосование не очень получается. В ответ я постаралась изобразить столь же ослепительную, хотя, боюсь, и не очень белозубую улыбку, сказал, что да, где-то как-то не совсем и развел руками, чтобы она увидела, что у меня нет ни ножа, ни автомата. Ладно, поехали, сказала она.

По дороге они спросили, как мне нравится Америка. Я сказал, что это очень похоже на Россию, только веселее. В России голосуют, просто уныло поднимая руку, и в конце концов какой-нибудь мрачный водила тебя все-таки возмет, чтобы ты дал ему на выпивку. А в Америке голосуют не просто поднимая руку, а еще и поднимая большой палец вверх, как бы показывая, как все замечательно, и тебя не берут никогда, потому что тебе и так хорошо.

4.

Случилось так, или, как говорят, должно было так случиться, что из Аспена я улетал вместе с болгарином Иваном. Мы должны были вместе лететь в Дэнвер, а затем я отправлялся в Бостон, а он — в свой родной Париж. Так бы оно у него и получилось, если бы Иван не оказался рядом со мной. В этот раз небеса немного промазали, и их следующий удар, предназначавшийся мне, пришелся по Ивану.

За час до отлета самолета он обнаружил, что потерял билеты. Я очень расстроился, ибо понимал, что Иван здесь совершенно ни при чем, но сделать уже ничего было нельзя. Иван расстроился еще больше и кинулся звонить главной администрации Аспенского центра Сали, взывая о помощи.

Мисс Сали — это живая легенда, это одна из главных

достопримечательностей Аспенского центра теоретической физики. Больше всего (даже внешне) она похожа на знаменитую домомучительницу из фильма про Карлсона, и с заезжими физиками-Мальшами, особенно из недоразвитых стран, она ведет себя точно так же, как ее сказочный прототип. И пока не нашлось на нее ни одного Карлсона.

Сали нашла меня через час после моего возвращения из Калифорнии и заявила, что я отсутствовал семь дней и должен вернуть назад свою недельную зарплату. Кроме того, сказала она, согласно правилам, я должен был предупредить ее о своем отъезде. Я ей сказал, что я приглашен Аспенским центром и, согласно правилам, не имею права получать зарплату где-либо еще, а этого правила я не нарушил. Если ей угодно, мы можем направить соответствующий запрос во все университеты, частные и государственные фирмы Соединенных Штатов. Кроме того, продолжал врать я, накануне отъезда я ей позвонил по телефону, но ее не оказалось на рабочем месте. На это она мне сказала, что, согласно правилам, я имею право тратить свою зарплату только в Аспене и больше нигде, поэтому я должен вернуть ей все деньги, что я истратил во время поездки. На это я ей сказал, что увлекаюсь йогой, и все семь дней я ничего не ел, а передвигался я на попутных машинах бесплатно, поэтому, согласно правилам, я ей ничего не дам. Она ушла неудовлетворенная, и это было приятно.

И у этой самой Сали Иван просил помощи! Она выслушала Ивана с заметным даже по телефону удовлетворением и ответила, что ничего страшного не случилось. Она напомнила Ивану, что он находится в Соединенных Штатах Америки, и это кое-что да значит. В нашей стране, сказала Сали, вся информация заносится в компьютеры, и поэтому восстановить билет не составит никаких трудов. Обрадованный Иван кинулся к стойке компании «Юнайтед Экспресс». Представительница компании мило улыбнулась ему ослепительно-белозубой улыбкой, поступала по клавишам компьютера и радостно показала на дисплей, что да, действительно, вот он, Иван Костов, вот его место, поэтому никаких проблем нет, и он может снова купить свой билет.

В ответ Иван не нашел ничего лучшего как застыть с открытым ртом. «Но... у меня нет денег...» — прямо как Киса Воробьянинов, пробормотал он. «Как же вы тогда хотите лететь, если у вас нет денег?», — мило улыбнулась ему девушка. «Но... Почему?...» — пробормотал Иван. — Вот же я, Иван Костов, — показал он на дисплей, — вот же мое место. Почему же я должен снова платить за билет? «Потому, что вы его потеряли», — снова мило улыбнулась ему девушка.

Сговорились на том, что Иван купит билет до Дэнвера (на это у него еще хватало) и потом, по прилете, ему, может быть, возвратят часть стоимости. Что касается дальнейшего перелета в Париж, то он должен будет договариваться с той авиакомпанией, у которой был куплен билет.

К тому времени, когда я прилетел в Бостон, американские небеса, похоже, уже разобрались, что вышла ошибка, и быстро уладили это дело. На международных линиях в компьютер заносятся также и паспортные данные клиента, и именно это обстоятельство позволяет возобновлять билет без дополнительной оплаты. Американские небеса отпустили Ивана с миром и снова взялись за меня.

5.

В Гарвардском университете свято берегут традиции. В Гарвардском университете принято чтить свое уважаемое прошлое и уважать свое чинное настояще. В Гарвардском университете работают исключительно уважаемые люди и не уважать это обстоятельство считается крайне неуважительным. Здесь на дверях кабинетов укреплены массивные литьевые медные таблички с именами их выдающихся владельцев, в коридорах проложены мягкие ковровые дорожки, а на высоких стенах висят портреты великих предшественников. Здесь принято с достоинством относиться к высокому званию работника Гарвардского университета и на работу приходить либо в костюме с галстуком, либо в строгих брюках и рубашке, разумеется, без вызывающих орнаментов.

Здесь принято соблюдать порядок и не шуметь. Ибо здесь, в Гарвардском университете, важные люди занимаются исключительно важными вещами. А всякому, кого приглашают прочесть лекцию в Гарвардском университете, оказывают исключительно высокую честь. И приглашающий должен это понимать и стараться быть достойным этой высокой чести.

То, что мне оказана высокая честь, я понял сразу, но вот быть достойным высокой чести я устал еще с пионерского возраста и поэтому вел себя, не напрягаясь, то есть, скажем прямо, вызывающе. Перед лекцией я сомнением осмотрел свой внешний вид и покачал головой. Что-нибудь поправить было трудно. Старые кроссовки, потертые джинсы, а главное, желтая футболка с китайской надписью «Мо-Коу-Ху» и изображением знаменитой нанкинской женщины-интриганки по имени Мо-Коу, творившей многочисленные безобразия при императорском дворе XIII-го века. Даже если поверх всего этого повесить галстук, лучше не станет. Тем не менее лекцию я прочел, и, к чести слушателей, должен сказать, что никто из них не сделал мне ни одного замечания по поводу моего внешнего вида. Меня осудили молча.

Но вот после лекции, вечером, я совершил прямо-таки хамский поступок. Уважаемый профессор Халперн сказал мне, что они, физики-теоретики Гарвардского университета, приглашают меня на ужин. Я ответил, что чрезвычайно польщен, но обстоятельства сложились так, что мне непременно нужно улететь в Нью-Йорк, ибо завтра у меня самолет в Москву. На это уважаемый профессор Халперн слегка приподнял брови и с расстановкой повторил, что они, физики-теоретики Гарвардского университета, приглашают меня на ужин, но если я предпочитаю заняться чем-то другим, то, разумеется, я волен делать все, что мне угодно.

Эк вас здесь скрутило, подумал я, и мы расстались, полагаю, что навсегда и ко взаимному удовольствию. Машина, которая должна была отвезти меня в аэропорт, пришла вовремя. Однако на полдороге, прямо на перекрестке, она совершенно безнадежно заглохла и остановилась. К счастью, она остановилась так, что стала мешать движению, поэтому довольно скоро приехала полицейская машина и отвезла нас на ближайшую заправочную станцию, где всегда есть механик. К несчастью, был уже вечер, и механик свой рабочий день закончил. Когда нас приволокли на станцию, он как раз садился в свою машину и собирался уезжать. Однако, к счастью, полицейский проявил настойчивость, вытащил механика из машины и говорил его починить нашу машину.

В аэропорт мы примчались за пять минут до вылета самолета, однако через час был еще один, последний рейс на Нью-Йорк, и поэтому я пошел к регистрационной стойке без спешки, сохраняя достоинство. Этот челночный сервис между близкими городами Америки устроен так, что с купленным билетом можно лететь любым рейсом. Посмотрев мой билет, симпатичный молодой человек за стойкой сказал, что если я буду бежать изо всех сил, то у меня еще есть шанс успеть на самолет. Я с достоинством ответил, что не хочу бежать изо всех сил и предпочитаю лететь следующим рейсом. На это молодой человек сказал, что следующего рейса не будет, что на аэропорт садится сильнейший туман, и до завтра все полеты приостанавливаются.

И я побежал изо всех сил. Прямо как в дешевых детективах, когда я добежал до посадочного терминала, люк уже закрывали. Но я успел.

Бот кто мне нравится в Америке, так это полицейские.

6.

Нью-Йорк остается Нью-Йорком даже ночью. Те же кучи мусора возле переполненных баков, те же отсутствующие взгляды редких прохожих, те же нищие... Только ночью меньше света, и все это меньше видно, поэтому ночной Нью-Йорк все-таки приятней. Кроме того, ночью на улицах нет того гнетущего обилия деловых бесполых американок, которые, выиграв битву за равенство с мужчинами, сдвинули свой пол ровно на середину между

мужским и женским. Говорят, ночью они боятся выходить на улицу — хотел бы я знать, кому они нужны. И еще ночью не видно той замечательной нью-йоркской архитектуры, после которой московское Чертаново может показаться творением Микеланджело.

Последнюю ночь я решил провести в простенькой гостинице типа общежития для бродячих студентов. После приюта для бездомных это самое дешевое, что есть в Нью-Йорке — всего 30 долларов за ночь. Сеть подобных гостиниц покрывает всю планету (разумеется, за исключением 1/6 части суши), и это действительно очень удобно, если хочется путешествовать и не хочется ночевать на тротуаре.

Одна такая ночлежка есть даже в китайском городе Кантоне на берегу Жемчужной реки, где я однажды провел пару ночей. Там это было очень мило — комната типа спортзала на 50 человек, двухэтажные нары, а рядом пиво, пальмы, кокосы...

Здесь, в каменных джунглях, все было очень похоже, но почему-то не так мило. Молодой человек за стойкой долго рылся в толстой амбарной книге, в которой находился пространственно-временной план ночлежки с именами проживающих, записанными карандашом — чтобы можно было вносить исправления. В конце концов, он отыскал комнату, где в его схеме имелось свободное место, и выдал мне ключ в виде магнитной карточки. Когда я вставил карточку в щельку возле двери с указанным номером, замок действительно щелкнул, и дверь открылась. Однако, сколько я ни искал, обходя в душной темноте двухэтажные нары, свободного места я не нашел.

— Странно, — сказал молодой человек, — кто же это там спит? — И стал листать амбарную книгу дальше.

Наконец он снова нашел свободное место и выдал мне другую магнитную карточку.

— А есть ли у вас здесь душ? — спросил я.

— Есть, — ответил молодой человек, — но, во-первых, за него нужно платить, а во-вторых, он сейчас не работает.

Теперь среди шестнадцати мест в комнате я отыскал три свободных, хотя по схеме молодого человека должно было быть только одно. Все это так напоминало китайщину, что я даже ожидал обнаружить простыни, на которых спали несколько поколений. И ошибся — простыней вообще не было, а были просто матрац и подушка. Впрочем, так было даже лучше.

Интересно, какую изюминку мне приготовил «Грейхаунд» на этот раз, подумал я утром.

Фантазия у «Грейхаунда» оказалась небогатой.

Отправляясь в аэропорт, я решил, на всякий случай, иметь в запасе лишних полтора часа. Из них полчаса ушло на появление в автобусе водителя. Точнее, водителей было все время много, они стояли у автобуса и просто базарили, и потребовалось полчаса, чтобы один из них перестал базарить и полез в автобус. Еще полчаса ушло на проверку билетов. Впрочем, это скорее напоминало некую ритуаль-

ную процедуру знакомства водителя с пассажирами — прямо как в Средней Азии или на Кавказе. Взяв билет, водитель не мог просто так отойти от человека и заводил с ним неторопливую беседу. Когда я попытался быстро закрутить беседу со мной, он посмотрел на меня странно, что мне даже послышалось: «Слушай, дарагой, зачем спешишь?..»

А когда мы, наконец, поехали, то очень быстро испарились и последние запасные полчаса. Была пятница, перед уик-эндом ньюйоркцы покидали город, дороги стали совершенно непроезжими. Я плохо представлял себе расстояние до аэропорта и маршрут, соответственно мне трудно было вычислить, какие у меня еще оставались шансы успеть на самолет, но я ясно видел, что мы движемся лишь чуть быстree пешеходов.

Я пошел к водителю и спросил, какой у него прогноз о времени прибытия в аэропорт. Может, если повезет, часа через два и приедем, обрадованно сказал он. Было видно, что ему страшно хочется побазарить. Я ему сказал, что через полтора часа у меня улетает самолет в Европу.

— Иеа, — сказал водитель, — ю хээ э проблем...

Он показал взглядом на совершенно забитую машинами дорогу и улыбнулся замечательной ослепительно-белозубой улыбкой. Было ясно, что он мне советует держаться молодцом.

— Останавливай автобус, — сказал я.

Он помог мне вытащить вещи, снова разулыбался и пожелал удачи.

Я назвал таксисту время вылета моего самолета и показал все доллары, что у меня оставались. Доллары его не впечатлили — это было лишь чуть больше того, что и так набежало бы по счетчику. Но вот время вылета разбудило в нем кого-то из его азартных предков-ковбоев. Водитель бросил что-то вроде: «Ну ты, парень, даешь!», его глаза загорелись огнем, он подпрыгнул в своем кресле, как в седле, и нажал на газ.

На своем лихом скакуне он творил чудеса. Он обгонял слева и справа, он выезжал на тротуар и сигнализил как сумашедший. Протиснувшись в сантиметре от очередной машины, он кряжал от удовольствия и бил ладонью по баранке. А на спокойных участках он мне рассказывал, какое, должно быть, замечательное место Москва, и что он всю жизнь мечтал там побывать.

Он меня спас. За двадцать минут до вылета самолета он подкатил машину точно ко входу, на котором было написано «Аэрофлот». Потом он не забыл взять у меня все остававшиеся доллары, довольно расплылся в замечательной белозубой улыбке и пожелал удачи.

Вот и все, осталось поставить последнюю точку. И когда самолет оторвался от полосы, я сказал: «Прощай, Америка!» Я сказал это по-русски, ибо что может быть лучшим напутствием для Америки, чем слово «прощай»?

Редакция приносит извинения...

В номере 9 журнала «Юность» за 1993 год в статье «Как Зорька победила горсовет» был дана негативная оценка деятельности недавно умершего прокурора г. Чусового Пермской области Латыпова М.У. Редакция признает, что указанная оценка отражает субъективную точку зрения автора.

Из представленных в редакцию документов усматривается, что Латыпов М.У. в течении двадцати шести лет работал в органах прокуратуры, являлся опытным, инициативным работником, добросовестно относился к выполнению своих обязанностей, за что неоднократно поощрялся вышестоящими прокурорами.

Редакция приносит извинения тем людям, чьи личные и профессиональные чувства были задеты при публикации данного материала, родственникам покойного.

Мы попросили...

Гавриил КОРСАКОВ

Встреча в верхах

Мы попросили нищего, и он пришел в гости к миллионеру

Миллионер был настоящий и был очень занят, он каждый день считал свои миллионы и думал о том, какую толику выделить для очередной благотворительной акции. Ему нравилось, когда его имя звучало рядом с нуждающимся детским домом, заходящим филармонией или оскудевшим театром. Выступая гордым сиятелем на ниве отечественной культуры, он шествовал по презентациям с достоинством павлина, умело прячущего свои яркие краски.

Нищий, естественно, не смог бы пробриться к миллионеру, потому как того сторожили лица с бульдожьими лбами, которыми, лбами то есть, можно было забивать гвозди в шестиглавые доски. Но редакция журнала очень-очень просила миллионера, обещая рекламу, интервью и лестное упоминание о его благотворительности. К тому же встречей заинтересовалось ТВ — нынешний узурпатор общественного мнения. Миллионер нехотя, но согласился.

Нищий был тоже настоящий — из подземного перехода, и даже профессионал в этом деле, хотя у редакции тепло желание нарядить в лохмотья какого-нибудь опытного журналиста. Нищий был умный и начитанный. Нищему пришлось обещать хорошо заплатить, поскольку с трудом сбираемой милостыни едва хватало ему на обед в «Макдональдсе». Мы просили нищего одеться побуднее, но он резонно возразил, что в демократическом мире не одежда определяет статус личности. Трудно было не согласиться.

Снимок, сделанный корреспондентом, все равно был захватывающим: отутюженный миллионер с мальбиной в зубах элегантно протягивает руку коренастому нищему в тайваньской ковбойке и ворсистом пиджаке. «Встреча в верхах» — такую шапку над фотографией предложил наш ответчик и блеснул знанием Вергилия: «Всякого влечет своя страсть». (Фотография при верстке, к сожалению, потерялась, а негатив загадочно «был утрачен», повторно же позировавший миллионер насторож отказался.)

Разговор у них починалу не клеился.

Нищий что-то сказал о погоде, что-де слишком душно на улице, и это плохо отражается на его сборах. То был пробный шаг, но миллионер отнесся к таким словам серьезно и вздохнул в свою очередь, что сам он не замечает погоды вообще: находится большей частью в помещениях — на биржах, в магазинах, в офисах, в том числе и правительственные. В свободное же время — рестораны, сауны, клубы, казино. А когда выбирается на теннисный корт или заезжает к жене на виллу — его любая погода радует.

Одна тема была исчерпана, они помолчали.

— Трудно быть миллионером? — вспомнил, наконец, нищий. Этот вопрос был подсказан ему в редакции. Миллионер хотел сказать, что трудно, хотя на самом деле он действовал легко и спортивно. На заре перемен быстро уловил тенденцию и скопил по дешевке французскую туалетную воду, а когда цена подскочила в тысячу раз — про-

дал. В другой раз он надул своего компаньона. В третий — элементарно отмыл деньги одной мафиозной группировки. Потому ответил неопределенно:

— Временами трудно, временами легко...

Тогда нищий подъехал с другого бока:

— Легко ли стать настоящим миллионером?

Миллионер с нежной ненавистью покосился на нищего. В нем проснулось классовое чутье.

— Попробуй — узнаешь, — просипел он, но тут же спокойствовал и продолжил газетной фразой: «В демократическом обществе, обществе равных возможностей, каждый может стать богатым человеком».

Нищий в свою очередь тоже начал наливаться ненавистью и подумал: «Сукин ты сын, какие равные возможности у жулика и честного человека?» Но, вспомнив о своей роли, произнес:

— С какой суммы начать — вот вопрос? Ведь у вас, признаетесь, было что вложить в дело.

— С нуля начинал! — весело откликнулся миллионер, хотя одна сообразительная полупартийная организация почти насильно всучила ему несколько десятков миллионов, дабы он их приумножил. После августа девяносто первого организация — ау! а денежки остались у него.

Разговор заходил в тупик, но нищий нашелся:

— А вы, поди, образование имеете? Все-таки финансы, товар-деньги-товар, нужно уметь считать, предвидеть экономическую...

— А как же, — миллионер оживился, — я был инженером, специалистом по канализации.

— И как же, помогает?

Вопрос был дурацкий. Миллионер и сам не мог понять, помогает ему канализационный диплом или нет, он просто забыл о нем, как и о всех заводских инженерских годах. Он считал, что ему крупно повезло с перестройкой, когда в нем впервые в жизни проснулся молодой волк и родилось ощущение хищного голода, который можно к тому же безнаказанно удовлетворять. В самой постановке вопроса он ниюком чувствовал скрытый подвох, но не видел пока, что и откуда ему грозит. Поэтому ответил максимально приближенно к правде:

— Помогает, когда приходится оценивать партию сантехники.

— Вы ее производите?

Миллионер насупился. Он ничего не производил, хотя в проекте маячили вложения в автомобильный гигант. Пока же выгоднее было перепродавать заграничную рухляедь или непритязательный, но с рулем и колесами, продукт отечественной автопромышленности.

— Нет, — ответствовал миллионер лаконично, — я ее продаю.

Нищий хмыкнул и уточнил:

— Пере-продаете. А раньше, когда работали на заводе, производили?

— Раньше производил.

— И никакой радости?

— Какая радость делать все эти сливные бачки и унитазы? — А общественный долг? Так сказать, в оплату за бесплатную учебу? Людям без этих бачков никак. А вы слушали человеку...

Миллионер пыхтел и надувался, адреналин гулял по его кровеносной системе.

— Да вы, оказывается, красно-коричневый, — ядовито вымолвил он. — Нотации мне вздумали читать? Какой долг, когда мне элементарно не давали развернуться? И какому этому человеку? Этому, что ли, темному народцу, который сам не знает, что ему нужно? Да что мне за дело до сливных бачков Иванова-Петрова-Сидорова? Через мои руки проходят огромные деньги, я сам себя сделал и теперь зато чувствую себя хозяином судьбы своей...

— И судеб многих темных людей, — ввинтил все же нищий.

— Всяк сам за себя. На то и свобода. Личность осуществляется, если способна осуществиться. Свобода дала мне возможность быть состоятельным, и каждый день свое состояние я приумножаю. Это, кстати, стоит немальных усилий и траты нервов. Да понимаете ли вы, что настоящий коммерсант — это художник и творец?

— А для чего столько денег? На тот свет даже тапочек не прихватите...

Миллионер никогда об этом не думал. Деньги ему про-

сто нравились. Благодаря им он жил красиво и удобно — как сам понимал эту жизнь. У него была вилла за городом, он ездил в Париж и на Канарские острова, дарил дорогие подарки любовницам, в швейцарском банке имелся счет на случай любого российского кризиса. Машины... Охрана... Прочие необходимые и удобные вещи. Кроме того, деньги можно было непрерывно увеличивать. Он никогда не думал — зачем? Иное его беспокоило — где еще прихватить сотню-другую миллионов. Когда читал в газетах, что финансовое чутье Сороса позволяет тому сорвать куш в триста миллиардов долларов — зависеть снедала нашего милионера, мутлилось воображение... Он и впервые ответил так, как думал:

— А вы держали в руках сто миллионов?

Оба понимали, что за этой фразой стоит: ты, мол, презренный бродяга, что ты пендришь в жизни, ты — плюгавый интеллигентствующий философ, профессионально нищесуществующий интеллигент? Ты, который не может купить ни нормальной квартиры, ни японского телевизора, ни самозаряжающегося утюга... Словом, ни единой вещи, ради которой стояло бы жить и вертеться. Он снисходительно улыбнулся:

— Ну, допустим, я разорюсь. Кто же подаст вам милостыню? Вроде вы упрекаете меня в том, что я неучаствую, так сказать, в производительном процессе, не создаю новых ценностей. Но ведь и вы ничего не создаете. Я-то хоть способствую движению денежных сумм, я один из моторов экономической реформы. Член многих комитетов. А вы? Вы — трутень, живущий на подачки. Бедные вам не подают!

— В таком случае мы равны. Ни вы, ни я — мы ничего не производим. Следовательно, ни от вас, ни от меня никакого проку. Если на то пошло, я тоже — через себя — пропускаю чужие деньги.

— Вокруг меня зато кормятся. Кормятся тысячи людей! — прикрикнул на нищего милионер и неловко зажег сигарету — он лишился недавно научился курить.

— Но и они в свою очередь ничего не производят! Стало быть, вы и сами не участвуете в производстве материальных благ, да еще растлеваете тысячи других, и вся эта пирамида, заметьте, перевернутая пирамида, стоит на плечах тех сумасшедших, которые хоть что-то — наперекор всему — производят.

Милионер полиграмота надоела. Он вытащил золотой хронометр и выразительно на него поглядел. Погасил одну сигарету, прикурил другую. Ему уже было предельно ясно, что при любом случае он подставит финансовую подножку журналу, приславшему к нему такого интервьюера. Он сдерживался, чтобы не свистнуть своих бульдогов.

— Вы нищий по нужде или по убеждению?

— Второе, — ответил нищий, понимая, что сейчас его будут топтать.

— Значит, вам не нравятся наши сегодняшние порядки? Слышишься мне в ваших речах, знаете ли, нехороший душок, чувствуется что-то неладное в психике...

— Так вы меня в психушку порекомендуйте, судар! — нищий — будто назло — психанул. (Потом в редакции мы указали ему на некорректность такого поведения.)

— Это советская власть, видимо, вас в психушке недодержала, — милионер тоже отбросил политесы, а сам подумал: «Зачем в психушку? Сказать парням — и никому никаких хлопот: ни психиатрам, ни даже прозектору в морге, ни даже фирме «Спец спокойно!..»

— А это вы верно заметили, — с горечью усмехнулся нищий, — именно советская-то власть в психушке меня и недодержала. Только перестройка оттуда и выпустила...

Милионер дернулся как-то бочком, но нищий послешел его успокоить:

— Нормальный я, что вы, нормальный. В том-то и дело, что мы оба — нормальные...

И оба о чем-то задумались.

Перед интервью мы условились с милионером, что под занавес от широким жестом вручает нищему какую-нибудь эффектную милостыню: шапку, скажем, из нутрии или золотой крестик. Но этот паршивец нищий, интеллигентствуя, так отклонился от сценария, что о красивом конце приходилось только мечтать.

— Милион хочешь? — розовея, высказался, наконец, милионер.

— Давайте так, — нищий закинул ногу на ногу, — если вы поведаете мне, чем отличается Ясперс от Хайдеггера, почему Пикассо обожал Врубеля, а затем прочтете пару стихотворений Пушкина, — я, будь по-вашему, приму ваш миллион.

6. «Юность» №10

— I'm here new and know very few people, — фразой из русско-английского разговорника быстро парировал миллионер. «Ага, не понял! А я и спикаю бегло, и поширехать, если надо, могу». Вслух же опять вылетело из него другое: — Да о твоих врубелях да хайдеггерах девяносто девять процентов в России и не слышано. А ничего, живут счастливо, размножаются. Понятно т-тебе?

— Да из-за таких же как ты! — нищий орал уже совсем нехорошо. Но наш фотокорр сумел его притушить, пошелестев в пальцах воображаемыми купоросами и тут же показав кукиши. Следующий вопрос нищего был пропитан ехидством:

— Верно, ты был на своем канализационном заводе секретарем парткома, а?

Удар был ниже пояса. Особенню в связи с тем, что прискакали, наконец, телевизионщики и на миллионера наезжала камера. Врату было нельзя. Нет, секретаря парткома миллионер не был, был его замом по политко-воспитательной работе, вообще он числился в партии на хорошем счету.

— Ну и что, что в парткоме меня избрали? Оказывали, значит, люди доверие... А Яковлев, а сам Ельцин? Члены Политбюро! А теперь разве не онидвигают нашу великую державу на уровень самых передовых мировых стандартов!

— Это каких, например?

— США, Японии, Германии...

— Преуспевают в мире всего лишь два десятка стран, в двухстах же — люди элементарно стремятся выжить. Почему обязательно мы попадаем в преуспевающие, а не в недоедающие? Падение производства у нас... — за всю войну такого спада не случалось. И это когда половина ресурсов была отнята оккупантами... Да и вообще, читайте прессу (оказалось, что нищий по четвергам исправно читает газету «Завтра», в остальные же дни — только «Московский комсомолец», но это мы узнали потом), все ресурсы планеты сегодня работают лишь на ничтожную группу стран, а потому половина Земного шара живет впроголодь. И обратите внимание: не было у этой, невезучей, половины Земли никакой советской власти!

— Так это, значит, я! Я мешаю росту благосостояния народов? Так что же, мама, опять на круги своя — отобрать у меня все до последнего рваного доллара и распределить мои сбережения между такими же бездельниками, как ты?

Про «сбережения» он лучше бы помалкивал. Гайдар это слово сделал взрывоопасным, только наши нищий уязвлен был — до самой глубины сердца — словом совсем иным.

— Это-то я бездельник?! — орал он. — Да я не буду бездельником, если дадут возможность честно, не крадя, не жульничая, заработать себе на жизнь. А пока я остаюсь нищим и ты, гад, мне будешь подавать. Будешь! Будешь... Потому как без маски благодетельства ты ничто, миф, а хочется быть величиной значимой. Хочется, а? Скажи честно!

Охая и причитая, вахтерша зашивала нищему у нас в редакции его ворсистый пиджак. Рукав к нему притащил в своем корфе наш фотокорр.

Честно говоря, мы печатаем этот сумбурный материал с большим сомнением. Действительно, есть ли разница между энергично действующим предпринимателем и бездействующим нищим интеллигентом, восседающим на газетке в подземном переходе, недалеко от редакции... Один — мотор экономической реформы и прогресса (что такое прогресс — тут еще надо говорить), другой — сознательный люмпен, почитывающий Хайдеггера. Нам показалось, что в действительности же они смогут договориться...

А у Хайдеггера, между прочим, есть любопытные мысли. Вот одна: «Свободный простор, куда выведен теперь освобожденный [человек], означает не неограниченность пустой дали, а ограниченную и обязывающую несомненность светлого мира...» (Вставши «человек» и подчеркнули «ограничивающую и обязывающую» мы сами.)

И это все. Читатель сам понимает, что мы выполняем лишь демократическую функцию средств массовой информации, печатаем лишь то, что было. Как было, так и было. Быть, одним словом.

А ответsek снова блеснул Вергилием: «Мы поем для глухих». Так мы и не добились, что он имел в виду.

P.S. Как нам стало известно, нищий на наш, то есть, свой гонорар прикупил себе места и в другом подземном переходе.

Пол ГЭЛЛИКО

Снежный гусь

Рассказ



В 1936 году один малоизвестный, несмотря на 14-летний стаж, репортер построил себе дом в Южном Девоне. Событие не из примечательных, кроме двух деталей: дом он построил на самой вершине холма — «под всеми ветрами»; и поселился в нем с одним датским щенком и тридцатью премя кошками.

Этот тихий человек словно слился с окрестной природой, и растворился бы в ней навсегда, если бы неожиданно, в 1941 году, в разгар войны, не опубликовал небольшую повесть «Снежный гусь». Она разошлась почти мгновенно и сделала известным всему миру его имя — Пол Гэллико.

Родился он в 1897 году в Нью-Йорке. Немного проучившись в Коллумбийском университете, попал в американский флот (1-я Мировая война), где служил артиллеристом. Потом — годы в газете; одинокий дом в Сэлкеме; мировая известность и опять — военный корреспондент.

После войны и до самой смерти (в июле 1976 г.) он написал более сорока книг. Почему его так любили? В чем разгадка его бесхитростных повествований? Трудно представить себе человека, который закроет книгу Пола Гэллико — и останется прежним, и не дрогнет сердце.

Удивительное благородство чувств, вот, пожалуй, верное слово. Возвышенная простота души, проясняющая внутренний взор до понимания самого глубинного, на чем стоит мир. Очищающая простота.

На русском языке вышли три книги Пола Гэллико, и все — «о животных»; но как же непохожи они на обычные книги такого рода! Они напоены, пронизаны великодушием — ве-

личием души, полным любви, как облачко, покрывающее все вокруг. И словно отзвук, эхо — ответная любовь и верность живых существ. Видимо, и впрямь своей любовью мы очеловечиваем их. Одушевляем. Видимо, любовь и не может быть без верности. Верность человеческая нас уже не поражает, что странно — ее так мало на этом свете, — нас потрясает верность зверя, птицы. Но ведь верен нам тот, кому мы отдадим часть своей души, и тем сольемся воедино — срастимся, и это прятяжение самое сильное в мире. А мир в этой части себя словно уплотняется, обретает реальность, весомость, и уже не остается прежним, ибо любовь наша — даже самая малая, даже к птице — искупает, созидает его.

На чем стоит мир? Любовь и верность. Верность и любовь, остальное — мнимости, переливы настроений, суета и сон. И даже страдание — это отсутствие любви, иногда кажется — потеря любви. Но любовь потерять нельзя, она преображает душу до неузнаваемости, и то, что мы называем страданием, — это живая вода, проливающаяся на вскормленную любовью почву души, чтобы дать жизнь побегам — в вечность.

Пол Гэллико входит в русскоязычный мир как праздник. Как ясный покой в нашу неразбериху. Как Жизнь в наше «окамененное нечувствие». И все его книги, что уже вышли (*«Томасина», «Джанни», «Посейдон»,*) и те, что вскоре выйдут (*«Повести об уборщице миссис Харрис»*), — целебное мирро на наши больные души.

О. Неве

Большая Топь протянулась вдоль эсексского побережья между деревней Челмбери и старинным саксонским селением Уикельдрот, жители которого издавно промышляют сбором устриц. Это один из последних диких уголков Англии — широкая низменная местность, занятая травой, камышами, полузатопленными луговинами и переходящая возле беспокойного моря в солончаки, илистые отмели и приливно-отливные заводи.

Кажется, что вся эта пропитанная влагой земля, с ее непостоянными заводями, эстуариями и кривыми извилистыми рукавами маленьких речек, чьи устья сливаются в одно у края океана, сама поднимается, опускается, дышит, подчиняясь ежедневному ритму приливов и отливов. Пустынная и абсолютно одинокая, она кажется еще более одинокой от криков и стонов диких птиц, селящихся на солончаках и болотах — диких гусей, чаек, чирков, травников, кроншнепов, чьи пути неизменно пролегают через приливные заводи. Люди тут не живут — лишь изредка можно увидеть какого-нибудь охотника за пернатой дичью или сборщиков устриц, продолжающих древний промысел своих предков, известный здесь задолго до того, как норманны пришли в Гастингс.

Цветовая гамма тут состоит из различных оттенков серого, голубого и приглушенного зеленого — так холодный сдержанный цвет неба отражается во время долгих зим множеством береговых вод и болотами. Но иногда на рассвете и в часы заката земля и небо бывают озарены золотым и красным огнем.

Неподалеку от одного из извилистых рукавов маленькой речки Элдер протянулась стена старой дамбы, мощная, гладкая, без единой бреши, надежный оплот земли против наступающего моря. На добрых три мили уходит она от Северного моря вглубь солончака и там поворачивает на север. С этой стороны вид у нее обветшалый и разбитый. В одном месте образовалась брешь, и голодное море устремилось туда, завладев частью земли, дамбой и всем, что там находилось.

Во время отлива над поверхностью воды виднеются покрившие камни развалин покинутого маяка и кое-где, подобно бакенам, выглядывают покосившиеся шесты ограды. Когда-то маяк этот стоял у самого края моря и был путеводной звездой эсексского побережья. Время сместило границу моря и суши — и он сделался ненужным.

Но потом, уже сравнительно недавно, к нему опять вернулась жизнь. В стенах его поселился одинокий человек. Тело его было увечным, но сердце полнилось любовью ко всем диким и преследуемым существам. Сам он был с виду уродлив, зато умел творить настоящую красоту. О нем-то и о девочке, которой довелось познакомиться с ним и разглядеть за пугающей оболочкой то, что было скрыто внутри, пойдет речь в этой истории.

Повествование это не может быть гладким. Чтобы установить последовательность событий, приходилось обращаться к разным людям и источникам. Где-то оно складывается из не вполне связных рассказов людей, ставших очевидцами странных, потрясающих воображение сцен. Потому что море, получив свое, простирло надо всем свое волнистое покрывало, а большая белая птица с черной каймой на крыльях, знающая эту историю от начала и до конца, вернулась к темному ледяному безмолвию того северного края, из которого появилась.

Поздней весной 1930 года Филипп Раедер пришел на заброшенный маяк, стоявший в устье реки Элдер. Он вы-

купил сам маяк и много акров окружающей его болотной земли и солончака.

Здесь он жил круглый год один, занимаясь любимым делом. Он был художником, писал птиц и природу и имел достаточно оснований удаляться от человеческого общества. Основания эти, или, по крайней мере, некоторые из них были вполне очевидны. Раз в три недели он отправлялся за продуктами в маленькую деревушку Челмбери, где жители бросали косые взгляды на его странное темное лицо и уродливую фигуру. Он был горбун, и левая рука у него была скрюченной, совсем тонкой и вывернутой в запястье, наподобие птичьей лапы.

Они скоро привыкли к его странной фигуре, маленькой, но мощной; к тяжелой, темной, лохматой голове, посаженной чуть ниже таинственного бугра за плечами, к сверкающим глазам и скрюченной руке; и уже с небрежностью отзывались о нем, как о «том чудаке, что малоает на маяке картины».

Физическое уродство часто приводит людей к озабоченности на весь человеческий род. Раедер не озабился; он любил — и любил очень сильно — человека, все животное царство, всю природу. Сердце его было полно жалости и сочувствия. Сам он давно перестал замечать свое уродство, но по-прежнему болезненно воспринимал грубость и насмешки, которым подвергался из-за своей внешности. Излучаемая им доброта никогда не находила отклика, что и побудило его к затворничеству. У женщин он вызывал отвращение. Мужчины могли бы проникнуться к нему дружеским чувством, если бы узнали его ближе. Но видя, что человек делает над собой усилие, Раедер смущался и впоследствии старался с ним больше не встречаться.

Когда он пришел на Большую Топь, ему было двадцать семь. Он уже много путешествовал и прошел много испытаний, прежде чем принял решение удалиться от мира, где для него, в отличие от других мужчин, так и не нашлось места. При всей чуткости художника и почти женской нежности, запертых в его бочкообразной грудной клетке, он оставался прежде всего мужчиной.

В его единении с ним были его птицы, его живопись и его лодка. Это была шестнадцатифутовая парусная лодка, которой он управлял с изумительной ловкостью. Один, без посторонних глаз, он уверенно действовал скрюченной рукой и нередко прибегал к помощи зубов, чтобы схватить с рвущимися парусами при каком-нибудь коварном порыве ветра.

В этой лодке он плавал по заливам, эстуариям, выходил в море и, бывало, пропадал по несколько дней в поисках новых видов птиц — фотографировал, делал наброски, а иногда ловил силками, пополняя свою коллекцию: огороженная площадка неподалеку от его студии уже сделалась центром птичьего заповедника.

Он ни разу не выстрелил в птицу и не позволял другим охотиться в своих владениях. Он был другом всего живого, и все живое отвечало ему такой же дружбой.

В заповеднике жили прирученные им гуси, из тех, что каждый октябрь пролетали мимо этих берегов, держа путь от Исландии и Шпицбергена — они летели большими стаями, от которых темнело небо, и наполняли воздух громким шелестом своего полета. Были тут большие серые гуси, белогрудые казарки с темными шеями и забавными клюнускими масками, белолобые гуси с черными полосками на груди, и множество видов диких уток — кряквы, свинки, шилохвосты, чирки и широконоски.

Некоторым из них были подрезаны крылья, с тем чтобы они оставались в заповеднике и могли сообщить своим диким собратьям, появлявшимся в этих местах в начале зимы, что здесь их ждут безопасная стоянка и пища.

Многие сотни птиц прилетали и оставались с ним всю холодную зиму с октября до ранней весны, когда снова возвращались на север к своим гнездовымьям.

Раедеру достаточно было знать, что когда налетают штормовые ветры или подступают морозы и отыскивать корм становится все труднее, или когда в отдалении гремят ружейные выстрелы, его птицы находятся в безопасности; что он собрал у себя в заповеднике, под опекой своих со-

бственных рук и сердца, все это множество диких и прекрасных созданий, которые знали его и доверялись ему.

Весной они подчинялись зову севера, но осенью возвращались назад, гукая, гогоча и перекликаясь в осеннем небе, чтобы, покрутив над старым маяком, опуститься на землю где-нибудь поблизости и снова сделаться его гостями — он сразу узнавал этих птиц, хорошо помня их с прошлого года.

И Раедер был счастлив, потому что знал, что где-то в глубине их существа жила память о нем и его надежном приюте и что эта память уже стала частью их самих и, с наступлением серых небес и северных ветров, будет неизменно посыпать их к нему обратно.

В остальном же сердце его и душа были отданы живописи — он писал эту дикую местность, в которой жил, и ее обитателей. Картины Раедера сохранились совсем немного. Он ревниво припрятывал их, складывая сотнями в самом маяке и в кладовых наверху. Они никогда не удовлетворяли его, потому что как художник он был бескомпромиссен.

Однако те, что все же дошли до рынка, являются шедеврами: они полны мерцания и сложных оттенков отраженного болотами света, ощущения полета, энергии птичьих крыльев, противостоящих утреннему ветру, под которым гнется высокий болотный тростник. Он писал одиночество, запахи холодного просоленного воздуха, нестареющую вечность болот, их диких обитателей, гусиные стаи на рассвете, поднимающиеся в воздух вспугнутых птах и ночью прячущиеся от луны крылатые тени.

В один из ноябрьских дней, спустя три года после появления Раедера на Большой Топи, к его студии на маяке подошла девочка. Она пришла к нему по дамбе и держала что-то в руках.

На вид не старше двенадцати лет, она была худая, чумазая, робкая и пугливая, как птица, но при всей своей чумазости призрачно красива, ни дать ни взять — болотная фея. Она была настоящая саксонка, широкая в кости, светловолосая, с крупной головой, до которой телу еще только предстояло дорasti, и с глубоко посаженными фиалково-го цвета глазами.

Она отчаянно боялась этого уродливого человека, к которому решилась прийти, ведь о Раедере уже начинали ходить слухи, и местные охотники ненавидели его за то, что он становится им поперек дороги.

Но сильнее страха была сейчас забота о другом существе. Где уж, среди таких болот, она почерпнула эту уверенность, но детское ее сердце не сомневалось, что этот поселившийся на маяке «лодоед» обладал волшебной силой и мог излечивать попавших в беду птиц и животных.

Она никогда еще не видела Раедера живым и уже готова была кинуться в бегство при виде этой темной фигуры, возникшей на пороге студии при звуке ее шагов, — черная голова, такая же черная борода, уродливый горб, скрюченная птичья лапа.

Так она стояла, уставившись на него, как потревоженная болотная птица, готовая в любой момент сняться с места и улететь.

Но голос его, когда он обратился к ней, был глубоким и добрым.

— Что случилось, дитя?

Она продолжала стоять на месте, потом робко приблизилась. То, что она держала в руках, оказалось большой белой птицей, совсем неподвижной. На белом оперенье и на куртке девочки, в том месте, где она прижимала свою ношу к груди, были видны пятна крови.

Девочка переложила птицу к нему на руки.

— Я нашла ее, сэр. Подбитую. Она еще жива?

— Да. Я думаю, что да. Заходи, дитя, заходи.

Держа птицу в руках, Раедер вошел в студию и положил ее на стол, где она еле заметно пошевелилась. Любопытство взяло верх над страхом. Девочка перешагнула порог и оказалась в хорошо протопленной комнате, сверкавшей разноцветными картинами и наполненной странным, но приятным запахом.

Птица встрепенулась. Здоровой рукой Раедер распра-



Рисунок Анжелики Головенко

вил одно из ее огромных белых крыльев. Конец его был украшен черной каймой.

Раедер залюбовался и спросил:

— Где же ты нашла ее, дитя?

— На болоте, сэр, там были охотники. А... а что это за птица, сэр?

— Это снежная гусыня из Канады. Но каким таким образом она оказалась здесь?

Название, похоже, мало что говорило девочке. Ее глубокие, сверкавшие с худого перемазанного лица фиалковые глаза были с тревогой устремлены на раненую птицу.

Она сказала:

— Вы можете вылечить ее, сэр?

— Да-да, — сказал Раедер. — Постараюсь. Давай-ка помоги мне.

На полке были ножницы, бинты, лубки, и он управлялся со всем этим удивительно ловко, даже скрюченная «птичья лапа» не оставалась без дела.

Он сказала:

— Да, ее подстрелили, бедняжку. Перебита нога и конец крыла, но не так уж сильно. Придется подрезать маховые перья, так чтобы можно было наложить повязку, но это ничего — весной перья отрастут, и она снова сможет летать. Мы привяжем крыло поплотней к туловищу, так чтобы она не могла шевелить им, пока оно не окрепнет, а потом сделаем лубок для бедной ноги.

Забыв свои страхи, девочка зачарованно следила за его движениями и слушала удивительную историю, которую он успел рассказать ей, пока накладывал лубок.

Птица была молодая, ей, должно быть, только исполнился год. Она родилась далеко-далеко за морем, в северной земле, принадлежавшей Англии. И когда она летела на юг, спасаясь от снега и льда и жестокого мороза, то оказалась застигнута сильной бурей, которая втянула ее в свой вихрь и стала бить и трепать нещадно. О была действительно страшная буря, она была сильней ее могучих крыльев, сильней всего на свете. Несколько долгих дней и ночей она держала ее в своих тисках, и птице не оставалось ничего другого, как только лететь впереди нее. Когда же она вырвалась на свободу и, увлекаемая безошибочным инстинктом, снова устремилась на юг, то оказалась над

совсем другой землей, в окружении странных птиц, которых прежде никогда не видела. Наконец, обессиленная этим тяжким перелетом, она опустилась отдохнуть среди гостеприимного зеленого болота, но, увы, для того лишь, чтобы быть настигнутой выстрелом из ружья охотника.

— Не лучший прием для заморской принцессы, — заключил Раедер. — Мы будем звать ее «La Princesse Perdu», Потерянная принцесса. И через несколько дней ей будет уже немножко лучше, вот увидишь. — Он сунул руку в карман и извлек оттуда горсть зерна. Птица открыла свои круглые желтые глаза и покосилась на нее с интересом.

Девочка счастливо рассмеялась, но потом вдруг резко перевела дыхание, осознав в один миг, где находится, и, не сказав ни слова, выбежала из студии.

— Постой, постой! — крикнул Раедер, останавливаясь на пороге: его темная нескладная фигура казалась теперь заключенной в раму. Девочка уже была на дамбе, но, услыхав его голос, замедлила шаг и обернулась.

— Как тебя зовут, дитя?

— Фрит.

— Как? — сказал Раедер. — А, значит, Фрита. Где ты живешь?

— С рыбаками в Уикельдроте. — Она произнесла это название на старый саксонский манер.

— Ты придешь завтра или как-нибудь еще — узнать, как дела у Принцессы?

Она помедлила, и снова Раедер подумал о диких водяных птицах в ту самую, полную тревоги, минуту, когда они застывают в неподвижности перед тем, как подняться в воздух и улететь.

Но ее тонкий голосок все же долетел до него: «Приду!»

В следующую минуту она уже мчалась прочь, и ее светлые волосы раззевались на ветру.

Принцесса быстро поправлялась и к середине зимы уже ковыляла по заповеднику вместе с дикими розоволапыми гусями, с которыми чувствовала себя лучше, чем с казарками, и научилась приходить за кормом на зов Раедера. А девочка, Фрит или Фрита, стала на маяке частой гостьей. Воображение ее было захвачено присутствием этой странной белой принцессы из далекой заморской страны — страна была целиком розовая, они с Раедером видели ее на карте и проследили весь бурный путь Потерянной Принцессы от ее дома в Канаде до Большой Топи в Эссексе.

Но вот однажды ионийским утром последняя стая розоволапых гусей, откормленных и жирных после проведенной на маяке зимы, повинувшись мощному зову гнездовой, лениво снялась с места и, постепенно расширяя круги, стала набирать высоту. С ними, сверкая на весеннем солнце белым оперением и черной каймой крыльев, летел снежный гусь. Случилось, что Фрит как раз была на маяке. На ее крик из студии выбежал Раедер.

— Смотрите! Смотрите! Принцесса! Она что, улетает?

Раедер посмотрел на небо вслед удаляющейся стае.

— Да, — сказал он, непроизвольно копируя ее манеру говорить. — Принцесса возвращается домой. Она прощается с нами.

С чистого неба донесся тоскливыи отрывистый крик розоволапых гусей и тут же более высокий и чистый звук, который ни с чем было не спутать. Стая удалялась на север и, образовав крошечную букву «V», вскоре совсем исчезла из виду.

После их отлета Фрит перестала появляться на маяке. Раедеру пришлось снова затвердить значение слова «одиночество». В то лето он написал по памяти худенькую перегазанную девочку с раззевающимися на ноябрьском ветру светлыми волосами, держащую на руках подстреленную белую птицу.

В середине октября случилось чудо. Раедер кормил птиц на своей огороженной площадке. Дул седой северо-восточный ветер, и земля вздыхала под наступающим приливом. Вдруг над привычными звуками моря и ветра ему послышалась высокая, чистая нота. Он обратил взгляд к вечернему небу и разглядел вначале далекое едва заметное пятнышко, потом белый с черным мираж, облетевший один

раз вокруг старого маяка, и наконец неоспоримую реальность, приземлившуюся на его площадке и как ни в чем не бывало ковылявшую с важным видом к нему за кормом. Это была Принцесса. Не узнать ее было невозможно. Слезы радости выступили у Раедера на глазах. Где же она пропадала? Ясно, что не дома, не в Канаде. Должно быть, провела лето в Гренландии или на Шпицбергене вместе с розоволапыми. Потом вспомнила — и вернулась.

Когда в следующий раз Раедер появился в Челмбери, он оставил у почтмейстерши послание, которое должно было повергнуть ее в немалое удивление. Он писал: «Скажите Фрит, той, что живет с рыбаками в Уикельдроте, что потерянная Принцесса вернулась».

Три дня спустя Фрит, успевшая подрасти, но все такая же чумазая и растрепанная, снова пришла на маяк, чтобы навестить La Princesse Perdu.

Шло время. На Большой Топи оно отмечалось высотой приливов, медленным течением сезонов, птичьими перелетами, а для Раедера — появлением и отлетом снежного гуся.

Внешний мир кипел — бурлил и клокотал перед готовящимся извержением, которому предстояло привести его на край гибели. Но пока что это никак не касалось Раедера, а Фрит и подавно. Жизнь их подчинялась особому, естественному ритму, который продолжал оставаться неизменным, даже когда девочка подросла.

Когда Принцесса была на маяке, Фрит приходила тоже — навещала ее и заодно училась у Раедера массе самых разных вещей. Они плавали вдвоем в его быстрой лодке, которой он так мастерски управлял, ловили диких птиц для все увеличивающейся птичьей колонии и делали для них запруды и ограждения. От него она научилась различать языки диких птиц — от чайки до летавшего над болотами кречета. Июнгда она готовила ему еду и даже могла теперь смешивать его краски.

Но когда снежная гусыня отправлялась на лето в другие края, между ними словно вырастала какая-то преграда, и она переставала бывать на маяке. Был год, когда птица не вернулась, и Раедер ходил как в воду опущенный. Мир вокруг потерял для него смысл. Всю зиму и лето он с отервенением писал свои картины, а девочку так ни разу и не видел. Но осенью с неба снова раздался знакомый крик, и огромная белая птица, теперь уже совсем выросшая и окрепшая, свалилась с небес так же таинственно, как когда-то исчезла. С радостным сердцем Раедер отправился в лодке в Челмбери и оставил на почте записку.

Фрит появилась почему-то только спустя месяц после того, как он оставил свое послание, и Раедер был потрясен, обнаружив, что она уже не ребенок.

После того года, когда птица не прилетела, периоды ее отсутствия становились все короче и короче. Она сделалась такой ручной, что повсюду следовала за Раедером и даже заходила в студию, когда он работал.

Весной 1940 года птицы покидали Большую Топь раньше обычного. Мир был в огне. Завывание и рёв бомбардировщиков и грохочущие взрывы спутнули их с места. В первый день мая Фрит и Раедер стояли плечо к плечу на дамбе и смотрели, как последние из свободных гусей и казарок покидают свое пристанище; она — высокая, стройная, свободная, как воздух, и вызывающе красивая; он — темный, нескладный, с поднятой к небу тяжелой, лохматой головой и темными живыми глазами, наблюдающими, как дикие гуси выстраиваются в свой характерный отлетный треугольник.

— Смотрите, Филипп, — сказала Фрит.

Раедер проследил за ее взглядом. Принцесса поднялась в воздух, широко расправив огромные крылья, но летела низко, и один раз приблизилась к ним настолько, что в какое-то мгновение они почти ощутили ласковое прикосновение белых, с черной каймой, перьев, оценив стремительность и силу ее полета. Она облетела маяк один раз, потом другой, потом снова приземлилась перед огороженной площадкой и, присоединившись к гусям с подрезанными крыльями, начала клевать корм.

— Она не улетит. — В голосе Фрит слышалось изумле-

ние. Стремительный и такой близкий полет птицы как будто заворожил ее. — Да, Принцесса остается.

— да, — сказал Раедер, и голос его тоже слегка дрогнул. — Она остается. Она больше никогда не улетит. Потерянная Принцесса нашлась. Вот теперь ее дом — она сама так решила.

Волшебный туман, которым успела окружить ее птица, рассеялся, и Фрит в страхе очнулась. То, что испугало ее, было в глазах Раедера — там были тоска, и одиночество, и что-то глубокое, поднимающееся, невыговоренное, что лежало в них и за ними, когда взгляд его был обращен к ней.

Его последние слова продолжали звучать у нее в голове, как будто он повторил их снова: «Вот теперь ее дом — она сама так решила». Чуткие антенники ее просыпающихся чувств протянулись к нему и донесли до нее все то, о чем он не мог говорить, потому что ощущал себя таким как есть — уродливым и нелепым. Его голос всегда успокаивал ее; теперь же испуг ее только усугублялся его молчанием и силой тех невысказанных вещей, что существовали между ними. Женщина в ней подсказывала ей бежать от чего-то, что она пока не в состоянии была объяснить.

Фрит сказала:

— ... мне надо идти. До свидания. Я рада, что Принцесса — останется. Теперь вам будет не так одиноко.

Она повернулась и быстро пошла прочь, и его печальное «До свидания, Фрит» было всего лишь едва уловимым призраком звука, долетевшим до нее вместе с широком болотных трав. Она отважилась оглянуться только когда была уже далеко. Он все еще стоял на дамбе и выглядел маленьким темным пятнышком на фоне неба.

Страх ее утих. На смену ему пришло что-то другое — странное чувство утраты, заставившее ее на какое-то мгновение замереть на месте — таким оно было острый. Дальше она шла уже медленней, удаляясь с каждым шагом от указующего в небо перста маяка и застывшего под ним человека.

Прошло немногим больше трех недель, прежде, чем Фрит снова появилась на маяке. Был конец мая, и длинные золотые сумерки начинали уступать место серебру луны, уже сияющей с восточной стороны неба.

Когда ноги сами понесли ее к маяку, она сказала себе, что должна посмотреть, действительно ли Принцесса осталась, ведь Раедер мог ошибаться. Но теперь, когда она снова шла по дамбе, походка ее выдавала сильное волнение, и иногда сама она ловила себя на том, что безотчетно ускоряет шаг.

Раедер был на своей маленькой пристани. Вначале Фрит увидела желтый свет его фонаря, потом — его самого. Его парусная лодка тихо качалась на волне прилива, а он был занят тем, что складывал в нее припасы — воду, продукты, бутылки бренди, снаряжение и запасной парус. Когда он обернулся на звук ее шагов, она увидела, что он бледен, но его темные глаза, обычно такие добрые и спокойные, лихорадочно блестели, и дыхание было тяжелым.

Внезапная тревога охватила Фрит. Снежный гусь был забыт.

— Филипп! Вы уезжаете?

Раедер прервал работу, чтобы приветствовать ее, и в его лице, в этом горящем взгляде было что-то, чего она никогда прежде не видела.

— Фрит! Я рад, что ты пришла. Да, я должен уехать. Ненадолго. Я вернусь назад.

Его всегда приветливый голос прозвучал резко, что-то от нее скрывая.

Фрит спросила:

— Куда вам нужно плыть?

Теперь Раедера прорвало, и слова ринулись наружу. Ему нужно плыть в Дюнкерк. За сотню миль отсюда, через Северное море. Часть британской армии оказалась отрезанной там на отмели и ждала уничтожения от рук наступающих немцев. Порт горел, положение было безнадежное. Он услыхал об этом в деревне, в свой очередной поход за продуктами. Откликаясь на призыв правительства, все мужское население Челмбери пришло в движение: каждый бук-

сир, рыбакская шхуна или моторный катер, бывшие на плаву, отправляясь через море — снимать людей с отмелей и перевозить на транспортные суда и эсминцы, которые не могли подойти к берегу из-за мелей. Надо было спасти как можно больше людей из-под немецкого обстрела.

Фрит слушала и чувствовала, как сердце в ней умирает. Он говорил, что переплынет через море в своей маленькой лодке. В один раз она могла захватить шесть человек, а в крайнем случае и семь. Он мог проделать маршрут от берега до эсминцев много раз.

Девушка была совсем юная, простая, неразвитая. Ей было непонятно, что такое война, или что происходило во Франции, или что означало, что армия оказалась отрезанной, — но вся кровь в ней говорила, что тут была опасность.

— Филипп! Вам обязательно плыть? Вы не вернетесь. Почему обязательно вы?

Лихорадочное волнение, владевшее душой Раедера, казалось, оставил ее, излившись с первым потоком слов, и теперь он мог говорить с Фрит на более понятном ей языке.

Он сказал:

— Люди загнаны на отмели, как преследуемые птицы, Фрит, как раненые, преследуемые птицы, которых нам с тобой случалось находить и приносить в заповедник. Над ними летают стальные ястребы, соколы и крецеты, и им некуда укрыться от этих страшных хищников. Они оторваны от дома, загнаны бурей и измучены, как La Princesse Perdu, которую ты нашла и принесла ко мне с болот много лет назад и мы вылечили ее. Им нужна помощь, моя милая, как нужна была помощь всем нашим диким питомцам, вот поэтому-то мне и надо плыть. Это то, что я могу сделать. Да, могу. Хоть раз — хоть раз я смогу быть мужчиной и исполнить свое назначение.

Фрит смотрела на Раедера в изумлении. Он так сильно изменился. Только сейчас она заметила, что он больше не был уродливым, нескладным или ущербным — но очень красивым.

Что-то вихрем поднималось в ее собственной душе и кричало, просясь наружу, но она не знала, как это сказать словами.

— Я поплыну с вами, Филипп.

Раедер покачал головой.

— Ты будешь отнимать место в лодке у какого-нибудь солдата, который вынужден будет остаться, и так — каждый раз. Я должен плыть один.

Он надел сапоги, куртку и направился к своей лодке. Потом, обернувшись, помахал рукой и крикнул:

— До свидания! Посмотришь за птицами, пока я не вернусь, Фрит?

Рука Фрит поднялась, чтобы махнуть в ответ, но застыла в воздухе.

— Храни вас Бог, — произнесла она на свой саксонский манер. — Я посмотрю за птицами. Храни вас Бог, Филипп.

Была уже ночь, освещенная осколком луны, звездами и северным сиянием. Фрит стояла на дамбе и смотрела на парус, скользящий по разлившимся водам эстуария. Вдруг в темноте, позади нее, раздался шум крыльев, и какая-то тень пронеслась мимо и взмыла в воздух. В ночном свете она смогла различить взмах белых, с черными концами, крыльев и вытянутую вперед шею снежного гуся.

Набрав высоту, Принцесса облетела один раз вокруг маяка, потом устремилась вдоль извилистого залива туда, где кренился под усиливающимся ветром парус Раедера, и стала описывать над ним широкие медленные круги.

Белый парус и белая птица были еще долго видны на горизонте.

— Следи за ней. Следи за ней, — прошептала Фрит. Когда наконец оба скрылись из виду, она повернулась и, опустив голову, медленно пошла назад к пустому маяку.

Здесь связное повествование прерывается. Дальнейшие события узнаются из рассказов очевидцев, например, со слов списавшихся на берег моряков, что беседовали в гостиной клуба «Стрела и Корона» в Ист-Чепеле.

— Гусь это был, самый что ни на есть гусь, прости Господи, — сказал рядовой Поттон, из Лондонских Стрелков.

— Да ну, — сказал кривоногий артиллерист.

— Гусь — весь как есть. Вот и Джок видел его так же, как я. В Дюнкерке, стало быть. И появился прямо из этого ада, вони и дыма у нас над головой. Сам белый, только концы крыльев черные — и как начнет кружить над нами, не хуже какого-нибудь бомбардировщика, будь он неладен. Джок тогда и говорит: «Конец нам. Это ангел смерти пришел на наши души».

«Так я тебе и поверил, — говорю я. — Ведь это гусь, будь он неладен. Должно быть, с вестью из дома. Небось, передают привет от Черчилля и спрашивают, как нам нравится эта чертова баня. И если уж на то пошло, то, по моему, это знак — вот что это такое. Значит, мы еще не безнадежны, дружище.» Жмемся мы, значит, на берегу между Дюнкерком и Ла Панни, как какие-нибудь голуби на Набережной Виктории, и ждем, когда немец по нас шарахнет. Он и шарахал. Только и слышно — то сзади, то сбоку, то над головой. И шрапнелью потчует и снарядами, и из мессершмитов задает перцу.

А всего в полумиле от проклятых мелей стоит «Кентская Дева», эдакая прогулочная баржа — я летом сам не раз на ней плавал из Маргита, — ждет, чтобы нас забрать.

И вот лежим мы, распластанные на берегу и ругаемся на чем свет стоит, потому что добраться до баржи нет никакой возможности, и вдруг налетает на нее немецкий пикировщик и сыплет бомбы направо и налево, и фонтаны вокруг нее бьют, как в королевских садах, — то еще представление, доложу я вам.

Тут вступается наш эсминец и — так и растак — посыпает пикировщика к черту, но в это время налетает другой — и с эсминцем покончено. Он еще горел какое-то время, прежде чем затонуть, и гарь и дым несло на берег, и вот из черно-желтой завесы появляется этот самый гусь и начинает кружить прямо над нами.

И потом, обогнув берег, возникает он — на маленькой парусной лодочке — и пылает себе как ни в чем не бывало, как эдакий щеголь, что вышел в летний полдень на морскую прогулку в Хенли.

— Кто — «он»? — спросил кто-то из штатских.

— Он! Тот, кто спас многих из нашей братии. Он пытается в пекло: немец вел обстрел с бреющегося полета. Моторная лодка, та, что еще раньше пыталась снять нас с берега, затонула полчаса назад. Вода шипела от пули и снарядов. Но он плевал на них, пытал себя и все тут. Горючего у него не было, так что пожара он не боялся.

И вот уже появляется на отмели, из черного дыма от горящего эсминца, — маленький такой, темный, с бородой, с эдакой птичьей лапой заместо руки и горбом за плечами. Зубами он держал веревку, она здорово выделялась своей белизной на фоне его черной бороды, вешей в лодке и румпеля, и он — горбун, стало быть, — делает нам знаки, чтобы мы приблизились. А сверху, кругами, носится этот самый гусь, будь он неладен.

Джок тогда говорит: «Глядите, теперь уж нам точно крышка. Это сам дьявол за нами явился. Только я, верно, совсем ослеп — не узнаю его».

«Ладно тебе, — говорю я ему. — По мне, так он больше походит на милостивого Господа, чем на какого-то дьявола, будь он неладен». Он и впрямь был как с картинки учебника для воскресной школы — с этим своим бледным лицом, темными глазицами, бородой и еще этой лодкой в придачу.

«За один раз могу взять семерых», — крикнул он, когда был уже поблизости.

Наши офицеры гаркнули: «Хорошо, парень!.. Ближняя семерка, валяйте!»

Мы вошли в воду — и к нему. Я был так слаб, что не мог перелезть через борт, а он взял меня за ворот кителя и втащил сам. «Вот так, — говорит, — парень. Давай, следующий».

В общем, я очнуться не успел — как оказался в лодке. Уж силен он был, так силен. Потом ставит парус, что с одного боку весь изрешечен пулями и кричит: «Пригнитесь, ребята, на случай если повстречаемся с кем-нибудь из ваших друзей», и мы отчаливаем — он сидит на корме, одна веревка — в зубах, другая — в этой его птичьей лапе, правая рука — на румпеле, — так и ведет нас сквозь град снарядов — это старается наземная батарея, что окопалась

где-то в глубине на берегу. А гусь этот чертов все кружит и кружит и сигналит нам сквозь всю эту какофонию, как какой-нибудь чертов «моррис» на облезле в Винчестере.

«Говорил я тебе, что гусь — добрый знак? — говорю я Джоку. — Глянь на небо — ангел Божий, да и только».

А этот, у румпеля, знай себе поглядывает на гуся: у самого-то веревка в зубах и лыбится на него, как будто уж век его знает.

Доставил он нас на «Кентскую Деву» и назад — за следующей партией. И так туда-сюда весь день и всю ночь тоже, потому что Дюнкерк горел так, что и ночью все было видно. Не знаю уж сколько раз он успел обернуться, но только он, да еще шикарная моторная лодка Темзинского яхт-клуба и подоспевшая потом большая спасательная лодка из Пула, забрали нас с этого адского берега — всех до единого человека.

Мы отплыли только когда последний из нас был доставлен на борт, и всего было больше семисот человек, а судно-то рассчитано на двести. Он еще был там, когда мы отплыли и помахал нам на прощание и поплыл в сторону Дюнкерка, и птица опять с ним. Ей-Богу, странно было смотреть, как эдакий здоровенный гусь кружит над его лодкой, как белый ангел посреди всего этого огня и дыма.

По пути на нас еще раз налетал пикировщик, но дело было уже к ночи, и он промахнулся. К утру мы благополучно добрались до дома.

Я так и не узнал никогда, что с ним стало и откуда он взялся — с этим горбом и парусной лодочкой. Но парень был что надо, отличный парень.

— Ну, — согласился артиллерист. — А гусь-то какой. Чудеса да и только.

В офицерском клубе на Брук-стрит шестидесятипятилетний капитан в отставке Кит Брилл-Оденер рассказывал об эвакуации людей из Дюнкерка. Поднятый с постели в четыре часа утра, он повел через Дуврский пролив кривобокий буссир, тянувший за собой несколько пустых барж, и четыре раза приводил его назад с эвакуированными солдатами. В последний раз буссир пришел без трубы и с пробоиной в борту. Все же Оденеру удалось привести его обратно в Дувр.

Слушавший его офицер запаса, под которым в последние четыре дня эвакуации подорвались на минах два бриксенских траулера и один ярмутский дрифтер, сказал: «А не приходилось вам сталкиваться с этой странной легендой о диком гусе? Она обошла тогда все побережье. Знаете, как быстро распространяются подобные истории. Среди моих эвакуированных было несколько человек, которые говорили об этом между собой. Будто гусь появлялся всякий раз между Дюнкерком и Ла Панни, и кто видел его, тот непременно спасался. Что-то в этом роде.»

— Хм-м-м, — сказал Брилл Оденер. — Дикий гусь. Я видел ручного. Чертовски странная история. И трагичная, если уж на то пошло. Но для нас счастливая. Сейчас расскажу. Это было третье возвращение. К шести часам мы заприметили маленькую неуправляемую лодку. Насколько мы могли судить, в ней должен был находиться человек. Или тело. А на леере сидела какая-то птица.

Пройдя еще какое-то расстояние, мы сменили курс и стали приближаться. Видит Бог, там действительно был человек. Или то, что от него осталось, бедняги. Он был ранен из пулемета. Тяжелый случай. Лицо было в воде. А птица оказалась гусыней — ручной, надо думать.

Мы подошли почти вплотную, но когда один из наших ребят потянулся через борт, птица зашипела на него и стала бить крыльями. Никак не могли отогнать. Вдруг Кеттинг, что стоял со мной рядом, вскрикнул и показал по правому борту. Плавучая мина. Эдакий роскошный подарок от Фрица. Если бы мы тогда не сменили курс, то нарвались бы прямо на ее. Уф! Была не была. Мы подпустили ее на сотню ярдов к последней барже и наши ребята подорвали ее, открыв автоматический огонь.

Когда мы снова обернулись к лодке, ее уже не было. Потопило взрывной волной. И парня вместе с ней — скорее всего, он был к ней привязан. Птица поднялась в воздух и давала круги. Три круга — как салютующий самолет. Странное было чувство. Потом полетела на запад. Стало быть, так мы и спаслись. Удивительно, что вы спросили о гусе.

Фрит осталась на маленьком маяке, окруженном Топью, и продолжала смотреть за птицами с подрезанными крыльями, и ждала, сама не зная чего. Первые дни она часто дежурила на дамбе, хотя знала, что это бесполезно. Потом она стала обходить кладовые маяка, где кипами валялись холсты, на которых Раедер запечатлел все оттенки и настроения этой дикой местности, не забыв насылающих ее чудных, грациозных созданий.

Среди других ей попалась картина, на которой Раедер изобразил ее по памяти много лет назад, когда она была еще ребенком и стояла растрепанная и перепуганная у него на пороге, прижимая к себе раненую птицу.

До сих пор ничто не волновало ее так сильно, как эта картина и то, что она в ней увидела: в ней было очень много самого Раедера. Странно, но то был единственный раз, когда он писал снежную гусыню, эту пригнанную бурей из другой земли дикую птицу, которая подарила каждому из них друга и которая в конце вернулась к ней с вестью, что она никогда его больше не увидит.

Еще задолго до того, как снежная гусыня выпала из багряных облаков на востоке, чтобы совершить последний, прощальный облет маяка, Фрита, каким-то древним чутьем телоцей в ней крови, знала, что Раедер не вернется.

И когда однажды на закате она услыхала раздавшийся с неба высокий и такой знакомый звук, сердце ее ни на минуту не дало обмануть себя ложной надежде. Она как будто уже переживала этот миг много раз.

Она кинулась к дамбе и устремила взгляд не к далекой морской глади, где мог появиться парус, но к небу, из-под пылающих сводов которого обрушилась снежная гусыня. И это зрелище, этот звук и окружающее ее безмолвие проявили плотину внутри нее и выпустили наружу неудержимую, ошеломляющую правду ее любви, хлынувшую с потоком слез.

Одна неприкаянная душа выкликала другую, и Фрит казалось, что она летит вместе с этой огромной птицей, паря с ней в вечернем небе и внимая голосу Раедера.

Небо и земля дрожали от этого голоса и переполняли ее так, что она едва могла это вынести. «Фрит! Фрита! Фрит, любовь моя. Прощай, моя любовь.» Белые, с черными концами, крылья высекали эти слова у нее в сердце, и сердце ее ствечало: «Филипп, я люблю вас».

На какой-то миг Фрит показалось, что снежная гусыня хочет опуститься на старой огороженной площадке, потому что гуси с подрезанными крыльями приветственно загадели. Но она только пронеслась низко над землей, потом взмыла снова, очертила в воздухе широкую плавную спираль вокруг маяка и начала набирать высоту.

Фрит смотрела на нее и видела уже не птицу, но душу Раедера, прощающуюся с ней перед тем, как уйти навсегда.

Только сама она уже не летела с ней, но была прикована к земле. Она стояла на цыпочках, протягивая руки к небу, словно стараясь дотянуться, и кричала:

— Храни вас Бог! Храни вас Бог, Филипп!

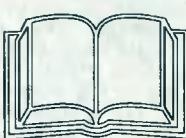
Слезы Фрит утихли. Гусыня уже давно исчезла из виду, а она все стояла в тишине и смотрела. Потом зашла в маяк, взяла картину, ту, на которой Раедер изобразил ее с птицей, и, прижимая ее к груди, двинулась по старой морской дамбе в направлении к дому.

Каждый вечер на протяжении многих последовавших затем недель Фрит приходила к маяку и кормила приученных птиц. Потом однажды под утро немецкий бомбардировщик на раннем рейде принял старый покинутый маяк за действующий военный объект, спикировал на него, кричащий стальной ястреб, и разбомбил подчистую вместе со всем содержимым.

В тот вечер, когда Фрит пришла на маяк, море уже хлынуло в пробоины стен и затопило его. Все было пусто. Ни одна болотная птица не отважилась вернуться. Только бесстрашные чайки носились, крича и причитая, над исчезнувшим маяком.

Перевела с английского Татьяна Стамово

Журнал "Юность"
принимает заказы
на разработку и изготовление
оригинал-макетов
разнообразной
полиграфической продукции



По умеренным ценам!

Тел. 251-02-30, тел/факс 251-74-60

Литературная викторина «Герои великих книг»

Дорогие читатели!

Предлагаем Вам новый этап литературного марафона. Напоминаем, что начался он в «Юности» №5.

Итак, очередная пара вопросов...

* * *

Нет человека, не знающего Шерлока Холмса! Странное дело — Холмс всего лишь литературный герой, а чопорные британцы воздвигли

ему памятник. Но ведь писал же Конан Дойл с кого-то своего героя! Да и памятники героям книг не такая уж редкость...

* * *

Свифт был великий шутник и мастер на экстравагантные выходки. Даже путешествие Гулливера написал, как пародию. А сколько в книге невероятных фантастических

историй, оказавшихся правдой! Почему автор не подписал роман, кого пародировал? Попробуйте вспомнить.

Желаем удачи и до скорой встречи!





Когда два года назад в немецком журнале «Raut und Zeit» я прочитал статью известного ученого Л. Ратнера о том, что СПИД, «чума XX века», по всей видимости, не что иное, как крупномасштабная мистерия, а точнее — классический образ кодирования или зомбирования громадных масс людей с помощью вездесущей mass-media, то первая моя реакция была, конечно же, по Станиславскому — не верю! Ратнер же в заключении говорил, что большинство ученых-специалистов приходят к аналогичным выводам: была подготовлена и осуществлена грандиозная акция, направленная на воздействие и прямую манипуляцию с человеческим сознанием на уровне стран, народов, континентов...

Элементы психологической войны стали оформляться в мощное пропагандистское оружие сразу же после октябряского переворота семнадцатого года. То есть когда мир раскололся как бы надвое по классовому признаку. (Сразу хотелось бы заметить, что честная, без заведомой лжи и подтасовок пропаганда, используемая в приложениях к тому, либо иному явлению, непредосудительна, если искренне отстаивается собственная точка зрения, либо выполняется чей-то заказ. Но и право каждого честного независимого человека, отстаивающего свою интеллектуальную свободу, при столкновении с такой пропагандой — отыскивать в ней уязвимые места, чтобы методом анализа выявить и понять мотивы или аргументы организаторов подобной акции.)

Мне кажется, бесперспективно искать, у кого пальма первенства на незримом фронте этой психологической войны, чьи инсинуации жестче, коварнее. У каждой стороны (США, либо бывшего СССР) всего этого добра поровну, может, с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Будем считать, что с опубликованием первых ленинских декретов пропаганда, а вместе с ней и «боевые» действия психвойны были поставлены на научную основу и приняли размах, который не снился ни папам римским,

Писатель Геннадий Смолин по первой своей специальности — физик-ядерщик, занимался проблемами радиологии, популяризацией отечественной науки, научной публицистикой. В данной статье он излагает свою версию.

ни Наполеону, ни царскому дому Романовых в России. Параллельно стала набирать обороты заокеанская машина лжи по дискредитации молодой, а потом и не очень молодой советской власти. Если в СССР задачу по разложению и подрыву капиталистического строя успешно решала служба «А» Первого главного управления госбезопасности («Альфа» — «активные мероприятия»), то в Штатах эти же мероприятия проводились под эгидой ЦРУ, создавались всевозможные проекты, как например, известный «Гарвардский проект», который исполнялся, естественно, учеными Гарвардского университета и куда было вбухано несколько миллионов долларов (в 1949—1951 гг.). Основные работы по этому «проекту» проводились в Мюнхене, где в особом центре сотни советских невозврашенцев подвергались различным психологическим исследованиям от «RORSCHACH-TEST» до графологических исследований (проверки с так называемыми «оборванными предложениями», «чернильными пятнами» и тому подобного — вплоть до интимных «вывертов» и тестов с сексуальной направленностью — в общем, сплошной фрейдизм). В «Гарвардском проекте» разрабатывались планы, отрабатывались методики, проводился селективный отбор бойцов для разворачивающейся на фоне холодной войны и другой, психологической, по оси Запад-Восток.

Бросим взгляд на десять лет назад. В начале 80-х годов Западную Европу сотрясали марши-протесты и марши мира, в печати Германии, Италии, Франции, Испании и Скандинавских стран муссировалась одна и та же тема — размещение в Европе американских ракет средней дальности. Конечно, к этой кампании приложили руку талантливые сотрудники и специалисты из управления «А» бывшего СССР. Теперь можно лишь похвалить наших гэбистов — прекрасная работа.

Ну, а вот другое «активное мероприятие» было связано как раз с появлением СПИДа. Первое сообщение об этой загадочной «неизвестной болезни» американские обыватели прочитали еще в 1980 году, речь шла о нескользких случаях пневмоцистной пневмонии у гомосексуалистов. Затем появились публикации о таких сопутствующих заболеваниях (у тех же педерастов), как саркома Капоши со злокачественным течением. Через год «тайная болезнь»

перекинулась через Атлантику и стала диагностироваться в Западной Европе. В 1983 году группа ученых Пастеровского института в Париже, руководимая Люком Монтанье, а также в унисон им работающие ученые из Национального института рака в США под водительством известного иммунолога и вирусолога Роберта Галло — выделили независимо друг от друга Т-лимфотропный ретровирус от больных с лимфаденопатией.

По всей видимости, тут как раз и подключились наши гэбисты из управления «А». Помнится, по центральной прессе валом прокатились публикации на сенсационную тогда тему «СПИД». Особенно потрудились такие популярные издания, как «Литературная газета», «Труд», «Комсомольская правда» и другие. Идея-легенда была проста до гениальности: СПИД — болезнь, сконструированная учеными-специалистами из Форт-Детрика (штат Мэриленд, США), а из одной научно-исследовательской лаборатории произошла утечка данного вируса — по халатности, либо намеренно. Благо, в средствах массовой информации Америки где-то в 80-х годах промелькнуло сообщение о создании в стране «этнического оружия» под эгидой Военно-морских сил США, которое будет направлено на уничтожение только черных и прочих цветных. А каждый день приносил все новые сведения-сюрпризы о синдроме приобретенного иммунодефицита, как например, непонятную склонность вируса к многолюдности, обилие его штаммов, выделенных не только от разных больных, но и от одного и того же больного и в любой период — летом, зимой, весной, осенью. Английский венеролог Дж. Сил, ничтоже сумнявшись, выдвинул предположение, что американские или русские специалисты в области химического и бактериологического оружия с помощью генной инженерии добавили еще один ген к вирусу, который поражал мозг овцы, и таким образом был создан и запущен в производство пресловутый вирус СПИДа. Свое детище ученые от военно-промышленного комплекса то ли со злым умыслом, то ли случайно выпустили где-то в Экваториальной Африке, откуда и пошла эпидемия.

Но были ученые, не заблудившиеся в трех соснах, а пришедшие к объективным выводам по проблеме СПИДа.

Однако «активное мероприятие», запущенное с легкой руки спецслужб и средств массовой информации, заработало. И пошла писать губерния! Сегодня диву даешься, сколько статей на заданную тему напечатали в отечественной или иностранной печати, сколько прочитано докладов, сколько проведено симпозиумов, конференций! Сколько проведено мероприятий, телемарафонов, разных пробегов и акций — тьма-тьмущая!. Вот только некоторые заголовки статей: «Африканский след СПИДа», «Франкенштейны из Форт-Детрика», «Последствия ядерных испытаний»... Нормальная деза,пущенная аналитиками из отдела «А» при Первом главном управлении КГБ, скоро, по всей видимости, отработала свой срок. И хотя «заговорщицкая версия» СПИДа сошла на нет, многие успели клюнуть на эту удочку и даже «помогли» отыскать дополнительные доказательства в пользу легенды о «расистах из ЦРУ и Пентагона», которые-де сконструировали варварское биологическое оружие против «неполноценных людей» — черных, арабов и гомосексуалистов. А главное, в памяти у людей остались сомнения: дескать, дыма без огня не бывает...

Известно, что когда у нас победила перестройка, то согласно решительным требованиям руководства США, Горбачев отдал соответствующие указания в Первое главное управление КГБ, и деятельность службы «А» была свернута. Зато в самих США проекты, аналогичные «Гарвардскому», никто и не думал прикрывать — наоборот, активность и тематическая широта психологических мероприятий янки нескажанно возросла. Парни из CIA славно потрудились по возрождению демократии и свободы в странах бывшего соцлагеря. СССР тоже не обошли вниманием, ни на минуту не забывая, что под этой аббревиатурой — все та же Великая Российская империя, и не важно, кто на престоле в Кремле: Царь, Генсек или Президент — русские они всегда не враги, так противники, не противники, так конкуренты.

Вернемся к некоторым аспектам психологической войны. В американской печати в 70-х годах пошли косяком сообщения о будто бы изобретенном в СССР тайном оружии необыкновенной силы. Еще в середине восьмидесятых «Горби», лукаво улыбаясь с экрана телевизора, наме-

кал, что СССР может предпринять неадекватные меры — некий «асимметричный» советский ответ на американскую программу СОИ. Возможно, речь шла об одном и том же. Поскольку еще двадцать лет назад в «Washington Post» сообщалось о каком-то ужасном оружии русских, это могло быть очередным «пугалом», приготовленным на кухне специалистов из Центральной разведки США (CIA), однако, могло иметь под собой и основу. Тогда мы имеем дело с Х-оружием, использование которого базируется на великолепном знании темных закоулков психики человека, эдаких фрейдовских комплексов саморазрушения и желания гибели — в общем, имеем дело с так называемым социальным квантованием личности. Ну а цель подобной «квантовой» дубинки — кодирование людей, то есть доведение их сознания до уровня зомби. Тут и опыты по психотропному воздействию на людей и многое такое, что порой прорывается на экраны ТВ и в прессу. Красноречив пример с болгарским академиком Т. Дичевым. Прошлым летом по «Московской программе телевидения» он предупредил зрителей о том, что в следующей передаче «Московии» он продемонстрирует отснятый материал по зомбированию людей. В условленный день и урочный час любознательный народ собрался у «ящиков», но миловидная ведущая конфузливо сообщила, что обещанный «видеоматериал» и академик Т. Дичев по каким-то несурзанным причинам в данной передаче отменяются...

Итак, мы вплотную приближаемся к поставленному вопросу «СПИД — болезнь или надувательство?»

В последние годы «чума XX века» все более политизируется, перемещаясь из области социальных отношений в сферы расовых, классовых, политических, экономических и международных вопросов. Не мудрено. Если посмотреть на клинику СПИДа, проблемы лечения и вопросы профилактики, то окажется, что здесь больше вопросов, нежели ответов. СПИД расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита. Правда, приобретенных иммунодефицитов много, а СПИД — один. Корректнее было бы сказать так: СПИД — это такой приобретенный иммунодефицит, который отличается от других наличием определенного комплекса свойств и специфического возбудителя. Вот какое мы имеем неоднозначное определение болезни. Далее. Мало изучены начальные стадии заболевания. Даже сам преСПИД может иметь, оказывается, различный исход: первичные симптомы исчезают, состояние больного стабилизируется, и он попадает в хронические носители (и распространители!) вирусной инфекции. Кроме того, спустя два года после появления и идентификации на планете данной болезни, в Западной Африке вдруг обнаруживают некую разновидность «старого» и «нового» ВИЧ — вируса иммунодефицита человека, а потому ввели следующие обозначения: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Ну а медики-практики из разных стран планеты в один голос стали утверждать, что борьба с ВИЧ (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) крайне затруднительна из-за того, что он-де, пребыва в «спящем» состоянии в ядре клетки, еще великодушно мутирует. Кроме того, как уже упоминалось, при СПИДе параллельно развиваются так называемые «оппортунистические заболевания», как то: саркома Капоши, лимфома Бэркита, а также опухоли головного мозга, токсоплазмоз, гепатит, себорея, церебральный паралич — в общем, полный «буket» вторичных, но довольно-таки грозных самих по себе недугов. В нашем случае со СПИДом мы имеем такой же фокус, как в физике, где существует парадоксальное соотношение неопределенностей, вычисленное знаменитым немецким физиком-теоретиком Гайзенбергом. И еще немаловажный факт. В практику медицины прочно вошло такое понятие, как «Чернобыльский синдром СПИДа» (данний «ЧС» встречается зачастую у тех, кто попал под действия ионизирующих излучений). Симптомы «Чернобыльского синдрома» идентичны признакам традиционного СПИДа (ВИЧ-1 или ВИЧ-2). Вот и разберись с этим феноменом многоликого СПИДа!

В самый раз поведать известную всем медикам историю о «синдроме третьекурсника». Студенты-медики на первых двух курсах изучают теоретические дисциплины: анатомию, биологию, биохимию, физиологию и другие, а на третьем впервые переступают порог больницы и у постели больного сталкиваются с клиническими предметами — терапией и хирургией, в морге — с патофизиологией. И тут выясня-

ется, что почти каждый студент-третьекурсник имеет у себя массу «тяжелейших болезней». Стенокардию, инфаркты миокарда, болезни желудка — все эти болезни лавиной обрушиваются на будущих докторов, особенно то, что в данный период изучается. Теперь попробуем представить себе вместо группы студентов огромную аудиторию слушателей радио, телезрителей или читателей газет и журналов, в которых ежедневно расписываются ужасы синдрома приобретенного иммунодефицита человека, щупальцы которого вот-вот доберутся до каждого на земном шаре, а народы и страны навсегда исчезнут с лица планеты, как это случилось с динозаврами. И мы тотчас подходим к сакральному вопросу, «кому выгоден» такой синдром третьекурсника в масштабах нашей планеты?

Во-первых, ученым, биологам и медикам, непосредственно занимающимся исследованиями «чумы XX века». Благодаря грандиозным «лекциям» для населения, запускаемым через отечественные и зарубежные mass-media, по поводу грядущих пандемий СПИДа и всеобщего мора населения, у людей формируется в сознании самый настоящий «синдром третьекурсника». На таком фоне парламенты легко принимают соответствующие законы, а исполнительная власть изыскивает средства финансирования необходимых медикобиологических программ и мероприятий. Налогоплатильщики без звука соглашаются на такие шаги властей и будут лишь радоваться обилию научно-практических конференций, круглых столов, симпозиумов, рок-фестивалей, телемарафонов и прочих мероприятий по СПИДу. Как следствие, возводятся новые НИИ, а масса специалистов и ученых будут трудиться в стенах лабораторий на современной технике. Разве это не успокаивает? Умиротворяет! Кроме того, как показала мировая практика, случайные открытия, которые делаются побочко, зачастую превосходят те цели и задачи, которые записаны в титульный лист данной темы.

Во-вторых, фармацевта. Из-за расширяющегося бума на поиски новых действенных препаратов ссужаются громадные деньги. В лабораториях создаются новые, более действенные препараты и, как показывает жизнь, не только для борьбы с ВИЧ-1 или ВИЧ-2, выявляются иные перспективные направления в фармацевтике.

В-третьих, субсидируется «резиновая промышленность». Нарастает выпуск многообразных предохранительных средств — от стоматологии до акушерства, а также всяких защитных штучек, используемых в сексе. Вкладываются деньги в производство по изготовлению одноразовых шприцов. (Всем, конечно же, памятны вояжи первых лиц государства и то, как по возвращении сотни тысяч разовых шприцов с помпой дарились больницам и роддомам.) Уйма средств потрачена на создание специальной аппаратуры, как например, для тестирования людей на предмет обнаружения ВИЧ-1 или ВИЧ-2. Естественен перевод из госбюджета средств на строительство новых диспансеров, больниц, санаториев и соответствующих производств.

В-четвертых, как в свое время эпидемия чумы, так и разворачивающаяся (по словам специалистов-СПИДовцев) пандемия синдрома придает разным религиозным конфессиям второе дыхание. Большинство религий считает СПИД «Божьей карой», ниспосланной Небом за грехи и неправедный образ жизни. Богословы полагают, что сие есть результат «западного образа жизни» вследствие насаждаемых католиками через СМИ «сексуальных извращений» как естественного стиля жизни для молодых людей. А потому апелляцию мировых конфессий к пруританству можно только приветствовать. Ну, и антиСПИДовская пропаганда прекрасное дополнение к священным текстам, где утверждается — не прелюбодействуй!

В-пятых, новые изгои общества. Глянем за запретную черту, откуда великолепно видно, ради чего все-таки заварена вся каша со СПИДом? Тут все просто и сложно. Еще не так давно, когда на планете царил устойчивый двухполюсный мир (капитализм — коммунизм), то уж немало ретивых граждан, несогласных с политикой режима (как на Западе, так и у нас) можно было запросто упрятать за решетку с диагнозом — вялотекущая щизофрения. Делалось так легко и просто. Правда, это уже вчерашний день. А тут как в библейской легенде на головы властей предержащих сваливается универсальный жупел — СПИД, да еще такой таинственный многоликий: ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (если дело так пойдет, то и ВИЧ-3, ВИЧ-4 и так далее).

Покуда проводится добровольное тестирование, но скоро оно может превратиться в принудительное. «Пациент», прошедший каверзнью и неоднозначную проверку, может быть запрошен объявлен носителем вируса. И поехало! В данном случае заинтересованной стороной (властными структурами) могут быть использованы — и не без успеха — иррациональное чувство страха людей, их невежество и безотчетное стремление к самосохранению. Потому общественное мнение сразу же отторгнет такого «больного», и тот автоматически станет новоявленным изгоем общества. Его будет ждать в своем роде современный остракизм — выселение в отдаленные, географически изолированные районы. (Назывались даже спорные с Японией территории как места под смешанные российско-японские лагеря для носителей ВИЧ-инфекции, а иные ретивые СПИДоборцы предлагают создать карантинные лагеря в бывших лепрозориях для прокаженных под видом СПИДозориев. Предлагалось даже клеймить людей тавром «СПИД» на предплечьях, ягодицах или повыше лобка.) Подобная борьба с инакомыслием будет равнозначна «гражданской казни», а поварвистру равняться на стародавние методы сжигания еретиков на кострах. Но! На что уж, казалось бы, ВОЗ — заинтересована в раздувании пожара «СПИДофобии», но и та пришла к выводу: мол, никакой тест на инфекцию СПИДа не может быть стопроцентно гарантированным. В общем, проблем, неясностей или тупиковых путей здесь больше, нежели чего-то определенного.

В-шестых, еще один поразительный пример. Бывший мэр научного городка Хьюстон (США) Л.Уэшли, выдвигая свою кандидатуру, в ходе избирательной кампании неоднократно заявлял, что, прийдя к власти, он «перестрелял бы этих придурков» (то есть людей, инфицированных СПИДом). За Л.Уэшли проголосовало тогда до 40 процентов избирателей. И хотя он не был переизбран в мэры, его заявление ярко отразило умонастроения избирателей такого «цивилизованного» города, как Хьюстон. Нарастает вал обвинений и с другой стороны. Например, лидер американской организации «Нация ислама» Л.Фарражан утверждает, что эпидемия СПИДа в Африке спровоцирована белыми, которые хотят завладеть стратегическими ресурсами. В газетах, отражающих настроение цветного населения США, заявляется, что «кампания геноцида» развернута против них целенаправленно: «СПИД навязан нам крупным бизнесом». Красноречивы в этом контексте свидетельства сотрудника Пастеровского института Ф.Деньо, который в течение 1987-1988 учебного года выступал с лекциями о СПИДе в школах Парижа, а затем проводил опросы, то есть, осуществлял по сути своеобразную обратную связь с выбранной им аудиторией. Выводы Ф.Деньо оказались сногшибательными: «Если СПИД и вызывает какие-то чувства у подростков, то это убеждение в зловредности их времени». Более того, по мнению французских школьников, после безработицы и военной службы «СПИД является... новой выдумкой взрослых, изобретенной с целью омрачить их юность». Вот вам и приговор очередному пугалу, хотя и на эмоциональном уровне.

В этом аспекте неплохо было бы увидеть некоторые прогнозы, что наверняка составляются где-нибудь группой аналитиков, засевших в каком-нибудь другом «Гарвардском проекте». Любопытна публикация в журнале «Фьючерист». «...Если Соединенным Штатам Америки, которые нынче обладают наибольшим количеством диагностируемых случаев заболевания СПИДом, придется бороться с этой крупной эпидемией вплоть до второй половины 1990-х годов, а Советский Союз и Китай останутся почти что незатронутыми, то центр мировой силы переместится на Восток». Далее автор этого прогноза утверждает: какие бы страны ни вышли уцелевшими из эпидемии, именно они «будут определять контуры глобального порядка для человеческого рода в течение следующего века, а может быть, и за его пределами».

Может, в этих словах процитированного нами прогнозиста и зарыта собака? А очередное «пугало» со СПИДом понадобилось лишь для того, чтобы в третьем тысячелетии коренным образом изменить «контуры глобального порядка для человеческого рода»? Но недаром — «нет ничего тайного, что бы не стало явным...»



Хрестоматия юмора

Саша ЧЕРНЫЙ

Писатели — выдумщики, но Саша Черный (1880 — 1932) менее других был склонен к изображению никогда не существовавших лиц, событий. Он верен себе — в разных эжанрах. В хлесткой сатире, по которой скучает будущий том русской эпиграммы XX века. В «несерьезном» рассказе (как говорили, в духе раннего Чехова). И в лирическом, сквозь розовый дым настольгии, воспоминании, посвященном А. Т. Аверченко, юмористу и редактору петербургско-петроградского «Сатирикона» и «Нового Сатирикона» — аж до 1918 года, когда, по словам поэта, российский смех был задушен, осталось улюканье и гоготанье.

О том, как в десятые годы неразлучной гурьбой ходила по Петербургу «сатирическая банда», рассказывал К. Чуковский: «Завидев одного, можно было заранее сказать, что сейчас увидишь остальных» («Саша Черный», 1960). Так что все в этих стихах правда.

«Сатирикон» — звездный час Саши Черного. У всех на устах были его «злободневные стихи». «...Злободневность мелькала, как бешеный хвост. Я поймал ее, плюнул и свез на погост». Пестрая смесь желчи и горести, соли и простодушия, дерзости, детскости...

После Октября, на чужбине, его голос продолжал звучать не только над унесенной ветром русско-имперской, а, как сказал бы Блок, над мировой чепухою: он выявил в человеческой природе то, перед чем оробели другие. Вот обмакнул кисть в свою «голландскую сажу» и прошелся по знаменитым и очень знаменитым писателям, весьма обидчивым. Было и политическое противостояние. И если мы, с нашей колокольни, видим его персонажей по-другому (Горького, Эренбурга и др.), разве гротескный штирик на их ликах лишний? Творить кумиров Господь не велит.

Саша Черный поставил клеймо на «советских палачах», которые были еще обидчивы; никому не прощали. (В ментальности совка страх «оби-

деть родину», — а с ней отождествляла себя большевистская верхушка, — живет по сию пору: «никаких выпадов против покинутой родины себе не позволял», — это из сегодняшней газеты, про Савелия Крамарова, актера.) Так что о возвращении домой не было речи.

Читателям парижского «Сатирикона» (1931) Саша Черный загадал загадку: «Кто такой: не шит, не кроен, а весь в рубцах?» Отгадка: эмигрант. Эмигрант Павел Николаевич Кузовков («Письмо из Берлина»), который, чудак, завел белку, тоже «весь в рубцах». И тоже лицо не слишком выдуманное. Это отчасти сам Саша Черный; о белке у него стихи есть: «Надо мной с переплетом жердей темно-рыжий комочек глядит на прохожих людей...», рассказ «Берлинское рождество», поесть «Белка-мореплавательница».

Дитя беспощадной эпохи, молчаливый и деликатный, Саша Черный принадлежал к поколению случайно не убитых людей. Его смех грустный. Умный. Веселый. Исцеляющий.

Владимир Приходько

ИССЫКО ИЗ БЕРЛИНА

Золотая Анна Александровна! Известный Вам Павел Николаевич Кузовков узнал, что Вы в Париже и умоляет написать Вам. Сам не может. Сидит у меня на сундуке, нюхает валерьянную пробку и плачет. Слезы падают на хозяйственный ковер, — и я в отчаянии...

Чудак, видите ли, завел белку. Жениться эмигрантам берлинские хозяйки не разрешают, но к животным они снисходительны. Причем белка обходилась Кузовкову только в 15 золотых пфенигов в сутки. Разве на эти деньги жену прокормишь?

Позавчера утром, пользуясь последними осенними ясными днями, белка, нарушив предписанные квартирные условия, вылезла из клетки, отрызла у гипсового Гинденбурга нос и выскоцила за окно.

Оттуда по карнизу жизнерадостным курцгалопом понеслась к соседнему балкону и прыгнула на дремавшую в качалке 70-летнюю фрау Шмальц. Слыхали Вы когда-нибудь, как визжат старые немки? Уличное движение сразу остановилось... Старухина наколка полетела вниз, а под наколкой, как у головной крысы. Можете себе представить удивление смотревших сверху жильцов?..

А белка — хвост трубой, — опрокинула вазон с душистым стручковым горошком, шмыгнула в угловое окно и, приняв отдохнувшего на перине коммерции советни-



Саша Черный. Художник Мих. Якушин.

ка Баумгольца за дубовую колоду, начала танцевать на его животе лесные танцы.

Баумгольц проснулся и решил, что он сошел с ума. Но потом одумался, бросил в проклятую белку пивной кружкой и со страха наступил пяткой на слетевшее золотое пенсне. Вы понимаете, чем это пахнет? Пенсне крякнуло... Белка укусила советника за третью складку на затылке и, разбив по дороге портрет с полным комплектом семейства Вильгельма, понеслась с обеих рысью обратно к Кузовкову.

Теперь представьте себе... Мальчишки под окном визжат: «Русский! Русский! Ферфлюхтер русский!» Торговки потрясают жестянками с порошком для чистки медной посуды и орут басом: «Позор! Позор! Он держит диких зверей!..» И вдобавок идуют сосед, приняв, очевидно, мчавшуюся по карниzu рыжую белку за раззывающееся пламя, вызвал пожарную команду...

На заднем плане старуха лежит в обмороке на своем балконе. Пожарные растирают ей виски. Снарижи Баумгольц лупят кружкой в дверь. В спальню хозяйка Кузовкова размахивает перед его носом безносым Гинденбургом. На кухне шуцман расстегнул пояс и, пососав карандаш, составляет протокол. А белка, как ни в чем не бывало, забилась в клетку и катает каштан...

Результаты? Шуцман увез белку в карете скорой помощи в какой-то собачий крематорий для уничтожения. Угловой провизор с бельмом, который не любит русских, клянется, что белка была бешеная и подсчитал уже все убитых Баумгольца, если советник взбесится. Вы понимаете, чем это пахнет?

Хозяйка требует за нос Гинденбурга 10 золотых марок, за поругание квартирной части 28 марок и за порванную белкой плюшевую фамильную портьеру 34 марки (хотя портьера была порвана еще в прошлом году хозяйственным пьяным

«шашом» — по-вашему «ами»).

У лавочника напротив украли во время суматохи окорок довоенной заготовки. Жена его кричала на всю улицу, что раньше немцы были все честные, что это эмигранты их развертили и что если бы не эмигранты, то не было бы и войны...

Старуху, если выживет, Кузовкову придется взять на пожизненную пенсию, — после случая с белкой она трясет головой и никак не может остановиться. Если не выживет — Вы представить себе не можете, золотая Анна Александровна, до чего вздорожали в Берлине надгробные камни и прочие предметы первой необходимости!

С Баумгольцом еще ужаснее! Коммерции советник о деньгах и слышать не хочет и говорит, что дело не в затылке и не в разбитой кружке и даже не в семействе Вильгельма, — а в наглом засилии эмигрантов, благодаря которым пиво вздорожало на 10 золотых пфеннигов литр. Меньше 85 марок отступного он не возьмет...

В общем, если Кузовков продаст свою лавочку с радиоаппаратами и патентованными несгибающимися подтяжками, то только-только ликвидирует эту гнусную историю. С квартиры гонят. Строящиеся дома разобраны вперед на 125 лет. И вдобавок, он, кажется, попадет в категорию нежелательных иностранцев, возбуждающих одну часть населения против другой (1001 статья) и будет выслан из Германии.

Бедняга до того подавлен, что сегодня утром, приняв осеннюю муху на стене за гвоздик, повесил на нее свои последние золотые часы. Часы, конечно, разбились. А в ресторане, когда хозяин подошел к нему с обычным приветствием «мальцайт» — несчастный побледнел и стал извиняться, что он совсем не Мальцайт, а Кузовков...

Что делать? Ради Бога, напишите, что в Париже. Один Кузовков на приrost парижского населения в два с половиной миллиона человека не повлияет, а здесь он меня замучит.

И хозяйка моя уже косится: потому что он нервничает, ходит по ее ковру, три раза уже садился на ее кресло, на которое даже я не сажусь, — и что ужаснее всего — подложил окорок в ее фамильную пельницу.

Вот сейчас я вам пишу, а она через замочную скважину смотрит и счет составляет.

Кузовков клянется, что больше белок заводить не будет. Знает древнегреческий язык и украинский. Умеет разбирать пишущие машинки и, если нужно, научится и собирать...

Узнал, что Вы в Париже, и умеют написать Вам, зная Ваше до-

бре сердце и прочее. В противном случае, угрожает открыть у меня в комнате газ... А Вы знаете, чем это пахнет?!

Попадать из-за этого осла в нежелательные иностранцы я, слава Богу, еще не намерен!

Хотели мы, кроме Вас, обратиться к Лиге Наций. Но практикующий здесь харьковский нотариус Мурло взял за совет 15 золотых марок и отсоветовал.

Целую Вашу гуманную мраморную ручку и с трепетом ожидаю ответа.

Иван Лось.

P.S. Полотерное депо, в котором я работал, лопнуло, потом немножко возродилось, потом окончательно лопнуло и открыло здесь ресторан под названием «Аскольдова Могила». Но я не растерялся и занялся свое самостоятельное дело: контурю по перепродаже в лимитрофы щетины из берлинских парикмахерских. Заказов еще нет, но у Кузовкова в Нарве большие связи, а ведь в коммерческом деле это самое главное.

Сатирикон

Над Фонтанкой сизо-серой
В старом добром Петербурге,
В низких комнатах уютных
Расцветал Сатирикон.
За окном пестрели барки
С белоствольными дровами,
А напротив Двор Апраксин
Впился охрой в небосклон.

В низких комнатах уютных
Было шумно и привольно...
Сумасбронные рисунки
Разлеглись по всем столам.
На окне сидел художник
И, закинув кверху гриву,
Дул калинкинское пиво
Со слюною пополам.

На диване два поэта,
Как беспечные кентавры,
Хохотали до упаду
Над какой-то ерундой...
Почтальон стоял у стойки
И посматривал тревожно
На огромные плакаты
С толстым дьяволом-балдой.

Тихий вежливый издатель,
Деликатного сложенья,
Пробегал из кабинета,
Как взволнованная мышь...
Кто-то в ванной лаял басом,
Кто-то резвыми ногами
За издателем помчался,
Чтоб сорвать с него бакшиш...

А в сторонке, в кабинете,
Грузный, медленный Аркадий,
Наклонясь над грудой писем,
Почту свежую вскрывал:
Сотни диких графоманов
Изо всех уездных щелей

Насыпали горы хлама,
Что ни день — бумажный вал.

Ну и чушь...

В зрачках хохлацких
Искры хитрые дрожали:
В первом «ящике почтовом»
Вздернет на кол — и прощай.
Четким почерком кудрявым
Плел он вязь, глаза пришурил,
И, свирепо чертяхаясь,
Пил и пил холодный чай.

Ровно в полдень встанет. Баста.
Сатирическая банда,
Гулко топая ногами,
Вдоль Фонтанки цугом шла
К Чернышеву переулку...
Там в гостинице Московской
Можно вдосталь

сесть и выпить,
Поорать вокруг стола.

Хвост прохожих возле сквера
Оборачивался в страхе,
Дети, бросив свой песочек,
Мчались к нянькам поскорей:
Кто такие? что за хохот?
Что за странные манеры?!
Мексиканские ковбои?
Укротители зверей?

А под аркой Министерства
Околоточный знакомый,
Добродушно ухмыляясь,
Рявкал басом, как медведь:
«Как, Аркадий Тимофеич,
Драгоценное здоровье?» —
«Ничего, живем — не тужим.
До ста лет решил скрипеть».

До ста лет, чудак, не дожил...
Разве мог он знать и чаять,
Что за молодостью дерзкой
Грянет темная гроза —
Годы красного разгула,
Годы горького скитанья,
Засыпающие пеплом
Все веселые глаза.
1925, 1931

Эпиграммы

Горький

Пролетарский буревестник,
Укатив от людоеда,
Издает в Берлине вестник
С кроткой вывеской «Беседа».

Аnekdotцы, бормотанье, —
Буревестник, знать, заcha!
И лояльное молчанье
О советских палачах.

Теория творчества т. Эренбурга

«А все-таки она вертится»

Начирав фунта два страниц
О том, что гайка выше Данта,

Он вывел в вечность
всех мокриц
Рекламным слогом
прейскуранта.

Увы, как стар сей анекдот:
Чиж пролетал над океаном,
И, уронив в него помет,
Исчез бесследно за туманом.

Игорь Северянин

Весь напомаженный,
пустой поэзофат
Бесстыдно рявкнул,
легких не жалея:
«Поэт, как Дант,
мыслитель, как Сократ,
Не я ль достиг
в искусстве апогея?»

Достиг, увы... Никто из писарей
Не сочинил подобного «изыска».
Поверьте мне,
галантный брадобрей,
Теперь не миновать
вам обелиска.

Маяковский

Смесь раешника с частушкой,
Барабана с пьяной пушкой —
Красный бард из поливной,
Гениальный, как оглобля —
От Нью-Йорка до Гренобля
Макет дегтем шар земной.

А.Н. Толстой

(«Хождение по гонорарам»)

В среду он назвал их палачами,
А в четверг,
прельстившись их харчами,
Сапоги им чистил в «Накануне».
Служба эта не осталась втуне:
Граф, помещик
и буржуй в квадрате
Издается нынче в «Госиздате».

Демьян Бедный

Военный фельдшер, демагог,
Делец упитанный и юркий,
Матросской бранью смазав слог,
Собрал крыловские окурки.

Семь лет «демьяновой» уход
Из красной рыбы,
сплошь протухшей,
Он кормит чернь
в стране глухой,
Макая в кровь язык опухший.

Достиг! Советские чины
Ему за это дали право
Носить с расстрелянных штаны
И получать пайки удава.

«Накануне»

Раскрасневшись,
словно клюква,
Говорил друзьям Не-Буква:
«Тридцать сребреников? Как?
Нет, Иуда был дурак...
Да у нас-то в «Накануне»
За построчные лишь слюни
Самый скромный ренегат
Слупит больше во сто крат!»

1924

Саша Черный?

ПРИМЕЧАНИЯ

Из цикла «Эпиграммы» напечатан в «Русской Газете» 2 ноября 1924, N 163, Париж. На родине публикуется впервые.

Укатив от людоеда. После Октября Горский уехал за границу в 1921 (окончательно вернулся в 1931).

«Беседа». Журнал литературы и науки, выходивший в Берлине, «мачехе российских городов» (Ходасевич) в 1923-1925.

«А все-таки она вертится». Под таким названием в 1922 в Берлине вышел манифест И.Г.Эренбурга в защиту конструктивизма в искусстве.

«Поэт, как Дант...» — строки из стихотворения И.Северянина «Конечно, я для вас «аристократ»...» (1921) Пропитированы также в фельетоне Саши Черного «Узаконенное любительство», где Северянин назван «гениальным, но скромным мужчиной».

Поливная — заведение, торгующее легким, слабым пивом; пивная.

«Хождение по гонорарам» — намек на трилогию А.Н.Толстого «Хождение по мукам». «Накануне» — берлинская газета сменовеховцев-возвращенцев в 1921-1922; А.Н.Толстой сотрудничал в литературном приложении к «Накануне».

Военный фельдшер — Д.Бедный (Ефим Придворов) учился в военно-фельдшерской школе. О баснях Бедного Саша Черный еще до Октября писал «До чего это пресно, самодовольно, многословно и беспомощно!»

Не-Буква — псевдоним Ильи Марковича Василевского, журналиста, фельетониста, критика. В эмиграции резко выступал против советской власти; публиковался в сменовеховских изданиях, постепенно превращаясь из «белого» в «красного»; реэмигрировал; клеймил собратьев по чуббине; жертва сталинского террора (1938).

Публикация Владимира Приходько



Презентация клуба любомудров

Никак не хочется отставать от быстротекущего времени. Еще на заре гуманной (к стихотворцам) «Юности», на открытии моих замечательных Задворок я, произнося тост, пообещал, что здесь пусть будут расти все сто цветов отечественной словесности. И, как свойственно мне, держу свое обещание! Давали мы слово гражданская лирике, давали — любовной, какой только не давали! Теперь, к осени, когда, как любил в переводе В. Курочкина выражаться Беранже, «а в октябре прощай, любовь», пришла пора дать высказаться тем, кто норовит порассуждать о смысле нашей замечательной единственной жизни, ее неписанных законах и всяких пагубных превратностях. Авторов этих можно назвать по-гречески философами, но можно и по-русски любомудрами. И последнее мне, как уроженцу невозможно любимого Подмосковья, больше по душе. Как же правильно, по-русски, назвать произведения любомудров? Я думаю, правильно их назвать ЛЮБОМУДРСТЯМИ. В честь презентации создаваемого клуба уломянутых любителей, я и хочу представить, со всеми небезинтересными комментариями, некоторые образцы. Как то и бывает на всякой уважающей себя презентации.

Любомудрости

Сразу хочу сказать, что положение, по которому любомудствовать пристойно в зрелом возрасте или даже в преклонном — ошибочно. Об этом говорят и мой философский опыт и, что тоже, хотя и несколько менее важно, опыт многих авторов Задворок. Нет! Лучше всего о жизни судит тот, кого не тяготит за спиной груз жизненного опыта: тому сподручней это делать и ловчее.

Вот, например, к какому выводу пришел А. Г. из Семипалатинска в свои 22 года:

*Пространство — ложь.
И время — ложь вдвое:
Летящий птицы
след о чем-нибудь вам скажет?
Меня здесь нет?
Не верьте тишине!
Минорным соло
вашу кровь кто будоражит?
Заслышиав альта стон —
задумчив и растянут:*

*Укор всему — он оставляет след.
Не верте в тишину,*

кто был вчера обманут:

Вы говорите, что меня здесь нет?

На этот вопрос автора можно ответить только утвердительно: он здесь есть. Он присутствует. Кто же еще, в самом деле, будет будоражить нашу кровь, как не он?!

Вот еще интересный образец любомудрия, предложенный нашим стальным молодым автором Сергеем Белорусцем. Старым — потому что мы уже давно его открыли. А молодым — ну, хотя бы потому что он молодо выглядит, и в его окладистой бороде я не обнаружил цветов саксаула, то есть, пардон, аксакала:

*В каждом чете узнавая нечет,
Может быть, когда-нибудь пойму
То, что все всему противоречат,
Не противоречит ничему...*

Ну как софизм? Все ли понятно? Мне лично сказанное почему-то напоминает о капризном женском характере, только надо изменить род у местоимения — ту! И зазвучит уже привычнее. Скажем, так: ту, что всем всегда противоречит... Не противоречат ничему — то есть своей природе. Впрочем, я, как всякий глубоко интеллигентный человек, не настаиваю на своем догадке: автору виднее.

Традиционную для философов всех времен и народов тему бренности нашего существования поднимает любомудор из Воронежа Роман Л.:

*Что эта жизнь,
когда пред нами вечность?!*

*Что смерть —
всего лишь разновидность сна!*

*Когда в тебе бушует бесконечность,
То жизнь — лишь ложь и вечная вина.*

Но в отличие от готового все проиграть Германа из небезызвестной оперы «Пиковая дама» («Что наша жизнь? — игра!»), наш современник по-хорошему оптимистичен. Ибо в нем бушует бесконечность! Правда, это может быть неудобным для окружающих.

Иногда философское отношение к жизни, заявленное в первых строчках опуса, может иметь совершенно неожиданную концовку. Как в новелле О'Генри. Вот с чего начинается стихотворение В. Б. из Молдовы: «Никуда я не бегу, я сижу спокойно. Если надо, я умру, только, чтоб не больно...» Человек никого не тревожит своим существованием, сидит себе, никого не трогает. Более того — если надо, то готов и умереть с одним почеловечески понятным условием: «тебе не больно!» Он, правда, не указывает, кому это может понадобиться. Мол, не важно: ну, если кому-нибудь надо, так за ним дело не станет. Однако В. Б. оставляет за собой право на посмертное изумление: «Лишь когда я лягу в гроб, истину найдете. И тогда я посмотрю, как вы запоете». Я полагаю, что он имеет в виду нечто, сопровождавшее недавнюю кончину одного известного кормчего на Дальнем Востоке — громкий всенародный плач. Хочется тут же пожелать ему долгих лет жизни, слегка префразировав слова знакомой песни: «Не умирай, мой друг, не умирай!»

Ф. СП-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

71120

АБОНЕМЕНТ на журнал (индекс издания)

«ЮНОСТЬ»

(наименование издания)

на 199... год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, имя, отчество)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

71120

(индекс издания)

«ЮНОСТЬ»

(наименование издания)

Стол- мость	подпись	руб.	коп.	Количе- ство комплек- тов:
пере- адресовка		руб.	коп.	

на 199... год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, имя, отчество)

ГЕНИАЛИЗМЫ

Все в мире относительно — особенно относительно меня.

Лучше мания величия, чем мания ничтожества.

Все гениальное просто, но я еще проще!

У каждого свои недостатки — у меня же всего в избытке.

Не надо покрывать свою пустоту моей.

С философским приветом

П. Нахабин



В НОМЕРЕ

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе появляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресовки издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Роспечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Роспечати».

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации России
Регистрационный номер 112

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала "Юность"

Художественный редактор Юрий ПЕТЕЛИН
Технический редактор Людмила ГУДКОВА
Фотограф номера Леонид ШИМАНОВИЧ

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал "Юность" обязательна.
К сведению уважаемых авторов:

редакция не рецензирует рукописи и не возвращает,
а также не вступает в переписку.

Принимаются к рассмотрению первые машинописные экземпляры рукописей.
Авторы ответственны за точность цифр и дат и достоверность фактов.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах

обращаться в издательство "Пресса" по адресу:
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. "Правды", 24.

Формат 84Х108 1/4

Тираж 33 400 экз. Заказ № 1697

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2/1.
Телефон для справок: (095) 251-74-60.

Отдел рекламы: 251-05-06.

Телефакс: 251-74-60.

Телефон корпункта по Уралу и Сибири:
(342) 25-98-80 (г. Пермь).

© "ЮНОСТЬ", 1994 г.

ПРОЗА

Сергей ЕСИН	8
Затмение Марса.	
Повесть	
Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ	
В чайхане у дервиша	61
Притчи. Продолжение	
Пол ГЭЛЛИКО	
Снежный гусь.	
Рассказ	82

ДОМ ПОЭТОВ

Наталья ПОНОМАРЕВА	3
Задворки Дома поэтов	94

ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир ХЛУМОВ	
Стреляющим	
по оранжевым листьям	7
Виктор ДОС	
Прошай, Америка	64
Гавриил КОРСАКОВ	
Встреча в верхах	80
Геннадий СМОЛИН	
СПИД: болезнь или жупел?	89

К НАШЕЙ ОБЛОЖКЕ

Лев ОЗЕРОВ	
Поющая линия	62

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Саша ЧЕРНЫЙ	
Рассказ, стихи, эпиграммы	92



Анжелика ГОЛОВЕНКО
г. Москва



Из цикла "Карнавал в Венеции", гуашь.





Анжелика ГОЛОВЕНКО. г. Москва. Из цикла "Балет", гуашь.